

Войнич Э.



ОВОД

ШЕДЕВРЫ
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 821.111
ББК 84(4Вл)
В65

Серийное оформление: А. Кузнецов

Войнич Э.

В65 Овод: Роман / Пер. с англ.— М.: Мир книги, Литература, 2011.— 256 с. (Шедевры мировой литературы).

ISBN 978-5-486-03834-1

Этель Лилиан Войнич (1864—1960) — английская писательница, дочь видного английского ученого и профессора математики Джорджа Буля. Выйдя замуж за В. М. Войнича, польского литератора и революционера, переселившегося в Англию, Войнич попала в среду радикально настроенной русской и польской эмиграции. В 1887—1889 гг. жила в России, с 1920 г. — в Нью-Йорке. Выступила как переводчик русской литературы и стихотворений Т. Шевченко на английский язык. Лучшее произведение Войнич — революционный роман «Овод» (1897), ставший в России одной из любимых книг молодежи. Другие романы Войнич — «Джек Реймонд» (1901), «Оливия Лэтам» (1904), «Прерванная дружба» (1910, в. рус. пер. «Овод в изгнании», 1926), «Сними обувь твою» (1945) — сохраняют тот же бунтарский дух, но значительно менее популярны. Войнич также принадлежат работы по славянскому фольклору, музыке. Она — автор нескольких музыкальных сочинений.

В этом томе публикуется роман «Овод», посвященный освободительной борьбе итальянского народа в 30—40-х гг. XIX в. против австрийского владычества. Его главный герой Артур Бертон по прозвищу Овод — человек сильных и цельных чувств. Он страстно любит жизнь, но, несмотря на это, идет на смерть, ибо идея для него дороже жизни.

УДК 821.111
ББК 84(4Вл)

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011
© ООО «РИЦ Литература»,
состав, комментарии, 2011

ISBN 978-5-486-03834-1

ОВОД



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

Артур просматривал вороха рукописных проповедей в библиотеке духовной семинарии в Пизе*. Стоял жаркий июньский вечер. Окна были настежь открыты, а шторы — спущены. Отец ректор, каноник* Монтанелли, перестал писать и с любовью взглянул на черную голову, склонившуюся над листами бумаги.

— Не можешь найти, дорогой? Оставь. Я снова напишу это место. Вероятно, страничка где-нибудь затерялась, и все это время ты напрасно проискал ее.

У Монтанелли был низкий, густой, звучный голос, серебристая чистота тона сообщала его речи особенное обаяние. Чувствовался голос прирожденного оратора, гибкий, богатый оттенками, и в нем слышалась бесконечная ласка всякий раз, когда отец ректор обращался к Артуру.

— Нет, падре*, я найду. Я уверен: она здесь. Если будете писать наново — вам никогда не удастся восстановить это место.

Монтанелли принялся за прерванную работу. Где-то снаружи за окном однообразно жужжал сонный майский жук, и в тишину улицы врывался протяжный, заунывный крик торговца фруктами: «Fragola! Fragola!»¹

— «Об исцелении прокаженного»* — вот она!

Артур подошел мягкими, неслышными шагами, которые всегда так раздражали его домашних. Небольшого роста, хрупкий на вид, он, скорее, походил на итальянца шестнадцатого века, чем на юношу тридцатых годов, вышедшего из средней английской семьи. Слишком уж все в нем было выточено, изящно: длинные брови, подвижной, нервный рот, руки, ноги. Когда он сидел спокойно, его легко было принять за хошенькую девочку, переодетую в мужское платье; но свои

¹ Земляника! Земляника! (*ит.*)

ми гибкими движениями он напоминал прирученную пантеру, которая не показывает когтей.

— Неужели нашел? Что бы я делал без тебя, Артур? Я бы вечно все терял. Ну, довольно... На этом я кончу и больше пока не буду писать. Идем в сад, я помогу тебе разобраться в твоей работе. Чего ты не понял?

Они вышли в спокойный, тенистый монастырский сад. Семинария занимала здание старинного доминиканского монастыря*, и двести лет тому назад его квадратный двор содержался в строгом порядке. Розмарин и лаванда росли на аккуратно стриженных кустарниках. Теперь не то... Монахи в белой одежде, которые когда-то ухаживали за этими растениями на дворе, были уже давно похоронены и забыты. Правда, цветущие травы все еще благоухают в мягкие летние дни и вечера, но никто уже не собирал их семян для лекарственных целей. Пучки диких трав заполняли трещины в плитах, и колодец посередине двора зарос папоротником. Розы стали дикими, их длинные спутавшиеся стебли ползли по дорожкам. На грядках адели большие красные маки. Высокие цветы наперстянки склонялись над спутанными травами, и древняя лоза, одичалая и бесплодная, свисала с веток запущенного чашкового дерева, а оно медленно и грустно кивало своей густолиственной головой. В одном углу сада пристроилась большая магнолия с целой шапкой темной зелени, среди которой, словно мазки, сделанные рукой художника, выглядывали молочно-белые цветы. К стволу прислонилась грубая деревянная скамья. Монтанелли опустил на нее.

В университете Артур изучал философию. Когда приходилось встречать трудное место, он обращался за разъяснением к падре. Он никогда не был воспитанником семинарии, но Монтанелли был для него авторитетом по всем отраслям знания.

— Теперь я пойду,— сказал Артур, когда трудное место было разъяснено.— Только, может быть, я вам нужен?

— Нет, пока я закончил свою работу, но мне бы хотелось, чтобы ты немного побыл со мной — просто так, без всякого дела. Ты свободен?

— О да!

Он запрокинул голову и, прислонившись к древесному стволу, смотрел сквозь темную чащу ветвей на первые звезды, слабо мерцавшие в глубине ясного неба. От матери, уроженки Корнуолла*, Артур унаследовал полные тайны синие глаза, мечтательно смотрящие из-под темных ресниц. Монтанелли отвернулся — он не мог видеть эти глаза.

— Какой утомленный вид у тебя, мой дорогой,— проговорил он.

— Ничего не поделаешь.

В голосе Артура слышалась усталость, и Монтанелли сейчас же это заметил.

— Тебе не следует слишком торопиться с возобновлением занятий. Болезнь матери, бессонные ночи — все это понятно, должно было тебя изнурить. Тебе нужен продолжительный отдых перед отъездом из Ливорно*.

— О, падре, что толку? Я не в силах теперь, после смерти матери, оставаться в этом доме. Юлия довела бы меня до сумасшествия.

Юлия была жена его старшего сводного брата и пользовалась всяким случаем, чтобы отравлять ему жизнь.

— Незачем оставаться тебе у родственников,— мягко отвечал ему Монтанелли.— Несомненно, это самое худшее для тебя. Но ты можешь поехать к своему другу доктору. Там проведешь месяц, а потом снова будешь способен работать.

— Нет, падре, право, не могу! Уоррены — хорошие, сердечные люди, но они меня не понимают. Они сочувствуют моему горю — я это вижу по их лицам. Но ведь они стали бы утешать меня, говорить о моей матери... Джемма, конечно, не такая... она всегда понимала чутьем, о чем не следует говорить. Даже когда мы были еще ребятами. Другие не так чутки. Да и не только это...

— Что же еще, сын мой?

Артур сорвал несколько цветков с упавшей ветки наперстянки и нервно теребил их в руке.

— Я не могу жить в этом городе,— начал он после минутной паузы.— В городе — магазины, где она обыкновенно покупала мне игрушки; набережная, где я гулял с нею, пока она не была еще больна. Куда бы я ни пошел — все то же. Так же как прежде, каждая цветочница на базаре подходит ко мне и предлагает цветы... Как будто они мне нужны теперь! И потом это кладбище... Нет, мне нельзя быть там — тяжело видеть все это.

Артур замолчал. Он рассеянно рвал на мелкие части колокольчики наперстянки. Молчание длилось долго. Оно было настолько утомительно, что Артур наконец начал недоумевать, почему Монтанелли не говорит. Под ветвями магнолии уже сгущались сумерки. Все было окутано ими и принимало причудливые, капризные очертания; но еще не смерклось настолько, чтобы нельзя было разглядеть мертвенно-бледное лицо каноника. Низко опустив голову, он крепко держал-

ся правой рукой за край скамьи. Артур отвернулся с чувством благоговейного изумления перед этой великой душой.

«О боже,— подумал он,— как мелок я и эгоистичен! Будь мое горе его горем, он не мог бы почувствовать его глубже».

Монтанелли поднял голову и огляделся кругом.

— Хорошо, я не буду настаивать, чтобы ты ехал туда. По крайней мере, теперь,— сказал он с лаской в голосе.— Но обещаю тебе, что ты хорошенько отдохнешь и используешь для своего здоровья летние каникулы. Мне думается, тебе лучше устроиться где-нибудь подальше от Ливорно. Я не хочу, чтобы ты совсем расхворался.

— Падре, а когда закроется семинария, куда вы поедете?

— Мне придется, как всегда, везти воспитанников в горы и устроить их там. В середине августа из отпуска вернется помощник ректора. Я освобожусь тогда и для разнообразия поброжу по Альпам. Может быть, ты поедешь со мной? Отправимся бы вместе в длинную горную экскурсию, и у тебя был бы превосходный случай заняться альпийскими мхами. Только боюсь, как бы ты не соскучился со мной.

— Падре! — Артур всплеснул руками — как «экспансивный иностранец», так говорила Юлия.— Я все на свете отдал бы, чтобы ехать с вами. Только... Я не уверен...

Он остановился.

— Мистер Бертон не разрешит тебе, хочешь ты сказать?

— Конечно, он воспротивится этому, но это меня не удержало бы. Мне уже восемнадцать лет, и я могу поступать, как хочу. Потом он мне ведь только сводный брат. Я не вижу, почему я должен считаться с его желаниями.

— Но если он будет серьезно противиться, я думаю, тебе лучше уступить. Положение твое в доме еще ухудшится, если...

— Нисколько! — горячо прервал его Артур.— Никогда они меня не любили и не полюбят, что бы я ни делал. Да и как Джемс может не согласиться, раз я еду с вами, с моим духовным отцом?

— Помни — он протестант*. Во всяком случае, лучше ему написать. Мы подождем и увидим, что он скажет. Побольше терпения, сын мой. В наших поступках мы не должны руководиться тем, любят нас или ненавидят.

Это мягкое внушение подействовало на Артура. Он слегка покраснел.

— Да, я знаю,— ответил он, вздыхая.— Но ведь это так трудно.

Монтанелли переменял разговор.

— Знаешь,— сказал он,— я очень жалел, что ты не мог зайти ко мне во вторник. Был здесь епископ из Ареццо, и мне бы хотелось, чтобы ты его повидал.

— В этот день я обещал быть у одного студента. На квартире у него было собрание, и меня ждали.

— Какое собрание?

Артур несколько смутился.

— Это... это, скорее, даже не собрание, а...— нервно заикаясь, поправился он.— Приехал из Женевы студент и произнес речь... Скорее, это была лекция...

— О чем?

Артур замялся:

— Падре, вы не будете спрашивать об имени студента? Я обещал...

— Я ни о чем не буду тебя спрашивать. Раз ты обещал хранить тайну, ты не должен говорить. Но думаю — довериться мне ты можешь.

— Конечно, падре. Он говорил... о нас и о нашем долге народу... о нашем... о долге к нам самим. Говорил и о том, чем мы можем помочь...

— Помочь? Кому?

— Народу... и...

— И?

— Италии...

Последовало продолжительное молчание.

— Скажи мне, Артур, как давно стал ты думать об этом? — серьезно спросил Монтанелли.

— С последней зимы...

— Еще до смерти матери? И она не знала?

— Нет. Тогда это еще не увлекало меня.

— А теперь?..

Артур провел рукой по ветке наперстянки, оборвав с нее колокольчики.

— Вот как это случилось, падре,— начал он, опустив глаза.— Прошлой осенью я готовился к вступительным экзаменам и тогда познакомился со студентами. Так вот, кое-кто из них говорил мне обо всем этом... Давали читать книги. Но особенно сильно меня это не захватывало. Мне всегда хотелось поскорее вернуться к матери. Она была так одинока там, в Ливорно, среди них, в этой домашней тюрьме... Довольно было Юлии с ее язычком, чтобы убить ее. Потом наступила зима. Мать заболела... Я забыл и студентов и книги, а скоро — пом-

ните?— совсем перестал бывать в Пизе. Если бы тогда меня волновали эти вопросы, я бы поделился с матерью. Но они как-то вылетели из моей головы... Скоро стало ясно, что она доживает свои последние дни. Я был безотлучно при ней до самой ее кончины. Часто просиживал возле нее целые ночи. А днем приходила Джемма Уоррен, и я шел спать... Вот в эти-то длинные ночи я и стал думать о тех книгах и разговорах с товарищами. Пытался разобраться, правы ли они. Задумывался над тем, что сказал бы Христос обо всем этом.

— Ты обращался к нему? — Голос Монтанелли звучал не совсем уверенно.

— Часто, падре. Иногда я просил его указать, что надо делать, но я не получал ответа.

— И ты ни слова никогда не сказал мне, Артур. А я-то всегда думал, что ты доверишь мне.

— Падре, вы ведь знаете — я вам верю! Но есть вещи, о которых никому не следует говорить. Мне казалось, что мне никто не может помочь — ни вы, ни мать. Мне нужен был ответ непосредственно от Бога. Вы ведь видите: решался вопрос моей жизни, моей души.

Монтанелли отвернулся и стал пристально всматриваться в густые сумерки, окутавшие ветви магнолии.

— Ну а потом? — спросил он.

— Потом?.. Она умерла... Последние три ночи я не отходил от нее.

Он замолчал. Монтанелли не двигался.

— Два дня перед ее погребением я не мог думать ни о чем. Потом, после похорон, я слег. Помните, я не мог прийти к исповеди?

— Помню.

— Вот в эту ночь я поднялся с постели и пошел в комнату матери. Она была пуста. Только в алькове стояло большое распятие. Мне казалось, что Господь поможет мне... Я упал на колени и ждал... Ждал всю ночь. А утром, когда я пришел в себя... Падре! Это бесполезно... Я не сумею объяснить... Я не сумею вам рассказать, что я видел... Я сам смутно помню. Помню только, что Господь ответил мне. И я не смею противиться Его воле.

Они сидели некоторое время молча в темноте. Затем Монтанелли положил руку на плечо Артура.

— Сын мой! — промолвил он наконец.— Сохрани меня боже сказать, что Господь не беседовал с твоей душой. Но помни, при каких условиях все это произошло, и, помня, не

прими грустно настроенного больного воображения за торжественный призыв Господа. Если действительно была Его воля ответить тебе — смотри, как бы не истолковать ошибочно его слов. Куда зовет тебя твой душевный порыв?

Артур поднялся и торжественно ответил, как будто повторяя слова катехизиса:

— Отдать жизнь за Италию; освободить ее от рабства, от нищеты, изгнать австрийцев и создать свободную республику, не знающую иного господина, кроме Бога.

— Артур, подумай только, что ты говоришь! Ты ведь даже не итальянец.

— Это все равно. Я остаюсь самим собой.

Опять наступило молчание.

Монтанелли прислонился к дереву и прикрыл рукою глаза.

— Сядь на минуту, сын мой,— сказал он наконец.

Артур опустился на скамью, а Монтанелли взял его за обе руки и крепко, долго жал их.

— Сейчас я не могу доказывать тебе... Все это произошло так внезапно... Я не подумал об этом... Мне нужно время разобраться. Как-нибудь после мы поговорим обстоятельнее. Теперь же я прошу тебя помнить об одном: если ты будешь вовлечен в смуту и погибнешь, мое сердце не выдержит — я умру.

— Падре!

— Не перебивай, дай мне кончить. Я как-то уже говорил тебе, что в этом мире нет у меня никого, кроме тебя. Мне кажется, ты не совсем понял, что это значит. Трудно тебе понять — ты так молод. В твои лета я тоже не понял бы, Артур. Ты для меня — как бы мой собственный сын. Ты понимаешь? Я не могу оторваться от тебя — ты свет моих очей. Я готов умереть, лишь бы только удержать тебя от ложного шага и сохранить твою жизнь. Но я бессилён сейчас... Я не требую от тебя обещаний... Прошу тебя только помнить, что я сказал, и быть осторожным. Подумай хорошенько, прежде чем решить... Для меня сделай это, для умершей матери твоей...

— Я подумаю, а вы, падре, помолитесь за меня и за Италию.

Он опустился на колени, и Монтанелли положил руку на его склоненную голову. Прошло несколько минут. Артур поднялся, поцеловал руку падре и тихо пошел по мокрой, росистой траве. Монтанелли остался один...

Глава II

Мистеру Джемсу Бертону совсем не улыбалась затея его сводного брата пуститься в путешествие по Швейцарии с Монтанелли. Неудобно было не разрешить этой невинной прогулки в обществе старшего профессора богословия, да еще с такой благой целью, как занятия по ботанике. Слишком уж большим деспотизмом показалось бы это Артуру, который ничем не мог бы объяснить отказ и сейчас же приписал бы его религиозным и расовым предрассудкам. А Бертоны гордились своей просвещенной веротерпимостью. Вот уже более ста лет, как «Бертон и сыновья», судовладельцы из Лондона, основали в Ливорно торговое предприятие, и с самого начала его все члены семьи оставались убежденными протестантами. Но все-таки они держались того мнения, что английскому джентльмену подобает быть честным даже в борьбе с папистами.

Случилось, что глава дома, оставшись вдовцом, стал тяготиться своим положением и женился на Глэдис, католичке, хорошенькой гувернантке его младших детей. Два старших сына, Джемс и Томас, как ни трудно было им мириться с присутствием в доме мачехи, почти что их сверстницы, с горечью покорились воле Провидения. Со смертью отца семейный разлад обострился женитьбой старшего сына; но оба брата добросовестно старались защищать Глэдис от злого, беспощадного языка Юлии и исполняли свои обязанности, как они их понимали, по отношению к Артуру. Они не любили его и даже не старались это скрыть. Их братские чувства сводились к щедрым поощрениям и к предоставлению мальчику полной свободы.

В ответ на свое письмо Артур получил чек, который должен был покрыть его путевые издержки, и холодное разрешение использовать каникулы как ему будет угодно. Половину денег он истратил на покупку книг по ботанике и папок для сушки растений и с этим багажом двинулся в свое первое альпийское путешествие вместе со своим духовным отцом.

Настроение Монтанелли было теперь гораздо лучше. Артур давно уже не видел его таким. После первого потрясения, вызванного разговором в саду, к нему мало-помалу вернулось душевное равновесие, и теперь он смотрел на все происшедшее более спокойными глазами. «Артур еще юн и неопытен, — думал он. — Его решение едва ли могло быть окончательным.

Есть еще время мягкими увещаниями, вразумительными доводами вернуть его с того опасного пути, на который он так опрометчиво вступил».

В их план входило провести несколько дней в Женеве; но на лице Артура появилось выражение скуки, как только он увидел ослепительно белые улицы и пыльные набережные, по которым без конца сновали туристы. Монтанелли со спокойной улыбкой наблюдал за ним.

— Что, дорогой? Тебе не нравится здесь?

— Я не совсем еще разобрался в моих впечатлениях. А все-таки не то, чего я ожидал. Вот озеро — прекрасно. Хороши и очертания холмов.

Они стояли на острове Руссо*, и он указывал рукой на длинный строгий контур отрогов Савойских Альп.

— Но город... он такой накрахмаленный, вылизанный... Настоящий самодовольный протестант. Нет, не лежит у меня сердце к нему. Когда я гляжу на него, мне вспоминается Юлия.

Монтанелли засмеялся.

— Бедный, как мне тебя жаль!.. Ну что же? Мы путешествуем для своего удовольствия, и нет причины задерживаться здесь дольше. Тогда сегодня же мы берем парусную лодку и катаемся по озеру, а завтра утром поднимемся в горы.

— Но, падре, вам, может быть, хотелось бы побыть еще здесь?

— Мой дорогой, я видел все это уже десятки раз, и для меня отдых — видеть твое удовольствие. Куда бы тебе хотелось?

— Ну, если вам все равно, так мне хотелось бы двинуться вверх по реке, к истокам.

— Вверх по Роне?

— Нет, по Арве. Она мчится так быстро.

— Тогда едем в Шамони.

Все время с полудня до вечера они провели на парусной лодке. Живописное озеро произвело на Артура гораздо меньше впечатления, чем серая и мутная Арва. Он вырос близ Средиземного моря, и глаз его привык к голубым волнам. Но он до страсти любил быстрые реки, и стремительный поток, несущийся с ледника, приводил его в восхищение.

— В этом потоке столько огня, столько порыва,— говорил он.

На другой день, рано утром, они отправились в Шамони. Пока они шли по плодородной долине, Артур был в очень приподнятом настроении. Но вот они подошли к повороту

дороги. Большие зубчатые горы обхватили их тесным кольцом. Артур стал серьезен и молчалив. От Сен-Мартена они медленно двигались вверх по долине, останавливаясь на ночлег в придорожных шале* или в маленьких горных деревушках, а потом снова шли дальше. Артур всегда горячо откликался на красоты природы, и первый водопад, который им пришлось проходить, привел его в неописуемый восторг. Он сиял радостью, на него приятно было смотреть. Но по мере того как они подходили к снежным вершинам, эта детская радость сменялась мечтательным настроением. Монтанелли с удивлением смотрел на юношу. Казалось, существовало какое-то родство между ним и горами. Он готов был целыми часами лежать неподвижно в темном таинственном сосновом лесу, отзывавшемся на всякий шорох, лежать и смотреть промеж прямых высоких стволов на залитый солнцем мир сверкающих вершин и нагих скал. Монтанелли наблюдал за ним с грустью и завистью.

Они осторожно спускались между стволами темных деревьев, направляясь к шале, где собирались ночевать.

Когда Монтанелли вошел в комнату, Артур поджидал его, сидя у стола за ужином. Юноша уже отделался от мрачного настроения, навеванного на него темнотой, и превратился, казалось, в другое существо.

— О падре, идите сюда, идите скорее и посмотрите на эту потешную собачонку. Она танцует на задних лапках.

Он теперь так же был увлечен собачкой и ее штуками, как прежде зрелищем альпийского сияния.

Хозяйка шале, краснощекая женщина в белом переднике, стояла подбоченясь и, улыбаясь, глядела на игру мальчика с собачкой.

— Видно, у него немного забот,— сказала она своей дочери на местном наречии.— Он так увлекается игрой. И какой красивый мальчик.

Артур покраснел, как школьник, и женщина, увидев, что он понял ее, ушла, смеясь над его смущением.

За ужином он только и толковал, что о планах дальнейших прогулок, о восхождениях на горы, о растениях, которые они соберут.

Утром, когда Монтанелли проснулся, Артура уже не было. Раньше, чем забрезжил свет, он отправился на верхние пастбища «помогать Гаспару пасти горных коз».

Впрочем, недолго пришлось его ждать. Он скоро вернулся, вбежав в комнату без шляпы. На плече у него, точно птич-

ка, сидела маленькая крестьянская девочка лет трех, а в руках был большой букет диких цветов.

С улыбкой смотрел на него Монтанелли. Какой поразительный контраст с молчаливым Артуром Пизы или Ливорно!

— Где ты был, сумасброд? Все, поди, бегал по горам без завтрака?

— О, падре, как там хорошо! Горы так величественны при первом блеске солнца, а под ногами такая обильная роса!.. Взгляните!

Он нагнулся, рассматривая свои мокрые, грязные башмаки.

— С нами было немного хлеба и сыра, да на пастбище добыли козьего молока... Ужасная гадость! Ну, я опять проголодался, и надо дать чего-нибудь поесть этой маленькой персоне. Аннет, ты любишь мед?

Он уселся, посадил к себе на колени девочку и стал ей помогать укладывать цветы.

— Нет, нет! — вмешался Монтанелли. — Я не могу допустить, чтобы ты простудился. Беги скорее и переоденься в сухое. Иди сюда, Аннет. Где ты отыскал ее, Артур?

— В деревне. Это дочка того крестьянина, которого, помните, мы встретили вчера. Он — сапожник здешней общины. Не правда ли, какие у нее милые глаза? В кармане у девочки живая черепаха, и она зовет ее Каролиной.

Артур сменил мокрые чулки и сошел вниз завтракать. Аннет сидела на коленях у падре, без умолку тараторя о черепахе, которую она держала вверх животом в своей пухленькой ручке, чтобы *monsieur*¹ мог подивиться, как шевелятся у нее лапки.

— Смотрите, *monsieur*! — важным тоном, на малопонятном местном наречии, говорила она. — Смотрите, какие у Каролины башмаки!

Монтанелли забавлял малютку, гладил ее волосы, любуясь черепахой, и рассказывал ей чудесные сказки.

Вошла хозяйка убрать со стола и с изумлением посмотрела на Аннет, которая выворачивала карманы его преподобия.

— Бог помогает малышам распознавать хороших людей, — сказала она. — Аннет всегда пугается иностранцев, а теперь смотрю — она совсем не дичится его преподобия. Удивительная вещь! Аннет! Стань скорее на колени и попроси благословения у доброго господина, пока он не ушел. Это принесет тебе счастье.

¹ Сударь (*фр.*).

— Я и не воображал, падре, чтобы вы могли так хорошо забавлять детей,— сказал Артур час спустя, когда они проходили по залитой солнцем полосе пастбища.— Этот ребенок ни на минуту не отрывал глаз от вас. Знаете, что я думаю?

— Ну?

— Я только хотел сказать... Мне кажется, нужно жалеть о том, что церковь запрещает священникам жениться. Я совершенно не могу понять почему. Воспитание детей — дело серьезное, и для них важно хорошее влияние с самого рождения. По-моему, чем выше призвание человека и чище его жизнь, тем более он пригоден быть отцом. Падре, я уверен, что, если бы вы не были связаны обетом и были женаты, ваши дети были бы очень...

— Оставь.

Это было сказано торопливым, порывистым шепотом, который еще сильнее отделил наступившее затем молчание.

— Падре,— снова заговорил Артур, огорченный мрачным видом Монтанелли,— разве не верно то, что я сказал? Конечно, я мог ошибиться, но я сказал то, что думаю.

— Может быть, ты не совсем ясно понимаешь смысл своих слов,— мягко ответил Монтанелли.— Через несколько лет у тебя будет другое мнение на этот счет... Однако давай-ка лучше толковать о чем-нибудь другом.

Это было первым диссонансом в той полной гармонии, которая установилась между ними во время каникул.

Из Шамони они двинулись в Мартины и остановились на отдых, так как была удушливо жаркая погода. После обеда они вышли на террасу отеля. Она была защищена от солнца. Чудный вид открывался с нее. Артур принес ящик с растениями и завел с Монтанелли длинную беседу по ботанике.

На террасе сидели два художника-англичанина. Один делал набросок с натуры, а другой лениво болтал на своем языке. Ему казалось невозможным, чтобы иностранцы могли понимать по-английски.

— Бросьте пачкать, Вилли,— сказал он.— Нарисуйте лучше вон того красивого юношу-итальянца, восторгающегося папоротниками. Взгляните только на линию его бровей. Замените лупу в его руках распятием, наденьте на него римскую тогу, и перед вами законченный тип христианина первых веков.

— Какой там христианин! Я сидел возле него за обедом. Он с таким же восторгом смотрел на жареную курицу, с каким теперь любит эту сорную траву. Что и говорить, он очень

мил; у него такой чудный оливковый цвет лица; но в нем нет и половины той живописности, какую поражает наружность его отца.

— Кого?

— Его отца, что сидит прямо перед вами. Не хотите ли вы сказать, что не заметили его? Какое у него изумительное лицо!

— Ах вы, невинный методист!* Неужели вы не можете опознать католического священника, когда он у вас перед глазами?

— Священника? А-а, ведь верно! Я и забыл: обет целомудрия, и все такое... Что же, в таком случае будем снисходительны и предположим, что этот юноша — его племянник.

— Какие идиоты! — проговорил шепотом Артур, глядя веселыми глазами на Монтанелли. — Тем не менее очень любезно с их стороны находить во мне сходство с вами. Мне бы хотелось и в самом деле быть вашим племянником... Падре, что с вами? Как вы бледны!

Монтанелли встал и приложил руку ко лбу.

— Я иногда страдаю головокружениями, — произнес он до странности тихо. — Должно быть, я сегодня слишком долго был на припеке. Пойду теперь и прилягу. Пройдет... это от жары.

Две недели провели они у Люцернского озера и теперь возвращались в Италию через Сен-Готардское ущелье. Все время стояла дивная погода. Им удалось совершить несколько веселых экскурсий... Но первые их восторги перед красотами природы уже остыли.

Монтанелли преследовала неотвязная мысль о предстоящем «более обстоятельном разговоре» с Артуром. Каникулы были очень удобным временем для того, чтобы поднять этот разговор; но, когда они путешествовали по долине Арвы, он намеренно избегал касаться той темы, которая обсуждалась ими в саду под магнолией. Ему казалось жестоким омрачать первые радости, которые альпийская природа давала художественной натуре юноши, а так непременно случилось бы, если бы зашел этот разговор. Но с того дня, когда они были в Мартиньи, он каждое утро говорил себе: «Я потолкую с ним сегодня», а наступал вечер, и он откладывал разговор и успокаивал себя, говоря: «Побеседуем завтра». Каникулы уже подходили к концу, а он все повторял: «завтра, завтра». Леденящее, неподдающееся определению чувство, смутное сознание возникающей отчужденности, как будто между ним и Артуром опустилась завеса, удерживало его. Так проходили дни, пока не наступил последний вечер каникул. Монтанелли понял, что, раз он хочет говорить, надо решаться теперь же.

Они остались в Лугано ночевать, а на следующее утро им предстояло двинуться в Пизу. Монтанелли хотелось выяснить, по крайней мере, как далеко его дорогой мальчик был завлечен в роковые, сыпучие пески итальянской политики.

— Дождь перестал,— сказал он.— И если мы хотим увидеть озеро, то нужно поторопиться. Выйдем, мне нужно поговорить с тобой.

Они пошли вдоль берега к тихому уединенному месту и уселись на низкой каменной стене. Около них возвышался розовый куст, покрытый пурпурными ягодами. Несколько запоздалых бледных бутонов свешивались с более высокой ветки, отягченные дождевыми каплями. По зеленой поверхности озера скользила маленькая лодка с легкими белыми парусами, надувавшимися от мягкого ветерка. Лодка казалась легкой и хрупкой, как пучок серебристых цветов, брошенных на воду. На высоте Монте-Сальваторе окошко какого-то домика открыло свой золотой глаз. Розы опустили головки и дремали под облачным сентябрьским небом, а вода ударялась и мягко журчала по прибрежным камешкам.

— Теперь у меня последний случай спокойно и обстоятельно поговорить с тобой, а потом его может не быть долгое время,— начал Монтанелли.— Ты вернешься к университетской работе, к своим друзьям, да и я эту зиму буду очень занят. Все, чего я желаю теперь,— это выяснить, какие у нас с тобой отношения, и если ты...

Он на минуту остановился, а потом заговорил медленнее:

— Если ты чувствуешь, что еще можешь доверять мне по-прежнему, скажи, скажи определеннее, чем тогда вечером в саду семинарии, как далеко ты зашел...

Артур смотрел на водяную рябь, спокойно вслушиваясь в слова падре, и ничего не ответил.

— Мне хотелось бы знать, если только ты захочешь ответить,— продолжал Монтанелли,— связал ли ты себя клятвой или, может быть...

— Мне нечего сказать вам, дорогой падре. Я не связал себя ничем, но я связан...

— Я не понимаю...

— Что толку в клятвах? Не они связывают людей. Если вы чувствуете, глубоко чувствуете, что вами овладела идея, это — все. А иначе ничто не может вас связать.

— Тогда скажи, думаешь ли ты, что это... Кажется ли тебе, что твое чувство крепко и ничто не может его изменить? Артур, подумай, прежде чем отвечать.

Артур пристально посмотрел в глаза Монтанелли.

— Падре, вы спрашивали меня, доверяю ли я вам. Теперь ответьте: есть ли у вас доверие ко мне? Я бы вам сказал, все сказал бы, если бы было что сказать; но поймите — ничего нет, вернее, нет смысла в разговорах об этих вещах. Я не забыл, о чем вы говорили со мной в тот вечер, никогда не забуду; но, помня это, я все-таки должен идти своей дорогой и тянуться к свету, который я вижу впереди.

Монтанелли сорвал розу с куста, оборвал с нее лепестки и бросил их в воду.

— Ты прав, дорогой. Довольно... не будем больше говорить об этом. Тут все равно словами не поможешь... Ну что ж? Пусть так... Пойдем...

Глава III

Без всяких событий миновала осень, миновала зима. Артур прилежно занимался, и в его распоряжении оставалось очень мало досуга. Но все-таки он урывал время, чтобы заглядывать на несколько минут к Монтанелли. Ему удавалось это каждую неделю, иногда раз, иногда больше. Случалось, что он заходил к нему с книгой, за разъяснением какого-нибудь трудного места, но в таких случаях их разговор сосредоточивался исключительно на книге. Между ними выросла преграда, неосызаемая, еле заметная. Посещения Артура доставляли Монтанелли теперь больше горечи, чем радости. Утомительно было держать себя в вечном напряжении, чтобы казаться спокойным и делать вид, будто ничто не изменилось. Артур, со своей стороны, замечал некоторую перемену в обращении падре, но не вполне улавливал ее смысл. Смутно чувствуя, что эта перемена имеет отношение к тревожному вопросу о новых идеях, он избегал всякого упоминания о них, но его собственная мысль постоянно к ним возвращалась. И все-таки никогда он не любил Монтанелли так горячо, как теперь. От мрачного, неотвязного чувства разочарования в жизни, душевной пустоты, которое он с таким трудом пытался заглушить усидчивым изучением теологии, не осталось и следа при первом же соприкосновении его с «Молодой Италией»*. Исчезли образы больной фантазии, порожденные одиночеством и постоянным созерцанием комнаты, в которой лежала умирающая, не стало сомнений, спасаясь от которых он прибегал к молитве. Студенческое движение представлялось ему, скорее, религиозным, чем полити-

ческим движением, и наполнявший его энтузиазмом идеал, более возвышенный и чистый, придал его характеру уравновешенность, законченность и дал ему чувство мира и благожелательное отношение к ближним. Он находил новые, достойные любви стороны в людях, которые раньше были противны ему. Монтанелли в течение пяти лет был для него идеалом, теперь он представлялся ему мощным пророком новой веры, с новым сиянием на челе. Юноша страстно вслушивался в проповеди падре, стараясь уловить в них следы внутреннего сродства с республиканским идеалом; усиленно изучал Евангелие и наслаждался демократическим духом христианства, каким оно было проникнуто в первые времена.

В один из январских дней Артур зашел в семинарию, чтобы вернуть книгу. Узнав, что отца ректора там нет, он вошел в комнату, где обыкновенно работал Монтанелли, положил книгу на полку и собирался идти, как вдруг его внимание было привлечено названием одной книги, лежавшей на столе. Это было «De Monarchia»* Данте. Артур начал читать и скоро так увлекся, что не слышал, как отворилась дверь. Он поднялся только тогда, когда за его спиной раздался знакомый голос.

— Я не ждал тебя сегодня,— сказал Монтанелли, мельком взглянув на заголовок книги.— Я только что собирался послать узнать, придешь ли ты ко мне сегодня вечером.

— Что-нибудь важное? Я приглашен сегодня вечером, но я останусь, если...

— Нет, можно и завтра. Мне хотелось видеть тебя,— я уезжаю во вторник. Меня вызывают в Рим.

— В Рим? Надолго?

— В письме говорится, что до конца Пасхи. Оно из Ватикана*. Я бы сейчас же дал тебе знать, да все время был занят то делами семинарии, то приготовлениями к приезду нового ректора.

— Падре, надеюсь, вы не покинете семинарию?

— Придется. Но я, вероятно, приеду еще в Пизу. По крайней мере на время.

— Но почему вы не хотите оставаться?

— Вот видишь ли... Это еще не объявлено, но мне предлагают епископство.

— Падре! Где?

— За этим-то я и еду в Рим. Еще не решено, получу ли я епархию в Апеннинах или останусь здесь викарием.

— А новый ректор уже назначен?

— Да, отец Карди. Он приедет завтра.

— Как все это неожиданно!

— Да, но... Иногда решения Ватикана не объявляются до последнего момента.

— Вы знакомы с новым ректором?

— Лично незнаком. Но его очень хвалят. Монсеньор Беллони пишет, что он — человек большой эрудиции.

— Семинария многого лишится с вашим уходом.

— Не знаю, как семинария, но ты будешь чувствовать мое отсутствие, я уверен. Может быть, не меньше, чем я — твое.

— Да, это верно, падре. Я тем не менее радуюсь за вас.

— Радуетесь? А я не могу сказать, чтобы был рад.

Он сел к столу с усталым видом.

— Ты занят после обеда? — начал он после минутной паузы. — Если у тебя нет никаких дел, побудь немного со мной, раз ты не можешь зайти вечером. Мне что-то не по себе. Останься! Я хочу как можно больше видеть тебя до отъезда.

— Я побуду, только недолго. В шесть часов я должен быть...

— На собрании?

Артур кивнул головой. Монтанелли быстро переменял разговор.

— Я хотел поговорить о тебе, — начал он. — В мое отсутствие тебе будет нужен другой духовник.

— Но когда вы вернетесь, вы ведь разрешите мне прийти к вам на исповедь?

— Мой дорогой, как ты можешь спрашивать? Разумеется, я говорю только о трех или четырех месяцах, когда меня не будет здесь. Согласен ты взять в духовники кого-нибудь из отцов Santa Catarina?*

— Согласен, падре.

Они поговорили еще о другом. Потом Артур поднялся.

— Мне пора идти, падре. Меня ждут товарищи.

Мрачная тень снова легла на лицо Монтанелли.

— Уже? А я было почти рассеял свое мрачное настроение. Ну что ж, прощай!

— Прощайте, падре. Завтра я опять приду.

— Приходи пораньше, чтобы я успел повидать тебя одного. Завтра приезжает отец Карди. Артур, прошу тебя, будь без меня осторожен, не делай опрометчивого шага; по крайней мере, до моего возвращения. Ты и вообразить не можешь, как я боюсь оставить тебя.

— Напрасно, падре. Сейчас ничего не предвидится, и так пройдет еще много времени.

— Ну, прощай, — сказал отрывисто Монтанелли.

Первая, кого увидел Артур, когда вошел в комнату, где происходило студенческое собрание, была дочь доктора Уоррена, товарищ его детских игр. Она сидела в углу и с напряженным, сосредоточенным вниманием слушала, что говорил ей высокий молодой ломбардец в поношенном костюме — один из инициаторов движения. За эти последние несколько месяцев она сильно изменилась, возмужала и теперь походила уже на взрослую девушку. Только две спускавшиеся по плечам густые черные косы еще напоминали недавнюю школьницу. Она была вся в черном, и черный шарф прикрывал ее голову, так как в комнате было холодно и сыро. На груди девушки была кипарисовая ветка, эмблема «Молодой Италии». Ломбардец вдохновенно описывал ей нищету калабрийских* крестьян, а она все сидела молча и слушала, опершись подбородком на руку и опустив глаза. Артуру казалось, что он видит перед собой грустный призрак Свободы, оплакивающей утраченную республику. Юлия увидела бы в ней только не в меру вытянувшуюся девочку с угловатыми манерами, с бледным цветом лица, с неправильным носом и в старом платье, коротком не по возрасту.

— Вы здесь, Джим! — проговорил Артур, подойдя к ней, когда ломбардец отошел в другой конец комнаты.

Джим было детское прозвище, переделка из Дженифер — странного имени, данного ей при крещении. Итальянки, ее школьные подруги, звали ее Джеммой.

Она подняла голову почти с испугом.

— Артур! Это вы! А я и не знала, что вы принадлежите к партии!

— И я никак не ожидал вас встретить здесь, Джим! С каких пор вы стали...

— Вы не поняли, — поспешно прервала она. — Я еще не состою членом. Мне удалось только исполнить два-три маленьких поручения. Случилось это так: я встретила с Бини... Вы знаете Карло Бини?

— Конечно.

Бини был организатором ливорнского отдела, и его знала вся «Молодая Италия».

— Так вот, Бини стал толковать со мной об этих вещах. Я его попросила провести меня на одно из собраний. Потом он мне написал во Флоренцию...* Вы не знали, что я была на Рождестве во Флоренции?

— Нет, мне теперь редко пишут из дома.

— А, да! Ну, все равно. Я ездила погостить к Райтам (Райты были ее подругами по школе). Тогда Бини написал мне, чтобы

я проехала через Пизу по пути домой и пришла сюда сегодня. Я так и сделала, и вот я здесь, как видите. А! Сейчас начинают.

В докладе говорилось об идеальной республике и о том, что молодежь обязана готовить себя к ней. Тема была разработана не совсем ясно, но Артур слушал с благоговейным вниманием. В этот период своей жизни он принимал все на веру и проглатывал целиком новые нравственные идеалы, не давая себе труда подумать, переваримы ли они. Но вот лекция кончилась, прения прекратились... Студенты стали расходиться. Артур подошел к Джемме, которая все еще сидела в углу.

— Я провожу вас, Джим! Где вы живете?

— У Марьетты.

— У старой экономки вашего отца?

— Да. Она живет довольно далеко отсюда.

Некоторое время они шли молча. Артур вдруг спросил:

— Вам, должно быть, лет семнадцать теперь?

— Минувло семнадцать в октябре.

— Я всегда говорил, что из вас не выйдет барышни, которой нужны балы и наряды. Джим, если б вы знали, как часто спрашивал я себя, будете ли вы в наших рядах!

— То же самое я думала о вас.

— Вы сказали, что устроили кое-что для Бини. А я-то даже и не знал, что вы с ним знакомы.

— То, что я сделала, я сделала не для Бини, а для другого.

— Для кого?

— Для того самого, кто говорил со мной сегодня, — для Боллы.

— Вы его хорошо знаете?

Артур сказал это не без ревности. Ему и без того тяжело было говорить о Болле. Они были соперниками в одном деле, которое комитет «Молодой Италии» в конце концов доверил Болле, считая Артура слишком молодым и неопытным.

— Я знаю его очень близко. Он мне нравится. Он довольно долго жил в Ливорно.

— Знаю... Он приехал туда в ноябре.

— Да, к этому времени ждали парохода с транспортом книг*. Артур, не кажется ли вам, что ваш дом был бы для этой работы надежнее нашего? Никому и в голову не пришло бы подозревать семейство богатых судовладельцев. Да и кроме того, вы всякого знаете в доках.

— Тише! Не так громко, дорогая! Так, значит, у вас хранилась литература, прибывшая из Марселя?

— Только один день... Но, может быть, мне не следовало вам говорить?

— Почему? Вы ведь знаете, что я член партии. Джемма, дорогая, ничто в мире не могло бы сделать меня таким счастливым, как сознание, что к нам присоединились вы и...

— Ваш падре! Разве он...

— Нет, его убеждения — не совсем наши. Но иногда мне ду-малось... Я надеялся...

— Артур, ведь он — священник!

— Так что же? В нашей партии есть и священники. Двое из них пишут в газетах*. Ведь назначение духовенства — вести мир к высшим идеалам, а мы как раз к этому и стремимся. Ведь это вопрос, скорее, религии и морали, чем политики. Представьте только, что люди будут в душе свободными и ответственными гражданами, — разве тогда возможно рабство?

Джемма нахмурила брови.

— Мне кажется, что ваша логика тут немножко хромает... Священник обучает религиозной доктрине. Я не вижу, что в этом общего с желанием прогнать австрийцев.

— Священник — проповедник христианства, а Христос был величайший реформатор.

— Знаете, я говорила о священниках с моим отцом, и он...

— Джим, ваш отец протестант.

После минутного молчания она вдруг подняла голову и окинула его открытым, дружеским взглядом.

— Послушайте, лучше прекратим этот разговор. Всегда вы становились нетерпимым, как только речь заходила о протестантах.

— Это неправда. Напротив, нетерпимы протестанты, когда они говорят о католиках.

— Пусть так. Но мы уже слишком много спорили об этом, чтобы стоило опять начинать. Какого вы мнения о сегодняшней лекции?

— Мне понравилась особенно последняя часть. Я с наслаждением слушал, когда он так горячо говорил о необходимости каждому в отдельности, и сейчас же, проводить в жизнь чувства, а не мечтать о них.

— А мне не понравилась именно эта часть. Он очень странно описывал нам идеальные мысли и чувства, но не указывал никаких практических путей, не говорил, что мы должны делать.

— Когда наступит нужное время, перед нами будет ворох работы. Но нужно терпение. Великие перевороты не совершаются в один день.

— Чем сложнее дело, тем больше оснований сейчас же приступить к нему. Вы говорите, что нужно подготовить себя

к свободе. А знали вы кого-нибудь, кто был так хорошо к ней подготовлен, как ваша мать? Разве не была она самой совершенной женщиной в мире, женщиной с ангельской душой? А к чему привела вся ее доброта? Она была рабой до последнего дня. Сколько мучений, сколько оскорблений она вынесла от вашего брата Джемса и его жены! Да, не будь у нее такого мягкого сердца и такого терпения, жизнь ее сложилась бы счастливее. Никогда бы не посмели так с ней обращаться. То же можно сказать и об Италии: не в терпении она нуждается... напротив! — ей нужно восстать на защиту своих интересов.

— Дорогая Джим, Италия была бы уже свободна, если бы гнев и страсть могли ее спасти. Не ненависть нужна ей, а любовь.

Кровь прилила к его лицу и вновь отхлынула, когда он произнес эти несколько слов. Джемма не заметила этого — она смотрела прямо перед собой. Ее брови были сдвинуты, рот — крепко сжат.

— Вам кажется, что я не права, Артур, — сказала она после небольшой паузы. — Нет, правда на моей стороне. В один прекрасный день вы убедитесь в этом... Вот наш дом. Зайдете, можете быть?

— Нет, уже поздно. Покойной ночи, дорогая!

Он стоял возле двери, крепко пожимая ее руки.

— «Во имя Бога и народа...»

И она медленно, с расстановкой, досказала незаконченный девиз:

— «...теперь и навсегда».

Потом отняла свои руки и вбежала в дом. Когда за ней захлопнулась дверь, он нагнулся и поднял кипарисовую ветку, упавшую с ее груди.

Глава IV

Артур вернулся домой будто на крыльях, с ощущением безоблачного счастья. Все складывалось так хорошо. На собрании делались намеки на вооруженное восстание. Джемма была теперь его товарищем по работе, и он любил ее. Он представлял себе, как они вместе будут работать, а может быть, даже умрут в борьбе за грядущую свободу. Наступила весна их надежд. Падре увидит и поверит. Впрочем, проснулся он на другой день в более спокойном настроении. Он вспомнил, что Джемма собирается ехать в Ливорно, а падре — в Рим.

Январь, февраль, март — три долгих месяца до Пасхи. Чего доброго, Джемма, вернувшись к своим, попадет под протестантское влияние (на языке Артура слова «протестант» и «филистер»* были тождественны по смыслу)... Нет, его Джим никогда не опустится до уровня других ливорнских барышень. Но, пожалуй, она будет несчастна. Так молода, так мало у нее друзей, и так ей, должно быть, одиноко среди всех этих деревянных людей... О, если бы мать была жива!

Вечером он зашел в семинарию и застал Монтанелли за беседой с новым ректором. Оба казались усталыми.

— Вот и он сам — тот студент, про которого я вам говорил, — сказал каноник сухо, представляя Артура новому ректору. — Буду вам очень обязан, если вы разрешите ему пользоваться библиотекой и впредь.

Отец Карди сейчас же стал распространяться о студенческой жизни в Сапиенце. Свободный, непринужденный тон его показывал, что он хорошо знаком с жизнью в колледже. Разговор быстро перешел на слишком строгую регламентацию университета — тогдашний злободневный вопрос.

Новый ректор сразу расположил Артура в свою пользу резкой критикой политики, усвоенной университетским начальством, и нападками на те бессмысленные ограничения, которые раздражали студентов.

— У меня большой опыт воспитания юношества, — сказал он. — Ни в чем не мешать молодежи без достаточных оснований — вот правило, которым я всегда руководжусь. Не думаю, чтобы на свете было много юношей, по природе склонных к бесчинствам, и мне кажется, что, если старшие будут уважать их личность, они не доставят им больших хлопот. Но ведь и смиренная лошадь станет на дыбы, если постоянно натягивать узду.

Артур посмотрел на него с удивлением. Он не ожидал найти в новом ректоре такого горячего защитника студенческих интересов. Монтанелли не принимал участия в разговоре. В выражении его лица было столько усталости, такое безнадежное уныние, что отец Карди вдруг сказал:

— Боюсь, утомил я вас, отец каноник. Я слишком горячо принимаю к сердцу этот вопрос и подчас совершенно упускаю из виду, что другим он, может быть, надоел.

— Напротив, меня все это очень интересует.

Монтанелли никогда не удавалась стереотипная вежливость, и Артура покорило от его тона.

Когда отец Карди ушел к себе, Монтанелли повернулся к Артуру и посмотрел на него с тем задумчивым, озабоченным выражением, которое весь вечер не сходило с его лица.

— Артур, мой дорогой,— начал он тихо,— я хочу сказать тебе кое-что.

«Должно быть, он узнал что-нибудь неприятное»,— мелькнуло в голове Артура, когда он взглянул на его взволнованное лицо.

Наступила длинная пауза.

— Нравится тебе новый ректор? — неожиданно спросил Монтанелли.

Артур с минуту молчал в недоумении, не зная, что ответить.

— Я... мне он очень нравится... Впрочем, я еще и сам хорошенько не знаю. Падре, ведь так трудно узнать человека с первого раза.

Монтанелли сидел, слегка постукивая пальцами по ручке кресла, что было у него обычным движением, когда его что-нибудь беспокоило или волновало.

— Относительно моей поездки в Рим,— снова заговорил он,— могу сказать тебе вот что: если ты имеешь что-нибудь против этого... Если ты хочешь, Артур, я напишу в Рим и откажусь от поездки.

— Падре! А Ватикан?..

— Ватикан найдет кого-нибудь другого. Я извинюсь.

— Но почему? Я не могу понять.

Монтанелли провел рукой по лбу.

— Я беспокоюсь за тебя. Не могу отделаться от мысли, что... Да и потом, мне ведь нет необходимости ехать.

— А как же с епископством?

— О Артур! Что пользы мне в епископстве, если я лишусь тебя!..

Он остановился. Артур еще никогда не видал его таким и был очень встревожен.

— Я ничего не понимаю,— сказал он.— Падре, молю вас, скажите определенно, что у вас на уме, чего вы хотите...

— Ничего я не хочу. Просто меня мучит беспредельный страх. Скажи правду: грозит тебе какая-нибудь опасность?

«Он что-нибудь слышал»,— подумал Артур, вспоминая распространявшиеся слухи о вооруженном восстании.

Но тайна была не его, и он был не вправе говорить. Поэтому он ответил вопросом:

— Какая же опасность может мне грозить?

— Не спрашивай меня, а отвечай!

Голос Монтанелли от волнения стал почти резким:

— Грозит тебе что-нибудь? Мне не нужно знать твоих тайн. Скажи мне только это.

— Все мы в Божьей власти, падре. Все может случиться. Но нет оснований думать, что я не буду цел и невредим до вашего возвращения.

— До моего возвращения... Слушай, дорогой! Я предоставляю решать тебе. Не надо мне твоих объяснений. Скажи только — останься, и я откажусь от поездки. Ущерба от этого не будет никому, а мне будет спокойнее: мне кажется, ты будешь в большей безопасности со мной.

Артур с тревогой взглянул на него. Его поразила эта новая черточка в характере падре, совсем не отличавшегося болезненным воображением.

— Падре, я уверен, вы нездоровы. Ясное дело, вам нужно ехать в Рим, отдохнуть как следует и отделаться от бессонницы и головных болей.

— Ну, хорошо, — прервал его Монтанелли, как будто уставши говорить об этом. — Завтра я еду с первым дилижансом.

Артур в недоумении взглянул на него.

— Вы, кажется, еще что-то хотели мне сказать? — проговорил он.

— Нет, нет. Больше ничего, ничего важного.

На лице его осталось выражение страха.

Спустя несколько дней после отъезда Монтанелли Артур зашел в библиотеку семинарии за книгой. На лестнице он встретился с отцом Карди.

— А, мистер Бертон! — воскликнул ректор. — Вы мне как раз были нужны. Пожалуйста, зайдите ко мне и окажите мне помощь в одном трудном деле.

Он открыл дверь своего кабинета, и Артур вошел с каким-то странным, неприятным чувством. Ему тяжело было видеть этот рабочий кабинет, святилище падре, которое было теперь занято посторонним.

— Я — неутомимый книгоед, — сказал ректор. — Первое, за что я принялся на новом месте, — это за пересмотр библиотеки. Библиотека очень богата, но я не улавливаю системы, по которой распределены книги.

— Каталог неполон. Значительная часть ценных книг прибавилась недавно.

— Располагаете вы свободным получасом, чтобы объяснить мне план расположения книг?

Они вошли в библиотеку. Артур дал все нужные объяснения. Когда он собрался уходить и уже взялся за шляпу, ректор с улыбкой остановил его:

— Нет, нет! Я не отпущу вас так скоро. Сегодня суббота — время закончить занятия до утра понедельника. Оставайтесь, поужинаем вместе, — все равно я задержал уже вас до позднего часа. Я теперь совсем один и буду рад обществу.

Его обращение было так непринужденно-приветливо, что Артур скоро почувствовал себя с ним совершенно свободно. После нескольких ничего не значащих фраз ректор спросил, как давно он знает Монтанелли.

— Около семи лет, — ответил Артур. — Он возвратился из Китая, когда мне было двенадцать лет.

— А, да! Это там он приобрел репутацию выдающегося проповедника-миссионера. И с тех пор он руководил вашим образованием?

— Он начал заниматься со мной год спустя, приблизительно в то время, когда я в первый раз исповедовался у него. А когда я поступил в Сапиенцу, он продолжал помогать мне по части наук во всем, что не входило в университетский курс. Относился он ко мне необыкновенно сердечно, — вы и представить себе не можете, как добр он был ко мне!..

— Отлично представляю. Все восхищаются этим человеком: благородная, прекрасная душа. Мне приходилось встречать миссионеров, бывших с ним в Китае. Они не находили слов, чтобы в должной мере оценить его энергию, его мужество в тяжелые моменты, его несокрушимую веру. Вы счастливы, что в ваши юные годы вами руководил такой человек. Я понял из его слов, что вы лишились отца и матери.

— Да, мой отец умер, когда я был еще ребенком, а мать — год тому назад.

— Есть у вас братья, сестры?

— Нет, только сводные братья... Но они были уже взрослыми и вели торговые дела, когда меня еще нянчили.

— Вероятно, вы росли одиноким. Потому-то вы так особенно и цените доброту Монтанелли. Кстати, есть у вас духовник на время его отлучки?

— Я думал обратиться к отцам Святой Катарины.

— Хотите исповедоваться у меня?

Артур смотрел удивленными глазами:

— Отец мой, конечно, я... я был бы рад, но только...

— Только ректор духовной семинарии обыкновенно не исповедует мирян — это вы хотите сказать? Вы правы. Но, видите, я знаю: каноник Монтанелли очень заботится о вас и, как мне думается, тревожится о вашем благополучии. Это — понятно... Случись мне расстаться с любимым воспитанником, я и сам бы тревожился за него. Я уверен: он был бы спо-

койнее, если бы знал, что его коллега печется о вашей душе. Будьте просты со мной, сын мой; скажите прямо — согласны вы иметь меня своим духовным отцом? Я к вам расположен и рад быть вам полезен.

— Если так, то, конечно, я буду вам очень признателен.

— Прекрасно. В таком случае приходите исповедоваться в будущем месяце. А кроме того, заходите ко мне, сын мой, как только у вас выдастся свободный вечер.

Незадолго до Пасхи стало официально известно, что Монтанелли получил епископство в Бризигелле, небольшом округе, расположенном в Этрусских Апеннинах. Сам Монтанелли писал об этом Артуру еще из Рима, писал в спокойном, радостном тоне. Было ясно, что его угнетенное настроение начинало проходить. «Ты должен навещать меня каждые каникулы, — писал он, — а я буду наезжать в Пизу. Надеюсь видеться с тобой, хотя и не так часто, как хотелось бы».

Доктор Уоррен пригласил Артура провести пасхальные праздники с ним и его семьей вместо того, чтобы скучать эти дни в мрачном, изъеденном крысами, старом палаццо, где теперь безраздельно царила Юлия. В это письмо была вложена нацарапанная неровным детским почерком записочка, в которой Джемма присоединяла к приглашению отца и свою просьбу заехать к ним. «Мне нужно кое о чем с вами переговорить», — писала она.

Еще больше волновали и радовали Артура слухи, которые студенты шепотом передавали друг другу. Все ждали после Пасхи крупных событий.

Все это породило в Артуре настроение такого восторженного ожидания, что самые страшные вещи казались ему вполне естественными, исполнимыми, могущими осуществиться даже в течение двух ближайших месяцев.

Он решил, что в четверг на Страстной неделе поедет домой и пробудет там первые дни отпуска. Он боялся, что радость свидания с Джеммой отвлечет его от торжественного религиозного настроения, какого церковь требует от своих детей в эти дни. В среду вечером Артур ответил Джемме обещанием приехать в пасхальный понедельник и с миром в душе пошел спать.

Войдя в спальню, он опустился на колени перед распятием. Завтра утром отец Карди обещал исповедать его, и теперь ему предстояло долгой и усердной молитвой подготовить себя к этой последней перед пасхальным причастием исповеди. На коленях, со скрещенными руками и склоненной голо-

вой, он обращался мысленно назад, к прошедшему месяцу, и пересчитывал свои маленькие грехи, вспоминая разные случаи, когда он проявлял нетерпение, легкомыслие, раздражительность. Но все это были мелкие прегрешения, ложившиеся лишь слабым пятном на его душевную чистоту. Он переkreстился, встал и начал раздеваться.

Когда он расстегнул ворот рубашки, из-под нее выпал лоскуток бумаги и полетел на пол. Это была записка Джеммы, которую он носил весь день на груди. Он поднял ее, развернул и поцеловал; потом стал снова складывать листок со смутным сознанием, что он сделал что-то неподходящее, и в этот момент заметил на обороте приписку, которой раньше не читал: «Непременно будьте у нас, и как можно скорее: я хочу познакомить вас с Боллой, он здесь, и мы каждый день читаем вместе».

Горячая краска залила лицо Артура, когда он прочел эти строки.

«Вечно этот Болла! Что он опять делает в Ливорно? И с чего это Джемме вздумалось читать вместе с ним? Что ее прельщает в его контрабандных делах? Он ее совсем околдовал. Уже в январе на собрании было заметно, что он влюблен в нее. Поэтому-то он и говорил тогда с таким жаром! А теперь он подле нее, читает с ней каждый день».

Порывистым жестом Артур отбросил в сторону записку и снова опустился на колени перед распятием.

И это — душа, готовившаяся принять отпущение грехов, пасхальное причастие, душа, которая должна примириться с собой, со всем миром, с Господом! Эта душа способна на низкую ревность, на грязные подозрения, способна питать мелкую зависть, да еще к товарищу! В порыве самобичевания он закрыл лицо руками. Всего пять минут тому назад он носился с мечтами о мученичестве, а теперь стоит как преступник, и совесть уличает его.

Утром в четверг он вошел в часовню семинарии и застал отца Карди одного. Прочтя Символ веры, он сейчас же стал говорить о своем душевном падении прошлой ночи.

— Отец мой, я грешен — грешен в ревности, в злобе, в недостойных мыслях о человеке, который не сделал мне никакого зла.

Отец Карди отлично понимал, с кем он имеет дело. Он мягко сказал:

— Вы мне не все открыли, сын мой.

— Отец! Того, к кому я питаю нехристианские чувства, я должен особенно любить, особенно уважать.

— Вы связаны с ним кровными узами?

— Еще теснее, еще крепче!

— То есть как, сын мой?

— Я связан с ним узами товарищества.

— Товарищества? В чем?

— В великой и священной работе.

Последовала небольшая пауза.

— И ваша злоба к этому товарищу, ваша зависть к нему вызвана успехом его в этой работе, успехом, более громким, чем ваш?

— Да, отчасти. Я позавидовал его опытности, за которую все его ценят. А кроме того... я думал... Я боялся, что он отнимет у меня любовь той девушки, которую я люблю.

— А девушка, которую вы любите, — дочь святой церкви?

— Нет, она протестантка.

— Еретичка?

Артур стиснул руки в отчаянии.

— Да, еретичка, — повторил он. — Мы вместе воспитывались. Наши матери были друзьями. И вот я позавидовал ему, так как видел, что и он любит ее. И еще...

— Сын мой, — не спеша, серьезным тоном заговорил отец Карди, помолчав, — вы еще не все мне открыли. У вас на сердце есть что-то поважнее.

— Отец, я...

Артур запнулся и снова замолчал. Отец-исповедник ожидал, пока он заговорит.

— Я позавидовал ему потому, что организация «Молодая Италия», к которой я принадлежу...

— Да?

— Организация доверила ему одно дело, а я надеялся, что оно будет поручено мне. Я считал себя особенно пригодным для него.

— Какое же это дело?

— Прием книг с пароходов, политических книг. Их нужно было взять с парохода, а потом подыскать в городе помещение, где можно было бы их спрятать.

— И эту работу организация передала сопернику?

— Передала Болле, и этому я позавидовал.

— А он, со своей стороны, ни в чем не подавал вам повода к неприязни? Вы не обвиняете его в небрежном отношении к той миссии, которую возложили на него?

— Нет, отец. Он действовал смело и самоотверженно. Он истинный патриот, и я должен бы питать к нему любовь и уважение.

Отец Карди что-то обдумывал.

— Сын мой, если душу вашу озарил новый свет, если в ней родилась мечта о великой работе на благо ваших братьев, если вы надеетесь облегчить бремя усталых и угнетенных, то подумайте, как вы относитесь к самому драгоценному дару Господню. Все блага — дело Его рук. И рождение ваше в новую жизнь — от Него же. Если вы обрели путь к жертве, нашли дорогу, которая ведет к миру; если вы соединились с любимыми вами товарищами, чтобы принести освобождение тем, кто втайне льет слезы и скорбит о своей горькой доле, то позаботьтесь, чтобы ваша душа была свободна от зависти и страстей, а ваше сердце было алтарем, где неугасимо горит священный огонь. Помните, что это святое и великое дело, и сердцу, которое проникнется им, должны быть чужды своекорыстные помыслы. Это призвание, так же, как и призвание служителя церкви, не должно зависеть от любви к женщине, от скоропреходящих увлечений. Оно «во имя Бога и народа, теперь и навсегда».

— А! — Артур всплеснул руками, пораженный.

Он чуть не разрыдался, услышав знакомый лозунг.

— Отец мой, вы даете нам благословение церкви! С нами — Христос.

— Сын мой,— торжественно ответил священник,— Христос изгнал меня из храма*, ибо дом Его — дом молитвы, а они его сделали вертепом разбойников.

После долгого молчания Артур с дрожью в голосе прошептал:

— И Италия будет храмом Его, когда их изгонят...

Он остановился. В ответ раздался мягкий голос:

— «Земля и все ее богатства — Мои»,— сказал Господь.

Глава V

Весь этот день Артуру хотелось ходить без конца. Он сдал свой багаж товарищу-студенту, а сам отправился в Ливорно пешком.

День был сырой и облачный, но не холодный, и низкая ровная местность казалась ему прекраснее, чем когда-либо. Он чувствовал особую радость от мягкости сырой травы под ногами и от робкого, изумленного вида диких весенних цветов у дороги. В кусте акации на опушке маленького леса птица свивала гнездо и при его появлении с испуганным криком звилась на воздух быстрым движением темных крыльев.

Он пытался сосредоточиться на благочестивых размышлениях, каких требовал канун Великой пятницы. Но два образа — Монтанелли и Джеммы — все время мешали его благочестивым намерениям, так что в конце концов он отказался от попытки настроить себя на благочестивый лад и предоставил своей фантазии свободно нестись к чудесам и славе грядущего восстания и той роли, которую он предназначал в нем двум своим идолам. Падре был в его воображении вождем, апостолом, пророком, перед священным гневом которого исчезали все темные силы. У его ног юные защитники свободы должны будут сызнова учиться старой вере, старым истинам в их новом, еще неизвестном значении.

А Джемма?

О, Джемма будет защитницей баррикад. Она создана быть героиней в предстоящем восстании. Она будет безупречным товарищем, чистой и бесстрашной девушкой, тем идеальным образом, которым вдохновлялся уже не один поэт. Она рядом с ним, плечо к плечу, и с улыбкой посмотрит в лицо крылатой смертоносной буре. Они вместе умрут, и это случится, может быть, в момент победы, ибо победа не может не прийти. Он ничего не скажет ей о своей любви, ни словом не обмолвится о том, что могло бы нарушить ее душевный мир и омрачить ее душевное чувство к товарищу. Ему она представлялась святыней, беспорочной жертвой, которой суждено быть возложенной на алтарь за свободу народа. И кто он такой, чтобы посметь войти в святая святых души, которая не знает иной любви, кроме любви к Богу и Италии?

Бог и Италия... Неожиданно упала с туч дождевая капля, когда он входил в большой мрачный дом, смотревший своим фасадом на улицу дворцов. На лестнице его встретил дворецкий Юлии, безукоризненно одетый, спокойный, учтивый, как всегда, и, как всегда, враждебный.

— Добрый вечер, Джиббонс. Дома братья?

— Мистер Томас дома. И миссис Бертон тоже. Они в гостиной.

Артур вошел с тяжелым, тоскливым чувством. Какой скучный дом! Поток жизни, никогда не задевая его, пронесся мимо него. Все в нем оставалось без перемен — люди, фамильные портреты, дорогая безвкусная обстановка, безобразные блюда, развешенные по стенам, мещанское чванство богатством и безжизненный отпечаток, лежавший на всем. Даже цветы, стоящие на бронзовых подставках, казались искусственными, вырезанными из металла. Им как будто незна-

кома была игра молодого сока в жилах при свете теплого весеннего дня. А сама Юлия, разодетая к обеду и ожидающая гостей в своей гостиной, бывшей центром ее существования, смело могла бы сойти за куклу со своей застывшей улыбкой, с белокурыми завитками на висках и с собачонкой, лежавшей у нее на коленях.

— Как поживаешь, Артур? — спросила она сухо, протягивая ему на минуту кончики пальцев и перенося их тотчас же на шелковистую шерсть своей собачки, более приятную на ощупь. — Ты, надеюсь, здоров и хорошо занимаешься в университете.

Артур произнес первую фразу, которая пришла ему в голову; снова наступило тягостное молчание. Не внес оживления и приход надутого, важничающего Джемса; его сопровождал пожилой чопорный агент какого-то пароходного общества. Когда доложили, что обед подан, Артур встал с легким вздохом облегчения.

— Я не буду сегодня обедать, Юлия. Прошу извинить меня, но я удаляюсь в свою комнату.

— Ты слишком строго соблюдаешь пост, — сказал Томас. — Я уверен, что ты заболеешь.

— О нет. Спокойной ночи.

В коридоре Артур встретил горничную и попросил разбудить его в шесть часов.

— Синьорино* идет в церковь? — спросила она.

— Да. Спокойной ночи, Тереза.

Он вошел в свою комнату. Она принадлежала его матери. Арьков, приходившийся против окна, был превращен в часовню во время ее продолжительной болезни. Большое распятие на черном пьедестале занимало середину алтаря. Перед ним висела лампада. В этой комнате она умерла. На стене, над постелью, висел ее портрет. На столе стояла принадлежавшая ей китайская ваза с букетом фиалок — ее любимых цветов. Минул ровно год со дня ее смерти. Слуги-итальянцы не забыли ее.

Артур вынул из чемодана портрет, тщательно завернутый и вставленный в рамку... Это был сделанный карандашом портрет Монтанелли. Он с нежностью стал разворачивать свое сокровище. В этот момент вошел мальчик, грум Юлии. Он держал в руках поднос. Старая кухарка-итальянка, служившая Глэдис до появления в доме новой строгой хозяйки, оставила этот поднос всякими деликатесами, которые, как она знала, ее дорогой синьорино мог покушать, не нарушая церковных

правил. Артур взял только кусок хлеба, а от прочего отказался. Он вошел в альков и опустился на колени перед распятием, напрягая все силы, чтобы настроить себя для молитвы и благочестивых размышлений. Ему это долго не удавалось.

Он и в самом деле, как сказал ему Томас, слишком усердствовал в соблюдении великопостных правил. Лишения, которым он себя подвергал, действовали на его голову, как крепкое вино. По его спине пробежала легкая дрожь. Распятие стояло перед его глазами, как будто окутанное туманом. Он механически произнес несколько раз длинную молитву, и только этим путем удалось ему сосредоточить свое блуждающее внимание на тайне искупления. Наконец физическая усталость одержала верх над нервным возбуждением, и он улегся спать, свободный от тревожных и тяжелых дум.

Спал он крепко. Вдруг раздался сильный стук в дверь.

«А, Тереза», — подумал он, лениво поворачиваясь на другой бок.

Стук повторился. Он в испуге проснулся.

— Синьорино! Синьорино! — крикнул кто-то по-итальянски.

Он соскочил с постели.

— Что случилось? Кто там?

— Это я, Джан Баттиста. Вставайте, ради бога, скорее!

Артур торопливо оделся и отпер дверь. Растерявшись, он смотрел на бледное, искаженное от ужаса лицо кучера. По коридору раздавался стук шагов и лязг металла. Он быстро сообразил, что это значит.

— За мной? — спросил он спокойно.

— За вами! О синьорино, торопитесь! Что вам нужно спрятать? Я могу...

— У меня ничего нет. Братья знают?

На повороте коридора показался первый мундир.

— Синьора разбудили. Весь дом проснулся! О, какое горе, какое ужасное горе! И еще в Страстную пятницу. Угодники Божьи, сжальтесь над нами!

Джан Баттиста рыдался.

Артур сделал несколько шагов вперед и ждал жандармов. Они вошли в комнату в сопровождении толпы слуг, одетых во что попало. Артура окружили солдаты. Странную процессию замыкали хозяин и хозяйка дома. Он — в туфлях и в халате, а она — в длинном пеньюаре с папилютками в волосах.

«Как будто наступает второй потоп, и эти пары, спасаясь, двигаются в ковчег! Вот, например, пара престранных животных!»

Это сравнение мелькнуло в голове Артура, пока он смотрел на стоявшие перед ним смешные фигуры.

Он едва удерживался от смеха, сознавая всю его неуместность в такую серьезную минуту.

— Ave, Maria, Regina, Coeli*, — прошептал он и отвернулся, чтобы не видеть торчащих папильоток Юлии, вводивших его в искушение.

— Будьте добры, объясните мне, — сказал мистер Бертон, приближаясь к жандармскому офицеру, — что значит это насильственное вторжение в частный дом? Я должен предупредить вас, что мне придется обратиться к английскому посланнику, если вы не дадите удовлетворительных объяснений.

— Думаю, что этого будет достаточно как для вас, так и для английского посланника, — произнес офицер с сознанием собственного достоинства.

Он развернул приказ об аресте Артура Бертона, студента философии, и вручил его Джемсу, холодно прибавив:

— Если вам понадобятся дальнейшие объяснения, советую обратиться к начальнику полиции.

Юлия вырвала бумагу из рук мужа, быстро пробежала ее глазами и накинулась на Артура так грубо, как только может это сделать пришедшая в бешенство благовоспитанная леди.

— Так это вы опозорили нашу семью! — вопила она. — Из-за вас вся эта городская чернь собралась, словно на базаре, и скалит зубы по нашему адресу! Хорошо, нечего сказать! Со своим благочестием, миленький, в тюрьму угодили. Впрочем, чего же было и ожидать от сына католички...

— Сударыня, с арестованным не полагается говорить на иностранном языке, — прервал ее офицер, но его замечание потонуло в потоке английских ругательств, лившихся из уст Юлии.

Как-то доктор Уоррен сравнил Юлию с салатом, в который повар вылил полную склянку уксуса. Ее визгливый, пронзительный голос заставлял Артура стискивать зубы. И вот теперь ему вдруг вспомнилось сравнение доктора.

— Какой смысл разговаривать об этом? — сказал он. — Вам нечего опасаться неприятностей. Всем понятно, что вы совершенно невинны. Я полагаю, — прибавил он, обращаясь к жандармам, — вы хотите осмотреть мои вещи.

Пока жандармы обыскивали комнату, перечитывали письма, просматривали университетские бумаги и выдвигали ящики, он сидел на краю постели и ждал. Обыск его не беспокоил: он всегда сжигал все письма, которые могли кого-нибудь скомпрометировать, и теперь, кроме нескольких рукописных

стихотворений, полуреволюционных, полумистических, да двух-трех номеров «Молодой Италии», жандармы не нашли ничего, что могло бы вознаградить их за труды.

После долгого сопротивления Юлия уступила настояниям своего деверя и пошла спать, окинув Артура презрительным взглядом. Джемс покорно последовал за ней.

Когда они вышли из комнаты, Томас, который все это время шагал взад и вперед, стараясь казаться равнодушным, подошел к офицеру и попросил у него разрешения переговорить с арестованным. Получив согласие, он приблизился к Артуру и пробормотал поспешно:

— Чертовски неприятная история! Я ужасно огорчен.

Артур взглянул на него ясными глазами.

— Вы были всегда добры ко мне, — сказал он. — Вам нечего беспокоиться. Мне ничто серьезное не угрожает.

— Вот что, Артур! — Томас нервно теребил усы, не решаясь задать неприятный вопрос. — А что, эта история имеет какое-нибудь отношение к денежным делам? — спросил он наконец. — Потому что, если это так, то я...

— К денежным делам? Нет, конечно. Что может быть тут общего?..

— В таком случае это какая-нибудь политическая чепуха? Я и раньше кое-что подозревал. Ну, что же делать... Не смущайтесь и не обращайтесь внимания на глупые выходки Юлии: вы ведь знаете, какой у нее язык. Так вот, если нужна будет моя помощь — деньги или еще что, — дайте знать.

Артур молча протянул ему руку, и Томас вышел из комнаты, стараясь придать своему лицу выражение равнодушия.

Тем временем жандармы закончили обыск, и офицер попросил Артура надеть пальто. Артур сейчас же это исполнил и повернулся, чтобы выйти, но остановился в нерешительности: ему было тяжело прощаться с комнатой в присутствии полиции.

— Вы не могли бы... вы не могли бы выйти на минуту из комнаты? — спросил он одного из жандармов. — Убежать я все равно не могу, а прятать мне нечего.

— Мне очень жаль, но мы не можем этого сделать: арестованных запрещено оставлять одних.

— Что ж делать, пусть так.

Офицер стоял у стола и рассматривал портрет Монтанелли.

— Это ваш родственник? — спросил он.

— Нет, это мой духовный отец, новый епископ Бризи-геллы.

На лестнице итальянская прислуга ожидала его, тревожная и опечаленная. Все любили Артура, как прежде любили его мать, и теперь теснились вокруг него с грустными лицами. Джиан Баттиста стоял тут же, и слезы катились на его седые усы. Никто из Бертонов не вышел провожать арестанта. Их холодность только сильнее подчеркивала преданность и любовь слуг, и Артур был совсем растроган, пожимая протянутые к нему руки.

— Прощай, Джиан Баттиста, поцелуй детей за меня! Прощайте, Тереза! Прощайте, прощайте...

Он быстро сбежал с лестницы к входной двери.

Через минуту маленькая группа безмолвных мужчин и рыдающих женщин стояла у дверей, глядя вслед уезжающей коляске.

Глава VI

Артур был заключен в средневековую крепость громадных размеров, расположенную у самой гавани. Тюремная жизнь показалась ему довольно сносной. В его камере неприятно поражали темнота и сырость, но он вырос в старом палаццо*, и ни спертый воздух, ни крысы, ни тяжелый запах не были для него новостью. Тюремная пища была плоха, и ее давали мало, но скоро его брату Джемсу дано было разрешение присылать в тюрьму все необходимое. Артур сидел в одиночном заключении, и хотя надзор за ним был не так строг, как он того ожидал, он все-таки не мог получить объяснения причины своего ареста. И тем не менее его не покидало душевное спокойствие. Ему не разрешали читать, и все время проходило у него в молитве и благочестивых размышлениях.

Терпеливо и спокойно он ожидал дальнейших событий.

Однажды утром солдат отпер дверь камеры и сказал: «Пожалуйста!» После двух-трех вопросов, на которые был только один ответ: «Разговаривать воспрещено»,— Артур покорился неизбежному и побрел за солдатом через целый лабиринт дворов, коридоров и лестниц. Наконец он добрался до большой светлой комнаты, где за длинным столом, покрытым зеленым сукном и заваленным бумагами, сидели трое военных со скучающими лицами, перебрасываясь отрывочными фразами. Когда он вошел, они сейчас же приняли важный, деловой вид, и старший из них, уже пожилой, с седыми бакенбардами, щеголевато одетый полковник, указал ему на стул,

стоявший по другую сторону стола, и приступил к предварительному допросу.

Артур ожидал угроз, оскорблений, ругательств и приготовился отвечать с выдержкой и достоинством. Но ему пришлось приятно разочароваться. Полковник был чопорен, холоден, по-казенному сух, но безукоризненно вежлив. Были предложены шаблонные вопросы об имени, возрасте, национальности, социальном положении. Артур отвечал, и за ним записывали в однообразном, наводящем скуку порядке.

Он уже начал чувствовать скуку и нетерпение, как вдруг полковник сказал:

— Ну а теперь, мистер Бертон, расскажите нам, что вам известно о «Молодой Италии».

— Мне известно, что это политическое общество, которое издает газету в Марселе и распространяет ее по Италии с целью подготовить народ к восстанию и изгнать австрийскую армию из пределов страны.

— Вы читали эту газету?

— Да. Я интересовался ее содержанием.

— А когда вы читали ее, приходило вам в голову, что вы совершаете противозаконный акт?

— Конечно.

— Где вы достали экземпляры, найденные в вашей комнате?

— Этого я не могу вам сказать.

— Мистер Бертон, вы не должны здесь говорить: «Я не могу сказать». Вы обязаны ответить на все мои вопросы.

— В таком случае — не хочу, если вам не нравится «не могу».

— Вам придется пожалеть впоследствии, если вы позволите себе говорить со мной в таком тоне, — заметил полковник.

Артур ничего не ответил, и тот продолжал:

— Могу еще прибавить, что в наши руки попали веские данные, указывающие на то, что ваши отношения к обществу были гораздо ближе, чем какие могли бы вытекать из простого чтения запрещенной литературы. Для вас же будет лучше, если вы откровенно сознаетесь во всем. Все равно истина будет раскрыта, и вы увидите, что бесполезно было стараться выгородить себя увертками и заpirationством.

— У меня нет никакого желания выгораживать себя. Что хотите вы знать?

— Прежде всего скажите, каким образом вы, иностранец, могли впутаться в подобного рода дела?

— Я много передумал, прочитал по этому поводу все, что мог достать, и пришел к определенным заключениям.

— Кто убедил вас присоединиться к организации?

— Никто. Это было моим личным желанием.

— Вы меня морочите! — произнес резко полковник — терпение, очевидно, начинало ему изменять. — Никто не может присоединиться к сообществу без помощи других, — сказал он. — Кому вы говорили о своем желании стать членом организации?

Молчание.

— Будьте любезны ответить.

— Нет, я не отвечу на такой вопрос.

Артур говорил злобно. Какое-то странное нервное раздражение овладевало им. В это время он уже знал об арестах, произведенных в Ливорно и Пизе. Он еще не представлял себе истинных размеров разгрома, но и того, что доходило до его ушей, было достаточно, чтобы наполнить его лихорадочным чувством тревоги за участь Джеммы и остальных друзей.

Ему до тошноты надоела притворная вежливость господ офицеров, опротивел этот словесный турнир, эта скучная игра в коварные вопросы и уклончивые ответы. Он устал от всего этого, а тут еще часовой шагал за дверью взад и вперед и своим тяжелым топотом терзал его слух.

— Между прочим, когда вы виделись в последний раз с Джованни Боллой? — спросил полковник после нескольких небрежно брошенных слов. — Перед вашим отъездом из Пизы?

— Это имя мне неизвестно.

— Как! Джованни Болла! Могу вас уверить, что вы его знаете. Молодой человек высокого роста, всегда гладко выбритый. Ведь он ваш товарищ по университету.

— Я знаком далеко не со всеми студентами университета.

— О, Боллу вы не можете не знать. Посмотрите: вот его почерк. Вы видите, он прекрасно вас знает.

И полковник небрежно передал ему бумагу, в заголовке которой стояло: «Протокол», а внизу была подпись: «Джованни Болла». Наскоро пробегая ее, Артур наткнулся на свое имя. Он с изумлением поднял глаза.

— Разрешите прочесть? — спросил он у полковника.

— Да, конечно. Это касается вас.

Он начал читать, а офицеры молча сидели и наблюдали за выражением его лица. Документ был наполнен показаниями, данными в ответ на целый ряд вопросов. Ясно было, что Болла тоже арестован. Первые показания ничего не давали ново-

го. Это были обычные стереотипные ответы, повторяющиеся при каждом допросе. Затем следовал краткий отчет об отношениях Боллы к организации, о распространении в Ливорно запрещенной литературы, о студенческих собраниях. А дальше стояло: «В числе примкнувших к нам был один молодой англичанин, по имени Артур Бертон, из семьи богатых ливорнских судовладельцев».

Кровь хлынула в лицо Артура. Болла выдал его! Болла, который принял на себя священную обязанность руководителя, Болла, который любил Джемму и вовлек ее в организацию! Он положил бумагу и тупо смотрел вниз.

— Надеюсь, этот маленький документ освежит вашу память? — ядовито заметил полковник.

Артур покачал головой.

— Никого не знаю с этим именем, — повторил он угрюмо. — Тут, вероятно, какое-нибудь недоразумение.

— Недоразумение? О, пустяки! Знаете, мистер Бертон, рыцарство и донкихотство — прекрасные вещи, но не надо доводить их до крайности. Это ошибка, в которую постоянно впадает молодежь. Подумайте: стоит ли компрометировать себя и портить себе карьеру из-за пустой формальности, щадя человека, который вас же выдал? Вы сами видите, что он не был особенно щепетилен, когда давал показания о вас.

Что-то очень похожее на насмешку послышалось в голосе полковника. Артура передернуло. Внезапная догадка пронеслась у него в голове:

— Это ложь! Вы совершили подлог! Я вижу это по вашему лицу! Вы — низки! Я разгадал ваши планы: вы хотите кого-нибудь скомпрометировать или строите ловушку, чтобы поймать меня. Вы обманщик, лгун, подлец!

— Молчать! — закричал полковник, в бешенстве вскакивая со стула.

Оба его сослуживца были уже на ногах.

— Капитан Томмази, — сказал он, обращаясь к одному из них, — позовите надзирателя и прикажите посадить в карцер на несколько дней этого молодого человека. Я вижу: он нуждается в уроке, чтобы стать рассудительным.

Карцер напоминал крысиную нору. В нем было темно, сыро и нестерпимо грязно. Все это довело Артура до последней степени раздражения, вместо того чтобы заставить его здраво мыслить, как того хотел полковник. Богатый дом, в котором он вырос, воспитал в нем крайнюю требовательность во всем, что касалось чистоплотности.

А теперь ему пришлось касаться липких стен, покрытых плесенью, стоять на полу, заваленном кучами мусора и всяких нечистот, вдыхать ужасный зловонный запах, распространившийся от сточных труб и прогнившего дерева. Первое впечатление было настолько сильно, что оскорбленный офицер смело мог бы удовлетвориться возмездием. Когда Артура втолкнули в эту конуру и захлопнули за ним дверь, он осторожно шагнул вперед, нащупывая руками дорогу. Он содрогался от отвращения всякий раз, когда его пальцы касались липкой грязи, покрывавшей стены. Прежде чем сесть, он отыскал руками в потемках место на полу, где было меньше грязи.

Целый день он провел в непроглядной темноте, среди полной тишины. Наступила ночь, но она не принесла никаких перемен. Его окружала все та же пустота. Неоткуда было набираться внешних впечатлений. Он постепенно терял сознание времени. На следующий день в замке щелкнул ключ. Испуганные крысы с писком прошмыгнули мимо его ног. Им овладел внезапный ужас. Он вскочил. Сердце его отчаянно билось, в ушах стоял шум. У него было такое ощущение, как будто ни свет, ни звуки не доходили до него целые месяцы.

Дверь отворилась, и слабый свет фонаря прорезал густую темноту карцера. Его ослепил этот свет. Вошел старший надзиратель. Он принес кусок хлеба и кружку воды. Артур шагнул к двери. Он был уверен, что пришли за ним, что надзиратель хотел вывести его отсюда. Но, прежде чем он успел что-нибудь сказать, надзиратель передал ему хлеб и воду, повернулся и молча ушел. Дверь снова захлопнулась.

Артур топнул ногой. Первый раз в жизни он не мог сдержаться. Часы проходили. Сознание места и времени все больше и больше ускользало от него.

Темнота представлялась ему безграничной, без начала и конца. Внешняя жизнь для него умерла.

На третий день вечером дверь опять отворилась. На пороге стоял надзиратель в сопровождении солдата. Артур рассеянно озирался. Он стоял, защищая глаза от света, тщетно стараясь подсчитать, сколько часов, дней или недель он пробыл в этой могиле.

— Пожалуйте, — холодным, деловитым тоном произнес надзиратель.

Артур машинально побрел за ним неуверенными шагами, спотыкаясь и пошатываясь, словно пьяный. Надзиратель хотел было помочь ему подняться по крутым узким ступенькам, ко-

торые вели во двор, но он отказался. Когда он взошел на верхнюю ступеньку, у него закружилась голова. Артур пошатнулся и упал бы, если бы надзиратель не поддержал его за плечо.

— Ну, теперь все прошло,— произнес приветливый голос,— это всегда бывает, когда выходят отсюда на воздух.

Артур делал отчаянные попытки вздохнуть, когда ему опять брызнули водой в лицо. Темнота, казалось, отставала от него, распадаясь с грохотом на куски.

Он наконец пришел в себя и, оттолкнув руки надзирателя, почти твердыми шагами пошел по коридору и по лестнице. На минуту они приостановились перед дверью. Потом она открылась, и он очутился в освещенной комнате, прежде чем успел понять, куда его ведут. Недоумевающим взглядом окинул он стол, заваленный бумагами, и офицеров, сидевших на своих обычных местах.

— А, мистер Бертон! — проговорил полковник. — Надеюсь, теперь мы будем сговорчивее. Ну, как вам понравился карцер? Не правда ли, в нем нет такой роскоши, как в гостиной вашего брата?

Артур перевел глаза на улыбающееся лицо полковника. Им овладело безумное желание броситься на этого франта с седыми бакенбардами и задушить его.

Должно быть, на его лице было написано что-нибудь в этом роде, потому что полковник сейчас же прибавил уже совершенно другим тоном:

— Сядьте, мистер Бертон, и выпейте воды.

Артур оттолкнул предложенный ему стакан с водой. Облокотившись на стол, он приложил руку ко лбу, силясь собрать мысли. Полковник внимательно за ним наблюдал. Его опытный глаз подметил дрожь в руках, трясущиеся губы, мокрые от сырости волосы, тусклый взгляд, говоривший о физической слабости и нервном переутомлении.

— Теперь, мистер Бертон,— снова начал полковник после нескольких минут молчания,— мы вернемся к тому, на чем остановились в прошлый раз. Тогда между нами произошла маленькая неприятность. Я думаю, она больше не повторится. Во всяком случае, я начинаю наш разговор заявлением, что у меня теперь единственное желание — быть снисходительным. Могу вас уверить, что с вами обойдутся без излишней строгости, если вы будете вести себя прилично и проявите должную рассудительность.

— Что вы хотите от меня?

Артур произнес это суровым, злым, совсем не своим голосом.

— Мне нужно только, чтобы вы сказали откровенно и честно, что вам известно об организации и ее членах. Прежде всего, как давно вы знакомы с Боллой?

— Я его никогда не встречал. Мне о нем ровно ничего не известно.

— Неужели? Хорошо, мы скоро вернемся к этому. Может быть, вы знаете молодого человека по имени Карло Бини?

— Никогда не слыхал.

— Это уже совсем странно. Ну а что вы можете сказать о Франческо Кэри?

— Первый раз слышу это имя.

— Но ведь вот письмо, адресованное ему и написанное вашей рукой. Посмотрите!

Артур равнодушно взглянул на письмо и отложил его в сторону.

— Ну, что? Оно вам незнакомо?

— Нет.

— Вы отрицаете, что это ваш почерк?

— Ничего я не отрицаю. Я не помню, чтобы я писал это письмо.

— Может быть, вы вспомните это?

Ему передали второе письмо. Он узнал письмо, которое он писал осенью одному студенту-товарищу.

— Нет, — ответил он.

— И не знаете лица, которому оно адресовано?

— Не знаю.

— У вас удивительно короткая память.

— Это мой давнишний недостаток.

— Вот как! А я слышал от одного из университетских профессоров, что вас отнюдь не считают не способным. Напротив, о вас сложилось мнение как об очень умном молодом человеке.

— Вы судите об уме, вероятно, с полицейской точки зрения. Профессора университета употребляют это слово в несколько ином смысле.

Нотка нарастающего раздражения явственно слышалась в голосе Артура. Голод, дурной воздух и бессонные ночи истощили его. Он чувствовал боль во всем теле, у него ныла каждая косточка. Голос полковника надрывал и без того уже измученные нервы. Он действовал на них как царапанье грифеля по доске, заставляя зубы сжиматься.

— Мистер Бертон,— сказал с сознанием своего достоинства полковник, разваливаясь в кресле,— вы опять забываетесь. Я вас еще раз предостерегаю, что разговор в подобном тоне не доведет вас до добра. Вы уже достаточно ознакомлены с карцером, и я думаю, не желаете еще раз испытать его прелести. Скажу вам откровенно: я применю к вам строгие меры, если с вашей стороны не будет проявлено достаточной уступчивости. Помните, у меня есть веские доказательства, что некоторые из названных мною молодых людей занимались тайным провозом запрещенной литературы в здешней гавани. Мне известно, кроме того, что вы были в сношениях с ними. Так вот, намерены ли вы мне сказать без принуждения, что вы знаете об этом деле?

Артур только ниже опустил голову. Слепое, животное бешенство точно живое существо шевелилось в нем. Его пугали не столько угрозы полковника, сколько то, что сам он начал терять самообладание. Он в первый раз ясно увидел, что скрывается под культурной оболочкой человека и за смирением христианина. На него напал ужас.

— Я жду ответа,— сказал полковник.

— Мне нечего вам ответить.

— Так вы решительно отказываетесь отвечать?

— Ничего я вам не скажу.

— В таком случае мне придется распорядиться, чтобы вас вернули в карцер и держали там до тех пор, пока ваше решение не переменится. Если вы будете буйствовать, я прикажу надеть вам кандалы.

Артур поднял голову. По его телу пробежала дрожь.

— Поступайте как вам угодно,— сказал он тихо.— Но допустит ли английский посланник, чтобы так обращались с британским подданным, не доказав его преступности ни в чем,— это его дело решать.

Артура увели в камеру, где он повалился на постель и проспал до следующего утра. На него не надевали кандалов, не пришлось пока ему увидеть еще и карцера. Но с каждым допросом росла вражда между ним и полковником.

Напрасно воссылал Артур молитвы к Богу о том, чтобы Он даровал ему силы побороть в себе злые страсти. Как только его приводили в длинную, почти пустую комнату, где стоял все тот же стол, покрытый сукном, как только он встречался с полковником и взглядывал на его нафабранные усы, — злобная ненависть снова овладевала им и поднимала в нем неистовое желание говорить дерзости и на первый же вопрос это-

го господина бросить ему в лицо презрительный ответ. Еще не прошло и месяца, как он сидел в тюрьме, а их взаимное раздражение достигло такой напряженности, что они не могли спокойно смотреть друг на друга.

Затяжной характер этой булавочной борьбы начинал уже заметно отзываться на его нервах. С каждым днем он все больше и больше боялся крепко заснуть или съесть что-нибудь: ему было отлично известно, как зорко за ним наблюдают, а из головы не выходили слухи о том, что арестованных опаивают незаметно для них белладонной*, — чтобы выманить показания, которые мог дать в бреду кто-нибудь из них. Когда ночью мимо него пробегала мышь, он вскакивал в поту, дрожа от ужаса, и ему чудилось, что кто-то прячется в его комнате и подслушивает, не говорит ли он во сне. Он видел, что жандармы стараются поймать его на каком-нибудь признании, которое могло бы уличить Боллу. И нервы его действительно так расшатались, что для него был большой риск попасть в эту ловушку. Денно и ночью в его ушах звучало имя Боллы. Оно не сходило с его языка во время благочестивых молитвенных порывов и непроизвольно выговаривалось вместо имени Мария, когда он шептал молитвы, перебирая четки. Но хуже всего было то, что религиозное настроение с каждым днем уходило от него. С лихорадочным упорством он цеплялся за последнюю поддержку, проводя в молитве ежедневно по несколько часов. Но его мысли чаще и чаще возвращались к Болле, а молитвы произносились холодно, механически.

Большую отраду доставлял ему старший тюремный надзиратель. Это был маленький старичок, кругленький и лысый. Сначала он изо всех сил старался напустить на себя строгость. Но прирожденная доброта, сквозившая в каждой ямочке его пухлого лица, превозмогла официальную исполнительность, и скоро он стал передавать записки из одной камеры в другую.

Как-то раз после обеда, в один из майских дней, этот надзиратель вошел в камеру Артура и окинул ее таким хмурым взглядом, что Артур с удивлением посмотрел на него.

— В чем дело, Энрико? — воскликнул он. — Что с вами сегодня случилось?

— Ничего, — грубо ответил Энрико и сейчас же, подойдя к койке, стал собирать платье Артура.

— Зачем вы берете мои вещи? Разве меня переводят в другую камеру?

— Нет, вас выпускают.

— Выпускают? Сегодня? Совсем выпускают?

В волнении Артур схватил надзирателя за руку, но тот с сердцем вырвал ее.

— Энрико, что на вас нашло? Скажите, мы все сейчас выйдем?

В ответ послышалось только презрительное ворчание.

— Слушайте...— Артур с улыбкой взял за руку старика.— Вам не к чему на меня сердиться — я все равно не обижусь. Расскажите мне лучше о других.

— О других? — проворчал Энрико.— Не о Болле ли хотели вы спросить?

— Да, и о нем, и об остальных. Энрико, что с вами?

— Не похоже, чтобы его скоро выпустили, когда его оговорил товарищ. Фу, какая низость! — И Энрико с отвращением снова взялся за рубашку.

— Его выдал товарищ? Какой ужас! — Артур широко раскрыл глаза.

Энрико быстро повернулся к нему:

— А разве это не вы его выдали?

— Я? Вы с ума сошли! Я?!

— По крайней мере, так ему сказали на допросе. Мне очень было бы приятно думать, что предатель не вы. Вас я всегда считал порядочным молодым человеком. Сюда!

С этим возгласом Энрико вышел в коридор, Артур последовал за ним. В голове его вдруг прояснилось, он быстро сообразил, в чем дело, и сказал:

— А, так вот оно что? Болле они говорили, что его выдал я, а мне, Энрико, они сказали, что меня оговорил Болла. Но Болла ведь не так глуп, чтобы верить этому.

— Так это и впрямь неправда? — Энрико остановился на ступеньках лестницы и окинул испытующим взглядом Артура, который только плечами пожимал в недоумении.

— Конечно, ложь.

— Вот как! Рад слышать. Пойду к Болле, передам, что вы сказали. Но знаете, они ему говорили еще, что вы донесли на него... Как это они сказали? Да, из ревности. Оба вы будто полюбили одну и ту же девушку.

— Это ложь! — Артур повторил это слово быстрым шепотом, задыхаясь. Им овладел внезапный парализующий страх.— Ту же девушку! Ревность! Как они могли узнать? Как они могли узнать?

— Подождите минутку! — Энрико приостановился в коридоре перед комнатой, в которой производились допросы, и мягко сказал: — Я верю вам. Но скажите мне вот еще что. Я знаю, вы католик. Не говорили ли вы чего-нибудь на исповеди?

— Это ложь! — На этот раз голос Артура поднялся почти до крика.

Энрико пожал плечами и пошел вперед.

— Конечно, вам лучше знать. Но только вы были бы не единственным простаком, которые попадают на эту удочку. Вот теперь как раз усиленно говорят о каком-то священнике в Пизе. Ваши друзья уже изобличили его. Они отпечатали листок с предупреждением, что это шпион.

Он отворил дверь в комнату для допросов и осторожно толкнул Артура через порог, видя, что тот стоит неподвижно и растерянно смотрит перед собой.

— Здравствуйте, мистер Бертон,— произнес полковник, любезно ослабившись. — Мне очень приятно поздравить вас. Из Флоренции прибыл приказ о вашем освобождении. Будьте добры подписать эту бумагу.

Артур подошел к нему.

— Скажите,— произнес он упавшим голосом,— кто меня выдал?

Полковник с улыбкой приподнял брови:

— Не догадываетесь? Подумайте немного.

Артур покачал головой. Полковник сделал жест вежливо-го удивления:

— Не догадываетесь? Неужели? Да вы же, вы сами, мистер Бертон. Кто же еще мог знать о ваших любовных делах?

Артур молча отвернулся. На стене висело большое деревянное распятие. Он окинул его долгим взглядом. Но не молитвенное обращение за помощью можно было прочесть в этом взгляде, а только тупое удивление излишнему долготерпению Господа, который не поразил громовой стрелой священника, разгласившего тайну исповеди.

— Будьте добры расписаться в получении ваших бумаг,— мягко произнес полковник,— и я дольше не буду задерживать вас. И вам, я уверен, хочется скорее добраться до дому, да и у меня все время теперь занято делами этого молодого сумасброда Боллы. И какому жестокому испытанию он подверг вашу христианскую кротость. Боюсь, его постигнет суровый приговор. Прощайте!

Артур расписался, взял свои бумаги и вышел в гробовом молчании. До массивных тюремных ворот он шел следом за Энрико, а потом, ни слова не сказав ему на прощание, уже один спустился к берегу, где ждал его перевозчик, чтобы переправить через канал. В тот момент, когда он поднимался по каменным ступенькам на улицу, навстречу ему с распростер-

тymi объятиями неслась девушка в простеньком шерстяном платье и в соломенной шляпе.

— Артур! Я так счастлива, так счастлива!

Он вздрогнул от неожиданности и отвел руку.

— Джим! — проговорил он наконец не своим голосом. — Джим!

— Я ждала здесь целых полчаса. Сказали, что вас выпустят в четыре. Артур, отчего вы так смотрите на меня? Что-нибудь случилось? Что с вами? Остановитесь.

Он отвернулся и медленно пошел по улице, как бы забыв о ней. Его странное поведение испугало ее. Она пошла за ним, хватая его за руки.

— Артур!

Он остановился и растерянно взглянул на нее. Она взяла его под руку. В течение нескольких минут они шли рядом, не говоря ни слова.

— Слушайте, дорогой, — начала она нежно. — Вы не должны сокрушаться об этом печальном недоразумении. Я знаю, это было ужасно жестоко по отношению к вам, но все понимают...

— Какое недоразумение? — спросил он тем же подавленным голосом.

— Я говорю о письме Боллы.

При этом имени лицо у Артура болезненно исказилось.

— Я думаю, вы слыхали о нем, — продолжала она. — Болла, должно быть, совсем сумасшедший, раз он мог вообразить себе такую нелепость.

— Какую нелепость?

— Значит, вы ничего не знаете? Он написал ужасное письмо. Он говорил там, что вы рассказали о пароходе, что благодаря этому он арестован. Полная нелепость! Кто знает вас, отлично понимает это. Только те, кто совершенно вас не знает, могут из-за этого волноваться. Поэтому-то я и пришла сюда: мне хотелось скорее передать вам, что никто в нашей группе не верит ни одному слову письма.

— Джемма! Но это... это правда!

Она медленно отшатнулась от него и стояла безмолвная. В ее больших темных глазах был ужас. Лицо побледнело как тот шарф, которым она повязала шею.

— Да, — прошептал он наконец. — Пароход... я сказал о нем и имя Боллы назвал. Боже мой! Боже мой! Что мне делать?

Он вдруг пришел в себя. Теперь он ясно сознавал ее присутствие, видел смертельный ужас на ее лице. Да, это ужасно! Она, наверное, думает...

— Джемма, вы не понимаете! — вырвалось у него наконец.

Он шагнул к ней. Она отскочила с резким криком:

— Не прикасайтесь ко мне!

Артур порывисто схватил ее правую руку.

— Выслушайте, ради бога! Не моя вина была... я...

— Оставьте меня! Пустите руку! Оставьте!

И вслед за этим она вырвала свои пальцы из его рук и ударила его по щеке.

Густой туман застал перед ним свет. С минуту он ничего не видел перед собой, кроме бледного лица Джеммы, на котором было написано отчаяние, и ее руки — она вытирала ее о полу своего платья. Затем в его глазах прояснилось... Он осмотрелся и увидел, что он один.

Глава VII

Было совсем темно, когда Артур позвонил у наружной двери большого дома Виа-Борра. Он помнил, что скитался по улицам, но совершенно не мог припомнить, где, почему и как долго. Артур поднялся по лестнице. В первом этаже он столкнулся с Джиббонсом, который спускался ему навстречу с выражением надменного порицания на лице. Артур сделал попытку проскользнуть мимо него, пробормотав обычное «добрый вечер». Но трудно было миновать Джиббонса, когда Джиббонс того не хотел.

— Господ нет дома, сэр,— сказал он, окидывая пренебрежительным взглядом грязное платье и всклокоченные волосы Артура.— Они все ушли в гости и раньше двенадцати не возвратятся.

Артур посмотрел на часы. Было только десять. Да! Времени у него больше чем достаточно.

— Миссис Бертон приказала мне спросить, не хотите ли вы ужинать, сэр, и передать вам, что она надеется застать вас еще не спящим. Она хотела сегодня же переговорить с вами о чем-то важном.

— Благодарю вас, Джиббонс. Я не буду ужинать, а миссис Бертон передайте, что я не лягу спать до ее возвращения.

Он прошел в свою комнату. В ней все оставалось на прежних местах со дня его ареста. Портрет Монтанелли лежал на столе, где он его положил, а распятие, как и раньше, стояло в алькове. Он на минуту остановился на пороге, прислушиваясь, будто хотел убедиться, что никто не помешает. Сделав несколько осторожных шагов, он вошел в комнату и запер за собой дверь.

Итак, всему конец. Не о чем было много раздумывать. Только бы отделаться от ненужного и неприятного сознания и... кончено. А все-таки — как это глупо, бесцельно.

У него не было определенного решения лишить себя жизни. Он даже не особенно думал об этом, но такой конец казался ему неизбежным. У него не было и ясного представления о том, как именно он покончит с собой. Все сводилось к тому, чтобы проделать это быстро — порешить с собой и забыться. Под руками у него не было никакого оружия, даже перочинного ножа не оказалось. Но это не имело значения: достаточно полотенца или простыни, разорванной на куски.

Как раз над окном торчал большой гвоздь. «Это хорошо», — мелькнуло у него в голове. Но гвоздь должен быть достаточно крепок, чтобы выдержать тяжесть тела. Артур взобрался на стул и попробовал: гвоздь оказался надежным. Он тогда слез со стула, достал из ящика молоток, ударил им несколько раз по гвоздю и собирался уже стащить с постели простыню, как вдруг вспомнил, что не прочел молитвы.

Он вошел в альков и опустил на колени перед распятием. «Отче всемогущий и милостивый», — произнес он громко и остановился, не прибавив больше ни слова. Жизнь казалась ему теперь такой беспросветной, что в ней не оставалось ничего, о чем бы стоило молиться.

Артур поднялся и по старой привычке осенил себя крестным знаменем. Потом подошел к столу и увидел адресованное ему письмо, написанной рукою Монтанелли. Оно было написано карандашом.

«Дорогой мой! — стояло в этом письме. — Я в отчаянии, что не могу повидаться с тобой в день твоего освобождения. Меня позвали к умирающему. Не вернусь до поздней ночи. Приди ко мне пораньше завтра утром.

Л. М.».

Он со вздохом положил письмо и подумал: «Бедный падре!»

А люди смеялись и весело болтали на улицах. Ничто не изменилось в мире с того дня, когда он был еще жив. Ни одна из повседневных мелочей, его окружавших, не стала иной оттого, что человеческая душа, живая человеческая душа была искалечена насмерть. Все оставалось тем же, каким было и раньше. В фонтанах сверкали струи воды, воробьи щебетали под навесами крыш, как они делали это вчера и будут делать завтра... А он... он был мертв.

Артур опустил на край кровати, скрестил руки на спинке ее и положил на них голову.

У наружной двери резко прозвенел звонок. Он вскочил, задыхаясь от страха, и схватился обеими руками за горло. Пришли, а он сидит в полудремоте, упустив драгоценное время. Он не покончил с собой, и вот теперь ему придется видеть их лица, их презрительные усмешки, слышать враждебные голоса и скучные попреки. О, если бы был под руками нож!..

Он с отчаянием оглядел комнату. На шифоньерке стояла рабочая корзинка его матери. «Там должны быть ножницы, — мелькнуло у него в голове. — Этого достаточно, чтобы перерезать артерию. Нет, простыня и гвоздь вернее, будь у меня только время».

Он сдернул простыню с постели и с безумной поспешностью стал рвать ее на длинные полосы. На лестнице раздались шаги. Нет, полосы слишком широки: не удастся туго затянуть; а потом еще нужно сделать петлю. Он заторопился. Шаги приблизились. Кровь стучала в висках и шумела в ушах. Скорее, скорее! О боже! Еще только пять минут!

Раздался стук в дверь. Полосы разорванной материи выпали у него из рук. Он сидел неподвижно, стараясь не дышать и напрягая слух. Повернулась ручка двери. Затем послышался голос Юлии:

— Артур!

Он встал, почти задыхаясь.

— Артур, отворите, пожалуйста, дверь. Мы ждем.

Он собрал разорванную простыню, бросил ее в ящик и торпливо opravил постель.

— Артур! — Это был уже голос Джемса, который с нетерпением дергал за ручку двери. — Вы спите?

Артур окинул взглядом комнату и отпер дверь.

— Мне кажется, Артур, вы могли бы исполнить мою просьбу и посидеть до нашего прихода, — сказала злым голосом Юлия, вplывая в комнату взбешенная. — По-вашему, оно так и следует, чтобы мы полчаса танцевали перед дверью, ожидая, пока нам отворят?

— Только четыре минуты, моя дорогая, — робко поправил ее Джемс, входя следом за ее длинным розовым атласным шлейфом. — Я полагаю, Артур, что было бы куда приличнее...

— Что вам нужно? — прервал его Артур.

Мистер Бертон подставил жене стул и сел сам, заботливо вздергивая у колен свои новые брюки.

— Мы с Юлией, — начал он, — считаем своим долгом серьезно переговорить с вами об...

— Сейчас я не могу слушать вас. Мне... мне нехорошо. У меня болит голова... Вам придется подождать.

Артур выговорил это странным, глухим голосом, то и дело запинаясь.

Джемс с удивлением взглянул на него.

— Не случилось ли чего с вами? — спросил он с тревогой, неожиданно вспоминая, что Артур пришел из очага заразы. — Надеюсь, вы не больны? Вы выглядите так, точно у вас лихорадка.

— Пустяки! — резко оборвала его Юлия. — Все это обычные комедии: просто ему стыдно смотреть нам в глаза. Идите сюда, Артур, и сядьте.

Артур медленно прошел по комнате и опустился на постель.

— Ну, что? — произнес он усталым голосом.

Мистер Бертон откашлялся, пригладил и без того уже гладкую бороду и вернулся к своей тщательно подготовленной речи:

— Я считаю своим долгом... своим тяжелым долгом переговорить с вами о вашем необыкновенном поведении и о ваших связях с... нарушителями закона... с поджигателями и... тому подобными людьми. Я убежден, что вами руководило, скорее, легкомыслие, чем испорченность... — Он остановился.

— Дальше? — произнес Артур.

— Так вот, я не хочу быть жестоким, — продолжал Джемс, невольно смягчаясь при виде усталого и безнадежного выражения лица Артура. — Я готов допустить, что вас совратили дурные товарищи, и охотно принимаю во внимание вашу молодость, неопытность и... еще... еще... легкомыслие и впечатлительность, которую, боюсь, вы унаследовали от вашей матери.

Артур медленно перевел глаза на портрет матери, но продолжал молчать.

— Но вы, конечно, поймете, — говорил опять Джемс, — что мне невозможно дольше терпеть в своем доме человека, который обесчестил перед обществом наше имя, пользовавшееся таким уважением.

— Ну, дальше? — повторил еще раз Артур.

— Как! — резко выкрикнула Юлия, с треском складывая свой веер и бросая его к себе на колени. — Намерены ли вы, Артур, что-нибудь сказать, кроме этого: «Ну, дальше»?!

— Вы поступите, конечно, так, как вам будет удобно, — ответил он медленно, не шевелясь. — А как — это не важно.

— Не важно? — протянул Джемс, пораженный этим ответом.

Его жена поднялась со стула, хохоча.

— Так вот как? Это не важно, не важно! Джемс, я надеюсь, теперь вы понимаете, какой благодарности можно ожидать с

его стороны. Я говорила вам, к чему приведет снисходительность к папистским авантюристам и их отродью.

— Тише, тише! Не стоит, моя милая...

— Глупости, Джемс! Слишком много мы сентиментальничали! Какой-то незаконный ребенок, втершийся полноправным членом в нашу семью! Пора ему узнать, кто была его мать! Чего нам церемониться с сыном католического попа? Вот — читайте!

Она вынула из кармана помятый листок бумаги и швырнула его через стол Артуру. Он развернул его и узнал почерк своей матери.

Письмо было написано за четыре месяца до его рождения, как показывала дата. В нем заключалось признание, обращенное к мужу. Внизу стояли две подписи.

Артур медленно переводил глаза со строки на строку, пока не дошел до конца страницы, где после нетвердых букв, написанных рукой его матери, стояла уверенная подпись: «Лоренцо Монтанелли». Несколько минут он тупо смотрел на бумагу. Потом, не сказав ни слова, снова сложил листок и положил на стол.

Джемс встал и взял жену за руку.

— Ну, Юлия, довольно. Идите вниз, уже поздно. А мне нужно переговорить с Артуром кое о каких делах.

Когда Юлия, подобрав свой шлейф, вышла из комнаты, Джемс заботливо запер дверь и возвратился к стулу, стоявшему возле стола.

Артур сидел, как и раньше, не двигаясь и не говоря ни слова.

— Артур,— начал Джемс мягким тоном (Юлия уже не могла слышать его).— Очень жаль, что все так вышло. Вам бы не следовало этого знать. Мне приятно видеть, что вы держите себя с таким самообладанием. Юлия немного возбуждена... Женщины вообще часто... Ну, оставим это. Я не хочу быть с вами жестоким...— Он остановился, проверяя, какое впечатление произвела его снисходительная речь.

Артур оставался по-прежнему неподвижным.

— Конечно, дорогой мой, это печальная история,— продолжал Джемс после паузы,— и самое лучшее не говорить об этом. Мой отец был настолько великодушен, что не развелся с вашей матерью, когда она ему призналась в своей измене. Он только потребовал, чтобы человек, совративший ее, оставил тотчас же Италию. Как вы знаете, он отправился миссионером в Китай. Лично я был против того, чтобы вы встречались с ним, когда он вернулся обратно. Но мой отец до по-

следнего дня допускал его заниматься вашим воспитанием, поставив единственным условием, чтобы он не пытался видеться с вашей матерью. Надо отдать им справедливость — они до конца оставались верны этому условию. Все это очень прискорбно, но...

Артур поднял голову. Жизнь окончательно исчезла с его лица. Оно стало как восковое.

— Не представляется ли в-вам, — проговорил он мягко, странно заикаясь, — все это удивительно смешным?

— Смешным? — Джемс отодвинул стул от стола и смотрел на Артура, слишком ошеломленный, чтобы сердиться. — Смешным, Артур? Вы с ума сошли!

Артур вдруг закинул голову назад и разразился неистовым хохотом.

— Артур! — воскликнул почтенный судовладелец, с достоинством поднимаясь со стула. — Ваше легкомыслие меня поражает.

Ответа не было, а только следовали один за другим взрывы хохота, такого неудержимого, что даже Джемс начал сомневаться, не было ли тут чего-нибудь большего, чем простое легкомыслие.

— Совсем как истеричка, — пробормотал он и, презрительно передернув плечами, повернулся и начал нетерпеливо шагать по комнате взад и вперед. — Право, Артур, вы хуже Юлии. Перестаньте смеяться. Не могу же я дежурить здесь целую ночь!

С таким же успехом он мог бы обратиться к распятию и попросить его сойти с пьедестала. Артур был глух к увещаниям. Он все смеялся, смеялся без конца.

— Это, наконец, дико, — проговорил Джемс, перестав шагать по комнате. — Очевидно, ваши нервы слишком приподняты, чтобы вы могли быть рассудительным в эту минуту. Я не могу говорить с вами о деле, если вы будете продолжать так вести себя. Зайдите ко мне завтра после завтрака. А сейчас ложитесь-ка лучше спать. Спокойной ночи.

Он вышел, хлопнув дверью.

— Теперь истерика внизу, — бормотал он, спускаясь по лестнице тяжелыми шагами. — Там, вероятно, еще будут слезы.

Безумный смех замер на губах Артура. Он схватил со стола молоток и ринулся в альков к распятию.

Раздался треск. Он очнулся. Перед ним стоял пустой пьедестал. Молоток был еще в руках.

На полу у ног валялись обломки разбитого распятия.

Он швырнул молоток.

— Как это просто! — сказал он и отвернулся. — А я-то... И как я был глуп!

Задыхаясь, он опустился на стул у стола и сжал руками голову. Потом он поднялся, подошел к умывальнику и вылил себе на голову кувшин холодной воды. Успокоенный, он вернулся на прежнее место и погрузился в думы.

И из-за этих-то лживых, рабских душонок он вытерпел все муки стыда, гнева и отчаяния!.. Приспособил веревку, думал повеситься, потому что один служитель церкви оказался лжецом. Как будто не все они лгут! Довольно, все это миновало. Теперь он умнее. Нужно только стряхнуть с себя эту грязь и начать новую жизнь.

В доках достаточно морских судов. Нетрудно спрятаться на одном из них и уехать куда глаза глядят: в Канаду, в Австралию, в Капскую колонию — не все ли равно? Неважно, в какой стране он очутится, лишь бы подальше. Он приглядится к тамошней жизни: не подойдет она ему, попытается устроиться в другом месте.

Он вынул кошелек. В нем было тридцать три паоли*. Не беда: у него есть еще дорогие часы. И вообще это неважно: как-нибудь он выпутается. Они, эти люди, начнут искать, будут спрашивать о нем в доках. Нет, надо навести их на ложный след, заставив их поверить, что он умер. И тогда он свободен, свободен, как птица. Он тихо засмеялся, представив себе, как Бертоны будут разыскивать его тело. Какая все это комедия!

Он взял листок бумаги и написал первые слова, которые пришли ему в голову: «Я верил в вас, как в Бога, а вы лгали мне всю жизнь».

Он сложил листок и адресовал его Монтанелли. На другом он написал: «Ищите мое тело в Дарсене». Потом надел шляпу и вышел из комнаты. Проходя мимо портрета матери, он посмотрел на него, усмехнулся и пожал плечами. Она ведь тоже лгала ему!

Тихо ступая, он прошел по коридору и, отодвинув засов двери, очутился на большой темной мраморной лестнице, отзывавшейся эхом на каждый шорох.

И пока он спускался, ему казалось, что под ногами зияет мрачный колодец.

Он перешел двор, стараясь ступать как можно тише, чтобы не разбудить Джаиана Баттиста, который спал в нижнем этаже. В дровяном сарае в задней стене было решетчатое окошко. Оно выходило на канал и приходилось над землей не боль-

ше чем на четыре фута. Он вспомнил про это окно, вспомнил, что ржавая решетка в одном месте поломана. Можно будет расширить отверстие настолько, чтобы пролезть. Но решетка оказалась прочной. Он исцарапал себе руки и порвал рукав. Наконец он выбрался на улицу и стал осматриваться. Улица была безлюдна. Черный безмолвный канал отвратительной щелью проползал между прямыми липкими стенами. Беспросветной ямой мог оказаться неведомый мир, но вряд ли в нем найдется столько пошлости и грязи, сколько оставляет он за собой. Не о чем жалеть, не на что оглянуться. Позади оставалось стоячее болото жизни, полное грязной лжи, грубого обмана и зловония, такое мелкое, что в нем нельзя было даже утонуть.

С такими мыслями он шел по берегу канала, пока не вышел на маленькую площадь у дворца Медичи*. Это здесь Джемма бежала ему навстречу с радостью на лице, с распростертыми объятиями. Вот мокрые каменные ступеньки, что ведут к каналу. А вот и крепость хмурится на полоску грязной воды.

По узким улицам он добрался до Дарсены, снял шляпу и бросил в воду. Ее, конечно, найдут, когда будут искать труп. Потом он пошел по берегу, соображая, что ему делать дальше. Нужно будет придумать, как спрятаться на каком-нибудь из судов. Это было не так-то легко. Единственное, что он мог сделать пока, — это направиться к громадному старому молу Медичи и дальше идти по нему. Там есть один кабачок. Может быть, посчастливится встретить в этом кабачке матроса и подкупить его.

Ворота доков были заперты. Как пройти через них, как миновать таможенных чиновников? С его деньгами нечего было и мечтать о крупной мзде, какой потребовали бы с него за пропуск в доки ночью, да еще без паспорта. И кроме того, его, чего доброго, узнают.

В тот момент, когда он проходил мимо бронзового памятника Четырех Мавров*, из старого дома на противоположной стороне доков показался силуэт человека. Он приближался к мосту. Артур сейчас же юркнул в густую тень за монумент и присел в темноте, осторожно выглядывая из-за угла пьедестала.

На блещущем звездами небе, с кое-где ползущими по нем жемчужными облаками, выделялись силуэты кораблей, словно фигуры рабов, закованных в цепи и тщетно пытающихся сбросить их. Вышедший из дома человек шел по берегу нетвердыми шагами, распевая во все горло какую-то уличную

английскую песню. Это был, очевидно, матрос, возвращавшийся после попойки. Артур вышел на середину дороги. Кругом не было никого. Когда он подошел ближе, моряк с ругательством оборвал свою песню и остановился.

— Мне нужно с вами поговорить, — сказал Артур по-итальянски. — Вы понимаете, что я говорю?

Человек покачал головой.

— Нет толку объясняться со мной на этом тарабарском языке, — сказал он по-английски. А затем, переходя на скверный французский язык, сердито спросил: — Что вам от меня нужно? Чего вы стали поперек дороги?

— Идите-ка сюда на минуточку. Я хочу с вами поговорить.

— Вот как! А! Нож где-нибудь при вас?

— Нет-нет, что вы! Разве вы не видите, что мне нужна ваша помощь? Я вам заплачу.

— А? Что? Да вы и одеты франтом.

Моряк снова заговорил по-английски. Он отошел в тень и прислонился к ограде монумента.

— Ну, — сказал он, принимаясь снова за свой варварский французский язык, — так что же вам нужно?

— Мне нужно выбраться отсюда.

— Вот оно что! Прячетесь! Хотите, чтобы я вас укрыв. Гляди, что-нибудь натворили. Зарезали кого-нибудь? Это похоже на здешний народ! Куда же вы собираетесь удирать? Уж верно не в полицейский участок?

Он засмеялся пьяным смехом и подмигнул глазом.

— С какого вы судна?

— С «Карлотты». Ходит из Ливорно в Буэнос-Айрес. В одну сторону перевозит масло, в другую — кожи. Вот там оно, — и матрос ткнул пальцем по направлению мола. — Никуда не годная старая рухлядь.

— Буэнос-Айрес, вы говорите? Спрячьте меня где-нибудь на вашем судне.

— А сколько дадите?

— Да не очень много. У меня всего несколько паоли...

— Нет. Меньше пятидесяти не возьму. И то дешево для такого щеголя, как вы.

— Если вам приглянулось мое платье, можете поменяться со мной. Не могу же я дать вам больше того, что у меня есть.

— У вас есть часы. Давайте-ка их.

Артур вынул дамские золотые часы с эмалью тонкой работы. На задней крышке были вырезаны инициалы «Г. Б.». Часы принадлежали его матери. Но не все ли равно ему теперь?

— А-а! — воскликнул матрос, жадно оглядывая часы. — Краденые, разумеется? Дайте посмотреть!

Артур отдернул руку.

— Нет, — сказал он. — Я отдам вам эти часы, когда мы будем на судне, не раньше.

— А за всем тем вы не так глупы, как кажетесь. И все-таки держу пари — это ваша первая проделка. Ведь так?

— Это дело мое. А! Идет дозорный.

Они присели за монумент и ожидали, пока он пройдет. Затем матрос выпрямился, велел Артуру следовать за ним и пошел вперед, глупо смеясь себе в ус. Артур молча шагал сзади. Матрос привел его обратно к маленькой площади неправильной формы, примыкавшей ко дворцу Медичи: здесь в темном углу он приостановился и произнес таинственным полупшепотом, видимо предназначавшимся у него для секретных сообщений:

— Ждите тут.

— Куда вы идете?

— Раздобыть кое-какое платье. Не брать же вас с окровавленным рукавом!

Артур взглянул на рукав, разорванный решеткой окна. Несколько капель крови с поцарапанной руки попали на рукав. Очевидно, этот человек счел его за убийцу. Ну так что же? Какое ему дело, что думают о нем?..

Спустя немного матрос вернулся. Вид у него был торжествующий. Он нес под мышкой узел.

— Смените, — прошептал он, — да поторопитесь. Мне надо возвращаться на корабль.

Артур стал переодеваться. Он содрогнулся от отвращения, прикоснувшись к поношенному платью. По счастью, оно оказалось почти чистым, хотя было неуклюже и грубо. Когда он вышел на свет в новом одеянии, матрос посмотрел на него с пьяной торжественностью и важно кивнул головой в знак своего одобрения.

— Сойдет, — сказал он. — Сюда. Да не шумите.

Артур со скинутым платьем на руке пошел следом за ним по темным переулкам через лабиринт извилистых каналов.

Матрос остановился у мостика. Он посмотрел, чтобы убедиться, не заметил ли их кто-нибудь, и спустился по каменным ступенькам к узкой пристани. Под мостом покачивалась грязная лодка. Он грубовато велел Артуру прыгнуть в нее и лечь, а сам сел на весла и начал грести к гавани. Артур лежал не шевелясь на мокрых, скользких досках, под платьем, ко-

торое набросил на него матрос, и смотрел на знакомые постройки и улицы, проплывавшие мимо них.

Лодка остановилась перед длинным рядом связанных цепями мачт, которые лежали поперек канала через всю его ширину, загораживая узкий водный путь между таможенной и крепостью. Зевая, вышел сонный чиновник с фонарем и нагнулся над водой.

— Ваш паспорт!

Матрос сунул ему свои бумаги. Артур, закрывшись с головой, старался не дышать и чутко прислушивался к их разговору.

— Нечего сказать, самое время возвращаться на судно, — ворчал чиновник. — С кутежа небось. Что это в лодке?

— Старое платье. Купил по дешевой цене.

С этими словами он подал для осмотра жилет. Чиновник опустил фонарь и нагнулся, всматриваясь.

— Ладно. Можете ехать.

Он поднял шлагбаум, и лодка тихо поплыла дальше, покачиваясь на темной воде. Выждав немного, Артур поднялся и сбросил с себя тряпье.

— Вот он, мой корабль, — шепотом проговорил матрос после продолжительной и молчаливой гребли. — Идите следом за мной и, главное, молчите.

Он вскарабкался на палубу громоздкого темного чудовища, ругая про себя неловкого спутника, хотя Артур был от природы гибок и не так неуклюж, как был бы всякий другой на его месте.

Поднявшись на корабль, они стали осторожно пробираться меж темных снастей и наконец добрались до трюма. Матрос тихонько приподнял крышку.

— Полезайте вниз! — прошептал он. — Через минуту я вернусь.

В этой яме было не только сыро и темно, но и невыносимо душно. Артур попятился, задыхаясь от запаха гнилых кож и прогорклого масла. Но тут ему припомнился карцер, и он с отвращением стал спускаться.

Через несколько минут матрос вернулся.

Он держал что-то в руках, но что именно — Артур не мог разглядеть в темноте.

— Теперь давайте деньги и часы. Скорее!

Артур воспользовался темнотой и удержал при себе несколько монет.

— Принесите мне чего-нибудь поесть. Я очень голоден.

— Я принес. Вот.

Матрос передал ему кувшин, несколько твердых, как камень, сухарей и кусок соленой свинины.

— Теперь вот что. Завтра поутру придут для осмотра таможенные чиновники. Вам придется спрятаться в пустой бочке. Лежите смирно, как мышь, пока мы не выйдем в открытое море. Я скажу вам, когда можно будет вылезть. Да смотрите, старайтесь не попадаться на глаза капитану. Ну, все! Питье у вас в надежном месте? Спокойной ночи.

Трюм закрылся. Артур поставил кувшин с драгоценным питьем в безопасном месте и, вскарабкавшись на пустую бочку, стал уничтожать свинину и сухари. Потом свернулся клубочком и в первый раз лег спать не помолвившись. В темноте вокруг него бегали крысы. Но сон его не могли потревожить ни их неугомонный писк, ни покачивание корабля, ни тошнотворный запах масла, ни ожидание предстоящей назавтра морской болезни. Все это так же мало его беспокоило, как и те разбитые, развенчанные идола, которым он еще вчера поклонялся.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

В один июльский вечер 1846 года во Флоренции, в доме профессора Фабрицци, собралась небольшая группа лиц, чтобы обсудить план предстоящей политической работы. Некоторые из них принадлежали к партии Мадзини* и не мирись на меньшем, чем демократическая республика и объединенная Италия.

Другие были сторонниками конституционной монархии и либералами разных оттенков. Но все сходились в одном — в недовольстве тосканской цензурой. Популярный профессор Фабрицци созвал это собрание в надежде, что, может быть, хоть тяжелые условия печати объединят представителей расходящихся политических групп и заставят их попытаться прийти к каким-нибудь определенным результатам без лишних пререканий.

Прошло только две недели с тех пор, как Папа Пий IX, взойдя на престол, даровал столь шумевшую амнистию политическим преступникам в Папской области*, но волны либерального восторга, поднятого этим актом, уже катились по всей Италии. В Тоскане этот акт оказал даже воздействие на правительство. Профессору Фабрицци и еще кое-кому из флорентийцев, лидеров политических групп, этот момент показался благоприятным для того, чтобы направить все усилия на проведение реформы законов о печати.

В библиотеке Фабрицци, где происходило собрание, они выясняли теперь, какую позицию должны были занять в данный момент либералы.

— Само собой разумеется, что мы обязаны использовать момент, — заговорил певучим голосом один из присутствующих, уже пожилой седой адвокат. — В другой раз нам не придется увидеть такой благоприятной политической конъюнктуры, не удастся выдвинуть требования серьезных реформ. Но

едва ли памфлеты* окажут благотворное действие. Они только раздражат и напугают правительство и уже ни в коем случае не расположат его в нашу пользу. А ведь именно этого расположения мы и добиваемся. Нам следует помнить, что, раз власти составят о нас представление как об опасных агитаторах, нам нечего будет рассчитывать на содействие с их стороны.

— В таком случае что же вы нам предлагаете?

— В нашем распоряжении петиции.

— Великому герцогу?*

— Да. Петиции о расширении свободы печати.

Сидевший у окна брюнет с живыми умными глазами со смехом обернулся.

— Многого вы добьетесь петициями! — сказал он. — Казалось бы, исход дела Ренци* должен был излечить всякого от таких мечтаний.

— Я так же опечален, как и вы, синьор, тем, что нам не удалось помешать выдаче Ренци; я не хочу говорить неприятностей, но все-таки не могу не думать, что наша неудача произошла от нетерпеливости и горячности некоторых наших членов. Я, конечно, не решился бы...

— Все пьемонтцы никогда ни на что не решаются, — резко прервал его брюнет. — Не знаю, что вы называете нетерпеливостью и горячностью. Уж не тот ли ряд осторожных петиций, которые мы посылали? Это, быть может, для Тосканы и Пьемонта называется горячностью, но в Неаполе мы рассуждаем не так.

— К счастью, — заметил пьемонтец, — неаполитанцам приходится действовать только в Неаполе.

— Перестаньте, господа! Грассини голосует за петиции, а Галли — против них. А как вы думаете, доктор Риккардо?

— Я не вижу ничего плохого в петициях, и если Грассини составит петицию, я подпишу с большим удовольствием. Но я все-таки не думаю, чтобы можно было многого достигнуть этим путем. Почему бы нам не прибегнуть к петициям и к памфлетам?

— Да просто потому, что памфлеты вооружат правительство против нас и оно не обратит внимания на наши петиции, — сказал Грассини.

— Оно и без того не обратит внимания. — С этими словами неаполитанец поднялся и подошел к столу. — Не на правильном пути вы, господа. Соглашение с правительством ничего вам не даст. Нужно поднять народ.

— Легче сказать, чем сделать. Как вы приступите к этому?

— Смешно спрашивать об этом Галли. Конечно, он начнет с того, что хватит цензора по башке.

— Вовсе нет, — сказал Галли. — Вам так и кажется, раз перед вами неаполитанец, что у него не найдется иных аргументов, кроме ножа.

— Оставим это. Что вы хотите предложить? Тише! Господа, внимание! Галли хочет внести предложение.

Все общество, разбившееся на группы по два, по три человека, которые спорили в разных углах, теперь собралось вокруг стола, чтобы выслушать Галли.

— Нет, господа, это не предложение, а просто мне пришла в голову одна мысль. Видите ли, мне думается, что во всех этих ликованиях по поводу поведения нового Папы кроется опасность. Из того, что он взял новый курс политики и даровал амнистию, многие выводят заключение, что нам остается поручить себя, всех нас, всю Италию попечением святого отца и предоставить ему вести нас в обетованную землю. Лично я, вслед за другими, готов удивляться новому Папе. Амнистия была блестящим актом.

— Его святейшество, я уверен, сочтет себя польщенным... — начал было презрительно Грассини.

— Перестаньте, Грассини. Предоставьте оратору слово! — прервал в свою очередь Риккардо. — Удивительная вещь: никогда вы с Галли не можете удержаться от перекоров. Совсем как кошка с собакой! Продолжайте, Галли!

— Я хотел сказать, — начал снова неаполитанец, — что святой отец, несомненно, поступает так с наилучшими намерениями. Другой вопрос, насколько удастся ему провести реформы. Теперь все идет гладко. Реакционеры по всей Италии, конечно, месяц-другой будут сидеть спокойно, пока не спадет волна возбуждения, поднятая амнистией. Но маловероятно, чтобы они без борьбы выпустили власть из своих рук. Мое личное мнение таково, что, прежде чем наступит середина зимы, иезуиты*, грегорианцы* и санфедисты* и вся их клика начнут строить новые козни и изводить отравой всех, кого они не смогут подкупить.

— Это очень похоже на правду.

— Так вот. Будем ли мы ждать, смиренно посылая одну петицию за другой, пока Ламбручини* и его свора не убедят великого герцога подчинить нас иезуитам, призвав еще, может быть, австрийских гусар наблюдать за порядком и держать нас в дисциплине, или мы предупредим их и воспользуемся их кратковременным замешательством, чтобы первыми нанести удар?

— Скажите нам прежде всего, в чем должен состоять этот удар?

— Я предложил бы начать организованную пропаганду и агитацию против иезуитов.

— Да ведь фактически это будет объявлением войны.

— Да, мы разоблачим их интриги и козни и обратимся к народу с призывом объединиться на борьбу с иезуитами.

— Но ведь ни о каких иезуитах здесь не слышно. К чему же их изобличать?

— Не слышно? Подождите месяца три, и вы увидите, сколько их появится. Тогда слишком поздно будет сдерживать их натиск.

— Да. Но, вы знаете, чтобы восстановить городское население против иезуитов, придется говорить открыто. А раз так, то каким образом вы избежите цензуры?

— Я не буду избегать. Перестану с ней считаться.

— Так, значит, вы будете печатать без подписи. Это отлично, но все мы имели слишком много дела с подпольным печатанием, чтобы желать познакомиться с ним лишний раз.

— Не это я хочу сказать. Я бы предложил печатать памфлеты открыто, за нашей подписью и с указанием наших адресов. Пусть преследуют, если у них хватит смелости.

— Совершенно безумный проект! — воскликнул Грассини.— Это значит — из молодечества класть голову в львиную пасть.

— О, вам нечего бояться! — отрезал Галли.— Мы не попросим вас сидеть в тюрьме за наши грехи.

— Воздержитесь от резкостей, Галли,— сказал Риккардо.— Тут речь идет не о боязни. Мы так же, как и вы, готовы сесть в тюрьму, если только будет из-за чего. Но ведь ребячество — подвергать себя опасности по пустякам. Я лично хотел бы сделать поправку к высказанному предложению.

— Какую?

— Мне кажется, можно выработать такой тонкий способ борьбы с иезуитами, который избавит нас от столкновения с цензурой.

— Не понимаю, как вы это устроите.

— Те, кто будет говорить, сумеют, я уверен, выразаться обиняком, так что...

— Цензор не поймет, хотите вы добавить. Но если так, то как вы можете рассчитывать, что какой-нибудь бедный ремесленник или крестьянин, при его невежестве, докопается до истинного смысла? Это ни с чем не сообразно.

— Мартини, что вы скажете? — спросил профессор, оборачиваясь к сидевшему возле него широкоплечему господину с большой темной бородой.

— Я воздержусь говорить, пока не наберется больше фактов. Надо произвести опыт и посмотреть, к чему он приведет.

— А вы, Саккони?

— Мне бы хотелось услышать, что скажет синьора Болла. Ее соображения всегда так вески.

Все обернулись в сторону единственной в комнате женщины, которая сидела на софе, опершись подбородком на руку, и молча вслушивалась в прения. У нее были глубокие, задумчивые черные глаза. И теперь, когда она их подняла, в них, несомненно, светилась насмешливый огонек.

— Меня немного смущает, что я со всеми расхожусь во мнении, — сказала она.

— Так бывает с вами всегда, — вставил Риккардо, — но хуже всего то, что вы всегда оказываетесь правы.

— Я совершенно согласна, что нам необходимо так или иначе бороться с иезуитами. Не удастся это одним оружием, нужно прибегнуть к другому. Словесный вызов — слабое оружие, уклончивая тактика затруднительна. Ну а петиции — просто детская игрушка.

— Надеюсь, синьора, — заметил с важным видом Грасси-ни, — вы не предложите нам таких методов борьбы, как убийство?

Мартини дергал себя за усы, а Галли не стесняясь смеялся. Даже серьезная синьора Болла не могла удержаться от улыбки.

— Поверьте, — сказала она, — если бы я была настолько жестока, чтобы замышлять такие дела, то я, во всяком случае, не ребенок и не стала бы открыто говорить о них. Самое смертоносное оружие, какое я знаю, — это смех. Если нам посчастливится облить смехом иезуитов, заставить народ смеяться над ними и их притязаниями, — мы одержим победу без кровопролития.

— Верю, что это так, — сказал Фабрицци. — Но я не понимаю, как вы рассчитываете осуществить ваш план?

— Почему вам кажется, что нам не удастся его осуществить? — спросил Мартини. — Сатира легче и скорее пройдет через цензуру, чем всякая серьезная вещь. Если придется писать намеками, то средний читатель с меньшим трудом поймет двоякий смысл шутки, чем сущность содержания научного экономического очерка. Итак, синьора, вы того мнения, что нам следует издавать сатирические памфлеты или выпус-

тить сатирическую газету? Могу смело сказать: газета цензура никогда не пропустит.

— Я имею в виду не совсем то. Я думаю, было бы очень полезно выпускать и продавать по дешевой цене или даже распространять совершенно бесплатно небольшие сатирические листки, в стихах или в прозе. Если бы нам удалось найти хорошего художника, который понял бы нашу идею, можно было бы выпускать эти листки с иллюстрациями.

— Вот великолепная идея! Если только она выполнима! Дело в том, что раз уж браться за такое дело, то надо делать его хорошо. Нам нужен первоклассный сатирик. А где его взять?

— Вы отлично знаете, — прибавил Лега, — что большинство из нас серьезные писатели. Как я ни уважаю наше общество, но я боюсь, что наша попытка превратиться в юмористов будет напоминать слона, танцующего тарантеллу*.

— Я никогда не говорила, что нам нужно взяться за работу, к которой мы не способны. Смысл моих слов таков, что следует попытаться отыскать талантливого сатирика, — такой, вероятно, найдется в Италии, — снабдить его необходимыми средствами. Само собой понятно, у нас должна быть уверенность, что он будет работать в одном с нами направлении.

— Но где его достать? Я могу по пальцам пересчитать всех сколько-нибудь талантливых сатириков, но ни один из них не подойдет.

— Джустини* и так слишком заняты. Есть один или два подходящих писателя в Ломбардии, но они пишут на миланском диалекте*.

— И кроме того, — сказал Грассини, — на тосканский народ можно действовать только более высокими средствами. Я уверен, что было бы, по меньшей мере, отсутствием политического такта рассматривать серьезный вопрос о гражданской и религиозной свободе как предмет для шуток. Флоренция не город фабрик и торговых предприятий, как Лондон, и не место праздной роскоши, как Париж. Это город с великим прошлым.

— Таковы были и Афины, — прервала синьора Болла, улыбаясь, — но граждане Афин были слишком вялы, и понадобился овод, чтобы растормошить их.

Риккардо ударил рукой по столу:

— А, Овод! Как это мы не вспомнили о нем? Ведь это именно тот человек, который нам нужен!

— Кто это?

— Овод — Феличе Риварес. Не помните? Один из группы Муратори. Вот уже три года, как он оставил Апеннины*.

— О, вы знали этих молодцов? Я помню, впрочем, вы сопровождали их, когда они отправлялись в Париж.

— Да. Я проводил Ривареса до Ливорно и посадил его на марсельский пароход. Он не хотел оставаться в Тоскане. Он говорил, когда восстание потерпело неудачу, что в Тоскане теперь нечего делать — можно только смеяться — и что ему лучше перебраться в Париж. Но я почти уверен, что, если бы мы его пригласили, он вернулся бы, раз есть какая-нибудь возможность действовать в Италии.

— Как вы его назвали?

— Риварес. Он, кажется, бразилец. Во всяком случае, мне известно, что он жил в Бразилии. Это один из остроумнейших людей, каких я встречал. На лице у него большой шрам от сабельного удара... Станный он человек; но я уверен, что его шутки удержали тогда многих из этих несчастных от полного отчаяния.

— Не он ли пишет политические наброски во французских журналах под псевдонимом *Le taon*?¹

— Да. По большей части коротенькие статейки и юмористические фельетоны. Контрабандисты Апеннин прозвали его Оводом за его язык, и с тех пор он стал подписываться этим именем.

— Мне кое-что известно об этом господине, — сказал Грасини многозначительным тоном, вмешиваясь в разговор, — и не могу сказать, чтобы то, что я о нем слышал, располагало в его пользу. У него, несомненно, есть внешний, бросающийся в глаза ум, хотя, мне кажется, его таланты переоценены. Очень вероятно, что у него нет недостатка и в мужестве. Но его репутация в Париже и в Вене далеко не безупречна. Это в полном смысле слова авантюрист с темным прошлым. Говорят, что экспедиция Дюпре подобрала его из милости где-то в пустынных местах тропической Южной Америки. Насколько мне известно, он никогда не мог объяснить удовлетворительно, каким образом он дошел до такого состояния. А что касается восстания в Апенниннах, то ни для кого не секрет, что в этом печальном деле участие принимал всякий сброд. Все знают, что казненные в Болонье были не более как обыкновенные преступники. Да и нравственный облик многих из скрывшихся не поддается описанию. Несомненно, что некоторые из участников были людьми с возвышенной душой.

— Некоторые из них в тесной дружбе со многими из присутствующих в этой комнате, — оборвал его Риккардо, и в его

¹ Овод (*фр.*).

голосе звучала негодующая нотка.— Легко быть строгим к другим, Грассини, но не следует забывать, что эти «обыкновенные преступники» отдали жизнь за свои убеждения, а это побольше, чем дали мы с вами.

— А еще вот что,— прибавил Галли.— Когда кто-нибудь будет вам повторять выдохшиеся парижские сплетни, скажите ему от моего имени, что относительно экспедиции Дюпре он ошибается. Я лично знаком с Мартелем, адъютантом Дюпре, и слышал от него историю всех их походов. Верно, что они нашли Ривареса скитающимся в тех местах. Он сражался за Аргентинскую республику*, был взят в плен и бежал. Он бродил по стране во всевозможных костюмах, пробираясь обратно в Буэнос-Айрес. Но та версия, по которой выходит, что экспедиция подобрала его из милости,— чистейший вымысел. В экспедиции заболел переводчик и должен был вернуться обратно. Никто не мог объясняться на местных наречиях. Место переводчика предложили Риваресу, и он провел с экспедицией целых три года, исследуя притоки Амазонки. Мартель мне передавал, как свое твердое убеждение, что им никогда не удалось бы довести до конца своей задачи, если бы с ними не было Ривареса.

— Кто бы он ни был,— вмешался Фабрицци,— но должно же быть что-нибудь выдающееся в человеке, который сумел обворовать — а так это и было — таких двух ветеранов, как Мартель и Дюпре. Как вы думаете, синьора?

— Я ровно ничего не знаю об этом человеке. Я была в Англии, когда беглецы проезжали Тоскану. Но если о нем отзываются с самой лучшей стороны те, кому пришлось в течение трех лет странствовать с ним, и товарищи, участвовавшие с ним в восстании, то этого вполне достаточно.

— О его товарищах и говорить нечего,— сказал Риккардо,— Ривареса обожали поголовно все, от Муратори до самых диких горцев! Кроме того, он личный друг Орсини*. Правда, в Париже о нем рассказывают всякие небылицы, но ведь если человек не хочет иметь врагов, он не должен быть политическим сатириком.

— Я не совсем уверен, но мне кажется, что как-то раз я встретился с ним в то время, когда беглецы останавливались здесь,— сказал Лега.— Он горбат, или хромает, или что-то в этом роде.

Профессор выдвинул ящик письменного стола, достал кипу бумаг и стал их перелистывать.

— Мне помнится, у меня есть где-то здесь полицейское описание его примет. Вы помните, когда им удалось бежать

и скрыться в горных проходах, были повсюду разосланы их приметы, а кардинал — как бишь зовут этого негодяя? — да, кардинал Спинола* даже предлагал награду за его голову. Существует великолепный рассказ о Риваресе и об этой полицейской бумаге. Он нарядился в солдатскую форму и бродил по стране под видом карабинера, раненного при исполнении служебных обязанностей и отыскивающего свой отряд. И в самом деле он наткнулся на отряд, только на отряд шпионов, посланных Спинолой. Целый день ехал он с ними в одной повозке, рассказывал им душераздирающие истории о том, как он был взят в плен бунтовщиками и как его притащили в горное убежище этих разбойников; расписывал им ужасные пытки, которым его подвергали. Они показали ему бумагу с описанием его примет. Он наговорил им всякого вздору о «головорезе», которого прозывают Оводом. Потом, ночью, когда они улеглись спать, он вылил им в порох ведро воды и дал тягу, набив карманы провизией и боевыми припасами... А вот и бумага, — сказал Фабрицци, оборвав рассказ: — «Феличе Риварес, по прозвищу Овод. Возраст — около тридцати лет. Место рождения — неизвестно, но по некоторым данным — Южная Америка. Профессия — журналист. Небольшого роста. Черные волосы. Черная борода. Смуглый цвет кожи. Голубые глаза. Лоб — широкий, квадратный. Нос, рот, подбородок...» Да, вот еще: «Особые приметы: прихрамывает на правую ногу. Левая рука изуродована: недостает двух пальцев. Незалеченный шрам на лице. Заикается». Затем добавлено: «Очень искусный стрелок, — нужно быть осторожным при аресте».

— А ведь удивительная вещь, что с таким списком ему удалось обмануть отряд, разыскивавший его.

— Выручила его, несомненно, только смелость. Случись, что его заподозрили бы, он бы погиб. Ему удастся выкарабкаться из всякого положения благодаря его умению принимать, когда он захочет, невинный, внушающий доверие вид... Ну так вот, господа, что же вы думаете о предложении? Риварес, кажется, достаточно известен некоторым из нас. Прикажете передать ему, что мы будем рады его помощи здесь на месте, или нет?

— Мне думается, — сказал Фабрицци, — прежде всего его следовало бы ознакомить с нашим планом и спросить, согласен ли он с ним.

— О, он согласится, будьте уверены, раз речь идет о борьбе с иезуитами. Он — самый непримиримый антиклерикал*, каких я только встречал. Он даже чересчур усердствует в этом направлении.

— Итак, значит, вы напишете ему, Риккардо?

— Конечно. Сейчас только припомню, где он теперь. Кажется, в Швейцарии. Удивительно непоседливое существо: вечно кочует. Ну а что касается памфлетов...

Они погрузились в горячие прения. Когда наконец все стали расходиться, Мартини подошел к синьоре Болле.

— Я провожу вас, Джемма.

— Спасибо. Мне нужно переговорить с вами о делах.

— Опять что-нибудь с адресами? — спросил он вполголоса.

— Ничего серьезного. Но все-таки, мне кажется, надо теперь кое-что изменить. На этой неделе задержаны на почте два письма. И то и другое совершенно не важны, да и задержка эта, может быть, простая случайность. Но нам нельзя рисковать. Если полиция заподозрит хоть один из наших адресов, мы должны сейчас же изменить их.

— Я приду к вам завтра. Сегодня у вас усталый вид.

— Я не устала.

— Так, стало быть, опять расстроены чем-нибудь?

— Нет, так, ничего особенного.

Глава II

— Синьора Болла дома, Кэтти?

— Да, сударь, она одевается. Пройдите, пожалуйста, в гостиную, она сойдет через несколько минут.

Кэтти ввела посетителя в гостиную. Мартини был ее любимцем. Он говорил по-английски — конечно, как иностранец, но все-таки вполне прилично; он не имел привычки засиживаться до часу ночи и, не обращая внимания на усталость хозяйки, рассуждать во все горло о политике, как это часто делали другие; а главное — он приезжал в Девоншир*, чтобы поддержать ее хозяйку в самое тяжелое для нее время, когда у нее умер ребенок и умирал муж. Еще с тех пор этот тяжело-весный, неловкий, молчаливый человек стал для Кэтти таким же членом семьи, как и ленивый черный кот, который в эту минуту примостился у него на коленях. А кот, в свою очередь, смотрел на Мартини как на полезную вещь домашней обстановки. Дружба между котом и Мартини завязалась уже давно. Когда он был еще котенком, а его хозяйка была так больна, что ей было не до него, Мартини взял его под покровительство и перевез из Англии в корзинке. И с того времени продолжительный опыт окончательно его убедил, что этот неуклю-

жий человек, похожий на медведя,— такой друг, на которого можно положиться.

— Как вы уютно устроились оба,— сказала, входя в комнату, Джемма.

Мартини бережно снял кота с колен.

— Я пришел пораньше,— сказал он,— в надежде, что вы дадите мне чашку чаю, прежде чем мы тронемся в путь. Там, вероятно, будет страшно много народу, и Грассини не дадут нам порядочного ужина. В этих аристократических домах никогда не умеют накормить.

— Ну вот,— сказала Джемма, смеясь,— у вас такой же злой язык, как у Галли. У бедного Грассини довольно и своих грехов, чтобы ставить ему в вину еще и то, что его жена — плохая хозяйка. Ну а чай сию минуту будет готов.

— А вы, я вижу, решились-таки надеть это изящное платье. Я боялся, что вы забудете о нем.

— Я ведь обещала вам, что надену его, хотя для такого вечера оно, пожалуй, слишком теплое.

— Ну, в Фьезоле* будет много прохладнее, а вам ничто так не идет к лицу, как белый кашемир. Я принес вам цветов к этому платью.

— О, какие славные розы! Я так их люблю. Но их гораздо лучше поставить в воду, я не люблю носить цветы.

— Ну вот. Это одна из ваших суеверных фантазий.

— Право же нет. Но, я думаю, им будет ужасно грустно провести вечер приколотыми к такой скучной особе.

— Боюсь, что нам будет скучно на этом вечере Разговоры будут невыносимо бесцветные.

— Это почему?

— Отчасти потому, что все, к чему ни прикоснется Грассини, становится таким же тусклым и бесцветным, как и он сам.

— Ну, будет вам злословить. Это совсем некрасиво по адресу того человека, к которому мы идем в дом.

— Вы правы, как всегда, синьора. Ну, так я скажу: будет скучно, потому что половина интересных людей не придет.

— Чем это объяснить?

— Я сам не знаю: одни разъехались из города, другие больны, или еще что-нибудь. Будут, конечно, два-три посланника, несколько немецких ученых и обычная неопределенная толпа туристов и русских князей. Еще кое-кто из литературного мира, пять-шесть французских офицеров, и никого больше, насколько мне известно, за исключением, впрочем, нового сатирика. Он выступает в качестве привлекательной новинки.

— Новый сатирик? Как? Риварес? Но мне казалось, что Грассини решительно не одобряет его.

— Да, это так; но раз о ком-нибудь много говорят и этот человек в городе, Грассини, конечно, пожелает, чтоб новый лев общества был выставлен напоказ прежде всего в его доме. Да и, будьте уверены, Риварес ничего не слышал о том, как к нему относится Грассини. Правда, он может догадаться: он человек сообразительный.

— А я и не знала, что он уже здесь!

— Он приехал вчера... А вот и чай. Не беспокойтесь, не вставайте, я вам подам чайник.

Нигде Мартини не чувствовал себя так хорошо, как в этой маленькой гостиной. Дружеское обращение Джеммы, то, что она совершенно искренне не подозревала своей власти над ним, простота и сердечность ее дружбы — все это было светом его далеко не радостной жизни. И всякий раз, когда ему становилось особенно грустно, он по окончании работы шел к ней и сидел молча, довольствуясь тем, что смотрел, как она склоняется над шитьем или разливает чай. Она никогда не расспрашивала его о причине его грусти, не выражала вслух своего сочувствия. И все-таки он уходил от нее подкрепленный и успокоенный, чувствуя, что «теперь он может протянуть еще недельку-другую», как он это определял. Она, сама того не зная, обладала редким даром приносить утешение, и когда, два года тому назад, его лучшие друзья были изменнически преданы в Калабрии* и перестреляны, как волки, быть может, только ее непоколебимая вера и спасла его от полного отчаяния.

В воскресные дни он иногда приходил по утрам «поговорить о деле», что означало — о практической работе партии Мадзини, деятельными членами которой они были оба. Тогда она становилась совсем другим человеком: прямолинейным, холодным, строго логичным, безукоризненно пунктуальным и совершенно беспристрастным. Кто знал ее только по партийной работе, те считали ее просто хорошо тренированным и дисциплинированным работником, вполне достойным доверия, смелым и во всех отношениях ценным членом партии, но бесцветным и безличным существом. «Она прирожденная заговорщица, стоящая доброй дюжины таких, как мы; но зато и ничто больше» — так говорил о ней Галли. Трудно было распознать в этой Джемме ту «мадонну Джемму», которую так хорошо знал Мартини.

— Ну, так что же представляет собой ваш новый сатирик? — спросила она, оглянувшись через плечо, так как она в

это время открывала буфет.— Вот вам, Чезаре, ячменный сахар, а вот и засахаренные фрукты. И почему это, кстати, революционеры так любят сладкое?

— НеревOLUTIONеры тоже любят сладкое, только они считают ниже своего достоинства сознаваться в этом... Так рассказать вам о новом сатирике?... Знаете, это такой человек, что обыкновенные женщины будут бредить им, а вам он не понравится. Это своего рода профессиональный остряк, но остряк с злым языком. Он бродит по свету, да еще таскает с собой хорошенькую балетную танцовщицу.

— Что вы хотите сказать? Может быть, эта танцовщица — миф? Может быть, вы просто не в духе и чувствуете потребность подражать ему в злоязычии?

— Боже меня избави! Нисколько. Балетная танцовщица вполне реальна и притом достаточно красива для любителей грубой красоты. У меня лично другой вкус. Она венгерская цыганка или что-то в этом роде — так, по крайней мере, утверждает Риккардо. Из какого-то провинциального театра в Галиции. Но этот господин, по-видимому, ничем не смущается: он вводит ее в общество так спокойно, точно она его незамужняя родственница.

— Ну что ж, очень хорошо с его стороны, что он взял ее к себе из той среды.

— Вы можете, конечно, дорогая мадонна*, смотреть на вещи таким образом, но общество смотрит не так. Я думаю, большинство светских людей будет не особенно польщено тем, что он знакомит их со своей любовницей.

— Откуда они могут это знать, если сам он ничего не рассказывает?

— Это сразу видно; вы сами увидите, если встретитесь с ней. Но, я думаю, даже у него не хватит дерзости привести ее к Грассини.

— Да там и не приняли бы ее. Синьора Грассини не такая женщина, чтобы допустить подобное нарушение приличий. Но я хотела слышать о Риваресе-сатирике, а вовсе не о его частной жизни. Ему уже писали, как мне говорил Фабрицци, и он согласился приехать и начать здесь кампанию против иезуитов. Это последнее, что я слышала. Всю эту неделю была такая уйма работы...

— Я очень мало могу прибавить к тому, что вы знаете. В денежном отношении, по-видимому, не оказалось никаких затруднений, как мы одно время опасались. Он, кажется, не нуждается и готов работать бесплатно.

— Значит, у него есть средства?

— Должно быть. Хотя это трудно согласовать с тем, что мы слышали тогда у Фабрицци. Помните, там рассказывали, в каком жалком состоянии его нашла экспедиция Дюпре? Но, говорят, у него есть паи в бразильских рудниках, и потом он имел огромный успех как фельетонист в Париже и Вене. Он, кажется, владеет в совершенстве по крайней мере полудюжиной языков, и если он останется здесь, это не помешает ему продолжать сотрудничать в иностранных газетах. Ведь ругань по адресу иезуитов не отнимет у него всего времени.

— Это верно... Пора нам, однако, Чезаре, двигаться в путь. Я приколю только розы. Подождите минутку.

Она быстро побежала вверх и скоро вернулась с приколотыми к лифу розами и накинутым на голову длинным шарфом из черных испанских кружев. Мартини окинул ее взглядом художника и объявил:

— Вы точно царица — великая и мудрая царица Савская*.

— Ну, вы меня вовсе не радуете таким сравнением, — возразила она со смехом. — Если бы вы знали, сколько я положила труда, чтобы походить на типичную светскую даму! Какая это заговорщица, если она похожа на царицу Савскую! Она только привлечет внимание шпионов.

— Все равно, сколько ни старайтесь, вам не удастся стать похожей на пустую светскую даму.

Мартини был прав, когда предсказывал, что раут будет многолюдный и скучный. Литераторы перебрасывались салонными фразами и, видимо, безнадежно скучали, а не поддающиеся описанию туристы и русские князья носились по комнатам, вопрошая друг друга, кто такие все эти знаменитости, и силились завязать умный разговор. Грассини принимал гостей с изысканной вежливостью.

Когда он увидел Джемму, его холодное лицо оживилось. В сущности, он не любил ее и в глубине души даже побаивался, но понимал, что без нее его салон в значительной степени потерял бы свою привлекательность. Его дела шли хорошо, ему удалось выдвинуться в своей профессии, и теперь, когда он стал богат и известен, его идеалом было сделать свой дом центром интеллигентного и либерального общества. Он с горечью сознавал, что эта разряженная маленькая женщина, на которой он так опрометчиво женился в молодости, со своей пустой болтовней и увядшей миловидностью не годится в хозяйки большого литературного салона. Поэтому, когда ему удавалось заручиться присутствием Джеммы, он мог быть уве-

рен, что вечер будет удачным. Ее спокойные и изящные манеры вносили в общество непринужденность и простоту, и уже одно ее присутствие, казалось ему, стирало тот налет вульгарности, который вечно мерещился ему в его доме.

Синьора Грассини встретила Джемму очень приветливо.

— Как вы сегодня очаровательны! — воскликнула она громким шепотом, окидывая ее белое кашемировое платье враждебно-критическим взглядом. Она от всего сердца ненавидела Джемму, ненавидела за то самое, за что Мартини преклонялся перед ней: за спокойную силу характера, за серьезную, искреннюю прямоту, за уравновешенность ума, даже за выражение лица. А когда синьора Грассини ненавидела женщину, она проявляла это усиленной любезностью по отношению к ней. Джемма хорошо знала цену всем этим комплиментам и нежностям и пропускала их мимо ушей. То, что называется «выезжать в свет», было для нее утомительной и неприятной работой, которую поневоле должен был выполнять всякий заговорщик, если он хочет обмануть шпионов. Она считала эту работу не более легкой, чем писать шифром, и, зная, как важно для отвлечения подозрений иметь репутацию женщины, хорошо одевающейся, она изучала модные журналы так же тщательно, как и ключи к шифрам.

Литераторы, успевшие уже соскучиться, оживились, как только доложили о Джемме. Она пользовалась популярностью в их среде, и к тому концу зала, где она села, сейчас же потянулись один за другим журналисты радикального направления; но она была слишком опытна в конспирации, чтобы дать им монополизировать себя. С радикалами она могла встречаться каждый день; поэтому теперь, когда они обступили ее, она мягко указала им их настоящее дело, заметив с улыбкой, что не стоит тратить времени на нее, когда здесь так много туристов. Она, со своей стороны, усердно занялась членом английского парламента, сочувствие которого было очень важно для республиканской партии; он был специалистом по финансовым вопросам, и она заинтересовала его, спросив его мнение о каком-то техническом пункте австрийской монетной системы; затем она ловко навела разговор на условия ломбардо-венецианских договоров. Англичанин, ожидавший легкой болтовни, с изумлением взглянул на Джемму, боясь, что попал в когти синего чулка; но, видя, что она красива и интересна, перестал сопротивляться и стал так же глубокомысленно обсуждать итальянские финансы, как если бы она была Меттернихом*. Когда Грассини подвел к Джемме француза, который желал бы узнать у синьоры Боллы историю возникновения

«Молодой Италии», член парламента встал со странным сознанием, что, может быть, Италия имеет больше основания быть недовольной, чем он предполагал.

От духоты и непрерывного мелькания движущихся фигур у Джеммы начала болеть голова. Она незаметно выскользнула на террасу, чтобы посидеть одной в густой зелени высоких камелий и олеандр.

В конце террасы тянулся ряд пальм и древесных папоротников в больших кадках, замаскированных клумбами лилий и других цветущих растений. Все это вместе представляло одну сплошную ширму, но за ней возле перил оставался свободный уголок и открывался прекрасный вид на всю долину. Сюда можно было пройти, раздвинув ветви гранатового дерева, усыпанные поздними цветами и скрывающие узкий проход между растениями.

В этот-то уголок и пробралась Джемма, надеясь, что никто не догадается, где она. Она думала, что, если отдохнет, ей, может быть, удастся пересилить головную боль.

Звуки приближающихся по террасе шагов и голосов заставили ее очнуться от дремоты, которая начинала ею овладевать. Она подалась дальше в густую чащу листьев, надеясь остаться незамеченной и выиграть еще несколько драгоценных минут тишины, прежде чем начать снова терзать свою усталую голову придумыванием темы для разговора. Но, к ее великой досаде, шаги остановились как раз возле нее, за чащей растений. Слышен был тонкий, пискливый голос синьоры Грассини, щебетавшей без умолку. Вот она приостановилась, — и послышался другой голос, мужской, замечательно мягкий и музыкальный; но приятный тембр этого голоса портила странная манера растягивать слова, придававшая ему какую-то неприятную певучесть. Может быть, это была просто рисовка, но, вернее, это делалось для того, чтобы скрыть какой-то недостаток речи.

— Англичанка, вы говорите? — спрашивал этот голос. — Но фамилия у нее итальянская. Как это вы сказали — Болла?

— Да. Она вдова несчастного Джованни Боллы, который умер в Англии года четыре тому назад, — может быть, вы помните? Я все забываю: вы ведь ведете такой кочующий образ жизни, что невозможно ожидать, чтобы знали обо всех страданиях нашей несчастной родины. Их так много!

Синьора Грассини вздохнула. Она всегда говорила с иностранцами в таком духе. Роль патриотки, скорбящей о бедствиях Италии, представляла эффектное сочетание с манерами институтки и детски наивным выражением лица.

— Умер в Англии...— повторил мужской голос.— Он, значит, был эмигрантом? Мне кажется, я когда-то слышал это имя. Не был ли он замешан в организации «Молодая Италия» первых лет ее существования?

— Да, да. Он был одним из тех несчастных юношей, которых арестовали в тридцать третьем году. Припоминаете эту историю? Его освободили через несколько месяцев, а потом, года через два, состоялся новый приказ об его аресте, и он бежал в Англию. Затем до нас дошли слухи, что он там женился. Это очень романтическая история, но Болла всегда был романтиком.

— Умер в Англии, вы говорите?

— Да, от чахотки. Он не вынес ужасного английского климата. А перед самой его смертью она лишилась и сына, своего единственного ребенка: он умер от скарлатины. Не правда ли, какая грустная история? Мы все так любим милую Джемму! У нее, у бедной, немножко черствая натура, но, знаете, это общая черта англичанок. И кроме того, от горя ее характер...

Джемма встала и раздвинула ветки. Эта болтовня ради развлечения гостя о пережитых ею горестях была невыносима, и на лице ее заметно было раздражение, когда она вышла на свет.

— А, вот и она! — воскликнула хозяйка с удивительным самообладанием.— А я-то недоумевала, дорогая, куда вы пропали. Синьор Феличе Риварес желает познакомиться с вами.

«Так вот он, Овод!» — подумала Джемма, вглядываясь в него с любопытством.

Он учтиво поклонился и окинул ее быстрым пронизывающим взглядом, который показался ей дерзким.

— Вы выбрали себе восхитительный уголок,— заметил он, глядя на густую чашу зелени, откуда она появилась.

— Да, хорошее место. Я пришла сюда подышать свежим воздухом.

— В такую ночь сидеть в комнатах просто грешно,— проговорила хозяйка, поднимая глаза к небу.

У нее были красивые ресницы, и она любила показывать их.

— Взгляните, синьор: ну, разве не рай наша несравненная Италия, будь она только свободна. И подумать, что она должна быть рабой, эта чудная страна, с ее цветами и небом!

— И с такими патриотками! — пробормотал Овод своим мягким голосом, растягивая слова.

Джемма взглянула на него почти с испугом: в его словах слишком явно сквозила насмешка. Но синьора Грассини приглядела их за чистую монету и со вздохом потупила глазки.

— Ах, синьор, женщине отведена такая ничтожная роль! Но, как знать, может быть, мне и удастся доказать когда-нибудь, что я имею право называть себя итальянкой... А сейчас мне нужно вернуться к своим общественным обязанностям. Французский посланник просил меня познакомить его воспитанницу со всеми знаменитостями. Вы должны тоже прийти познакомиться с ней. Это прелестная девушка. Джемма, дорогая, я привела синьора Ривареса, чтобы показать ему, какой отсюда открывается чудесный вид. Теперь я оставлю его на ваше попечение. Я уверена, что вы позаботитесь о нем и познакомите его со всеми. А вот и обворожительный русский князь! Вы еще не встречались с ним? Говорят, он в большом фаворе у императора Николая. Он комендант какой-то польской крепости, с таким названием, что и не выговоришь.

Она быстро подошла к господину с бычьей шеей и с массивной нижней челюстью, в мундире, сверкавшем орденами, и пошла с ним, не переставая щебетать, и ее жалобные причитания о «нашем несчастном отечестве», пересыпанные восклицаниями «*charmant*»¹ и «*mon prince*»², скоро замерли в отдалении.

Джемма продолжала стоять под гранатовым деревом. Ей стало обидно за бедную, недалекую маленькую женщину и досадно на Овода за его холодную дерзость. Он провожал глазами удалявшиеся фигуры с выражением, выводившим ее из себя: ей казалось неблагоприятным насмехаться над такими жалкими существами.

— Вот идут рука об руку итальянский и русский патриотизм, — сказал он с улыбкой, оборачиваясь к ней. — Оба очень довольны друг другом. Который вам больше нравится?

Она слегка нахмурилась и ничего не ответила.

— К-конечно, — продолжал он, — это в-вопрос вкуса. Но, по-моему, из двух видов патриотизма русский лучше: он доводит дело до конца. Если бы Россия основывала свою силу на цветах и небесах вместо пушек, то как долго, думаете вы, удержался бы этот князь в польской к-крепости?

— Мне кажется, — ответила она холодно, — можно высказывать свои мнения и не высмеивая хозяйку дома.

— Да, правда, я и забыл, как высоко стоят в Италии законы гостеприимства. Удивительно гостеприимный народ эти итальянцы. Я уверен, что австрийцы тоже это находят...

¹ Очаровательно (*фр.*).

² Князь (*фр.*).

Он, прихрамывая, прошел по террасе и принес ей стул, а сам стал против нее, облокотившись на перила. Свет из окна падал прямо на его лицо, и теперь она могла свободно рассмотреть его.

Она была разочарована. Она ожидала увидеть если и не приятное, то, во всяком случае, замечательное лицо, с властным, покоряющим взглядом. Но в этом человеке прежде всего бросались в глаза какая-то фатоватость в костюме и откровенная надменность в выражении лица и манер. Он был смугл, как мулат, и, несмотря на хромоту, гибок, как кошка.

Всей своей фигурой он напоминал черного ягуара. Лоб и левая щека были обезображены длинным шрамом — по-видимому, от удара саблей, и она заметила, что всякий раз, как он начинал заикаться, эта сторона лица подергивалась нервной судорогой. Не будь этих недостатков, он был бы, пожалуй, своеобразно красив; но вообще лицо у него было непривлекательно.

Он снова заговорил своим мягким, певучим голосом, точно мурлыкал. («Настоящий ягуар,— подумала Джемма с возрастающим раздражением,— если бы какой-нибудь ягуар был в добром настроении и мог говорить, он говорил бы точно так же».)

— Я слышал,— сказал он,— что вы интересуетесь радикальной прессой и даже сами сотрудничаете в газетах?

— Пишу иногда, у меня мало на это свободного времени.

— Ах да, это понятно: синьора Грассини мне говорила, что вы заняты кое-чем поважнее.

Джемма удивленно приподняла брови. Очевидно, синьора Грассини, по своей глупости, выболтала лишнее этому проныре, который все более и более не нравился Джемме.

— Да, это правда, я очень занята, но синьора Грассини преувеличивает значение моих занятий,— ответила она сухо.— Все это по большей части совсем несложные дела.

— Да и мало было бы хорошего, если бы все мы только и делали, что оплакивали Италию. Мне кажется, общество нашего хозяина и его супруги способны привести каждого в легкомысленное настроение, хотя бы из чувства самозащиты... О, я знаю, что вы хотите сказать,— и вы совершенно правы,— но они восхитительно забавны со своим ноющим патриотизмом... Вы хотите вернуться в комнаты? А здесь так хорошо.

— Нужно идти. Ах, мой шарф упал... Благодарю вас.

Он поднял шарф и, выпрямившись, смотрел на нее невинным, ясным взглядом. Его широко открытые большие голубые глаза напоминали незабудки.

— Я знаю, вы сердитесь на меня за то, что я смеюсь над этой раскрашенной куклой,— проговорил он кающимся тоном.— Но разве можно не смеяться над ней?

— Раз уж вы меня спрашиваете, я вам скажу: по-моему, не-великодушно и стыдно пользоваться умственным убожеством человека, чтобы высмеивать его. Это все равно что смеяться над калекой или...

У него остановилось дыхание, и лицо исказилось точно от боли. Он отшатнулся и взглянул на свою хромую ногу и искалеченную руку, но через секунду овладел собой и разразился смехом:

— Сравнение не слишком удачно, синьора; мы, калеки, не сеемся всюду со всем нашим уродством, как эта женщина со своей глупостью. Во всяком случае, вы должны отдать нам справедливость: мы всегда понимаем, что иметь кривую спину ничуть не лучше, чем кривить душой... Здесь ступенька — обопритесь на мою руку.

Она шла молча, в полном недоумении, совершенно смущенная таким неожиданным с его стороны проявлением чувствительности.

Как только он открыл перед ней дверь большого зала, пропуская ее вперед, она заметила, что в их отсутствие здесь произошло что-то особенное. У большинства мужчин был негодующий вид; дамы, с раскрасневшимися лицами, столпились в конце зала и, видимо, старались казаться спокойными. Хозяин поправлял очки с подавленным бешенством, которого, однако, нельзя было не заметить, а в углу стояли кучкой туристы, с веселыми усмешечками поглядывая на противоположный конец зала. Там-то, очевидно, происходило то, что казалось им таким забавным и что так оскорбляло остальных.

Одна синьора Грассини, казалось, ничего не замечала. Кокетливо играя веером, она болтала с секретарем голландского посольства, который широко улыбался, слушая ее.

Джемма на минуту приостановилась в дверях и оглянулась на Овода, чтобы посмотреть, заметил ли он всеобщее замешательство. По его лицу, несомненно, скользнуло выражение лукавого торжества, когда он сначала взглянул на хозяйку, пребывающую в блаженном неведении, а потом в тот конец зала, куда посматривали туристы. Ей все стало ясно: он ввел сюда свою подругу.

Цыганка сидела, откинувшись на спинку дивана, окруженная толпой фатоватых денди и любезно-иронически улыбавшихся кавалерийских офицеров. На ней было роскошное шелковое платье, желтое с красным. Восточная яркость его

тонов и обилие ценных украшений резко бросались в глаза в этом флорентийском литературном салоне. Она казалась какой-то тропической птицей среди воробьев и скворцов. Видимо, и она сама чувствовала себя не совсем хорошо и поглядывала на оскорбленных ее присутствием дам с явно враждебным презрением.

Заметив Ривареса, когда он проходил с Джеммой по залу, она вскочила и подбежала к нему.

— Месье Риварес, я вас везде искала, — заговорила она быстро на очень скверном французском языке. — Граф Салтыков спрашивает, не приедете ли вы к нему на его виллу завтра вечером. Будут танцы.

— К сожалению, не могу. Да если б даже и мог приехать, я все равно не могу танцевать... Синьора Болла, позвольте познакомить вас с мадам Зиттой Ренни.

Цыганка бросила на Джемму почти вызывающий взгляд и сухо поклонилась. Мартини сказал правду: она была, несомненно, красива, но грубой, животной неодоухотворенной красотой. Нельзя было не восхищаться свободой и гармоничностью ее движений, но лоб был низкий и узкий, а в очертаниях тонких ноздрей было что-то жестокое и отталкивающее. Чувство стеснения, которое испытывала Джемма в обществе Овода, только усилилось с появлением на сцену цыганки, и она почувствовала большое облегчение, когда спустя минуту подошел к ней хозяин и попросил ее помочь ему занять гостей, бывших в другой комнате.

— Ну, что вы скажете об Оводе, мадонна? — спросил Мартини Джемму, когда они поздней ночью возвращались во Флоренцию. — Не наглость ли с его стороны так подвести бедную жену Грассини?

— Вы говорите о танцовщице?

— Ну да. Он убедил синьору Грассини, что эта девушка будет звездой сезона, а та сделает все что угодно ради знаменитости.

— Это очень некрасиво с его стороны. Он поставил Грассини в ложное положение, да и относительно самой девушки это жестоко. Я уверена, что ей было неприятно.

— Вы, кажется, разговаривали с ним? Какое впечатление он на вас произвел?

— О, Чезаре, я только и думала, как бы поскорее избавиться от него. Никогда я не встречала такого убийственно мучительного собеседника. В десять минут у меня разболелась от него голова. Он — воплощенный демон беспокойства.

— Я так и думал, что он вам не понравится. Он и мне не нравится, по правде сказать. Человек этот скользок, как угорь,— не доверяю я ему.

Глава III

Овод нанял себе квартиру за городом, недалеко от Римских ворот; в этой же местности поселилась и Зитта. По образу жизни он был порядочный сибарит*. Обстановка его квартиры, правда, не поражала роскошью, но во всех мелочах сказывались любовь к изящному и прихотливый, тонкий вкус, что очень удивляло Галли и Риккардо. От человека, прожившего годы среди дикой природы берегов Амазонки, они ожидали большей простоты привычек. Но в общем они ладили с ним. Он принимал всех приветливо и дружелюбно, особенно местных членов партии Мадзини. Но Джемма, по видимому, составляла исключение из этого правила: он как будто невзлюбил ее с первой же их встречи и всячески избегал ее общества. В двух-трех случаях он был даже резок с ней, чем сильно восстановил против себя Мартини. Овод и Мартини с самого начала не понравились друг другу; у них были до такой степени разные темпераменты, что ничего, кроме антипатии, между ними и быть не могло. Но у Мартини эта антипатия скоро перешла в открытую вражду.

— Меня мало интересует, любит он меня или нет,— сказал он как-то Джемме с раздражением.— Сам я его не люблю, так что никто из нас не в обиде. Но я не могу простить ему его отношения к вам. Я бы потребовал у него объяснения, но это будет скандал для всей партии; мы сами звали его приехать, а теперь будем ссориться с ним...

— Оставьте его в покое, Цезаре. Его отношение ко мне не имеет никакого значения для дела. Да к тому же тут я и сама виновата не меньше его.

— В чем же вы виноваты?

— У меня вырвалось грубое замечание, когда мы встретились с ним в первый раз на вечере у Грассини.

— Вы сказали грубость? Простите, мадонна, этому я не могу поверить.

— Конечно, это вышло нечаянно, и я сама жалела об этом. Я сказала что-то об издевательствах над калеками, а он увидел в этом намек на него. Мне и в голову не приходило считать его калекой: он вовсе не так сильно изуродован.

— Разумеется. Только одно плечо ниже другого, да левая рука порядочно исковеркана; но он не горбун и не кривоногий... Ну а о хромоте и говорить не стоит...

— Тем не менее его тогда перевернуло, и он изменился в лице. С моей стороны это была, конечно, большая бестактность, но все-таки странно, что он так болезненно чувствителен. Хотелось бы мне знать, часто ли ему приходилось страдать от подобных насмешек.

— Гораздо легче себе представить, что он сам часто насмеялся над другими. При всех своих изящных манерах он по натуре грубый человек. Мне он внушает отвращение.

— Это уже совсем несправедливо, Цезаре. Я его тоже не люблю. Но зачем же преувеличивать его недостатки? Правда, у него аффектированная манера держаться, которая раздражает. Правда и то, что он всегда старается острить, а вечное острословие страшно утомительно. Но я не думаю, чтобы он делал все это с какой-нибудь дурной целью.

— Какая у него может быть цель, я не знаю; но если человек вечно все высмеивает, то тут что-то нечисто. Противно было слушать, как на одном собрании у Фабрицци он глумился над последними реформами в Риме*.

Джемма вздохнула.

— Боюсь, что в этом пункте я скорее соглашусь с ним, чем с вами, — сказала она. — Все вы, мягкие сердцем, легко предаетесь радужным надеждам и ожиданиям; вы всегда склонны думать, что раз в Папы избран человек с добрыми намерениями и не дряхлый старик, то все остальное приложится. Стоит ему только открыть тюрьмы да раздавать свои благословения направо и налево — и через каких-нибудь три месяца наступит золотой век. Вы, верно, никогда не поймете, что он не мог водворить на земле справедливость, если б даже хотел. И в этом виноват самый принцип постановки вопроса, а не то, как поступает тот или другой человек.

— Какой принцип? Светская власть Папы?

— Не только это. Это лишь часть всего зла. Дурно то, что вообще одному человеку дается власть над другим. Это создает ложь в отношении между людьми.

Мартини вынул из кармана рукопись.

— Новый памфлет?

— Еще одна нелепица, которую этот проклятый Риварес представил на вчерашнее заседание комитета. Ах, чувствовал я, что скоро у нас с ним дойдет дело до драки.

— Да в чем же дело? Право, Чезаре, вы слишком предубеждены против него. Риварес, может быть, неприятный человек, но он, во всяком случае, не дурак.

— Я не отрицаю, что памфлет написан неглупо...

Автор памфлета осмеивал дикий энтузиазм, с каким Италия превозносила нового Папу. Написан он был язвительно и злобно, как все, что выходило из-под пера Овода; но как ни коробила Джемму резкость тона, в глубине души она не могла не признать справедливости критики.

— Я вполне согласна с вами, что это написано слишком резко, — сказала она, положив рукопись на стол. — Но хуже всего то, что все, что здесь говорится, суцья правда.

— Джемма!

— Да, это так! Называйте этого человека скользким утрем с холодной кровью, если хотите, но правда на его стороне. Бесплезно пытаться доказать, что памфлет не попадет в цель: он попадет.

— Вы скажете еще, что надо его напечатать?

— А, это другой вопрос. Я, конечно, не говорю, что мы должны напечатать это в таком виде. Он оскорбил бы и оттолкнул бы от нас решительно всех и не принес бы никакой пользы. Но если бы Риварес переделал его немного, выбросив нападки личного характера, я думаю, вышла бы действительно ценная вещь. Политическая критика превосходна. Я никак не ожидала, что Риварес может писать так хорошо. Он говорит именно то, что следует сказать, но чего не решается сказать никто из нас. Как великолепно написана, например, вся та часть, где он сравнивает Италию с пьянчужкой, проливающим слезы умиления на плече у вора, который обшаривает его карманы!

— Джемма! Да ведь это самое худшее место во всем памфлете! Я не выношу такого огульного облаивания всего и всех.

— Я тоже. Но не в этом дело. У Ривареса очень неприятный тон, да и сам он не слишком симпатичен. Но когда он говорит, что мы одурманиваем себя торжественными процессиями, братскими лобзаниями и призывами к любви и примирению и что все это иезуиты и санфедисты сумеют обратить в свою пользу, — он тысячу раз прав... Жаль, что я не попала на вчерашнее заседание комитета. На чем же вы в конце концов порешили?

— Да вот на том, для чего я и пришел к вам: просить вас сходить к нему и постараться убедить его смягчить свой памфлет.

— Сходить к нему? Но я почти его не знаю. И кроме того, он ненавидит меня. Почему же непременно я должна к нему идти, а не кто-нибудь другой?

— Да просто потому, что всем другим сегодня некогда. А кроме того, вы самая благоразумная из нас: вы не заведете бесполезных пререканий и не поссоритесь с ним.

— От этого я воздержусь, конечно. Ну, хорошо, если хотите, я схожу к нему, но предупреждаю: я мало надеюсь на успех.

— А я уверен, что сумеете уломать его, если захотите. Да еще скажите ему, что весь комитет восхищается его памфлетом — я разумею, в литературном отношении. Это приведет его в хорошее настроение, и притом это совершенная правда.

Овод сидел у своего письменного стола, заставленного цветами, и рассеянно смотрел на пол, держа на коленях развернутое письмо. Лохматый черный пес, лежавший на ковре у его ног, поднял голову и зарычал, когда у приотворенной двери постучалась Джемма. Овод поспешно встал и отвесил ей сухой церемонный поклон. Лицо его вдруг стало неподвижным, утратив всякое выражение.

— Вы слишком любезны,— сказал он ледяным тоном.— Если бы вы дали мне знать, что вам нужно видеть меня, я сейчас же явился бы к вам.

Чувствуя, что он мысленно желает ей провалиться сквозь землю, она поспешила объяснить, что пришла по делу. Он опять поклонился и придвинул ей кресло.

— Я пришла к вам по поручению комитета,— начала она.— Там большинство не согласно с некоторыми пунктами вашего памфлета.

— Я так и думал.— Он улыбнулся и сел против нее, передвинув на столе большую вазу с хризантемами так, чтобы заслонить свое лицо от света.

— Большинство членов, правда, в восторге от памфлета как от литературного произведения, но они находят, что в теперешнем виде его неудобно печатать. Они боятся, что резкость тона может оскорбить людей, чья поддержка так важна для партии.

Он выдернул из вазы одну хризантему и начал медленно ощипывать один за другим ее белые лепестки. Взгляд Джеммы случайно остановился на пальцах его тонкой правой руки. Ею овладело какое-то странное, тревожное чувство: ей показалось, что она уже видела где-то раньше эту манеру обрывать цветы.

— Как литературное произведение,— заметил он своим мягким голосом, но холодно,— памфлет мой ничего не стоит, и с этой точки зрения им могут восторгаться только профаны в литературе. А что он оскорбляет — так ведь этого-то я и хотел.

— Я понимаю. Но дело в том, что ваши удары попадают не в тех, в кого нужно.

— Мне кажется, вы ошибаетесь,— проговорил он.— Вопрос стоит так: для какой цели пригласил меня сюда ваш комитет? Для того, как я понимал, чтобы вывести на чистую воду и высмеять иезуитов. Эту обязанность я и выполняю, разумеется, по мере сил.

— Могу вас уверить, что никто и не сомневается ни в ваших способностях, ни в вашей доброй воле. Но комитет боится, что ваш памфлет может оскорбить либеральную партию и лишить нас моральной поддержки городских рабочих. Ваши стрелы направлены против санфедистов, но многие из читателей подумают, что вы имеете в виду церковь и нового Папу, а это, по тактическим соображениям, комитет считает нежелательным.

— Теперь я начинаю понимать. Пока я нападаю только на тех представителей духовенства, с которыми партия в дурных отношениях,— я могу говорить всю правду, если хочу. Но как только я коснусь священников, любимцев партии,— о, тогда оказывается: «Правда — собака, которую надо держать на цепи». Да, шут был прав... Но я согласен быть чем угодно, только не шутом. Конечно, я должен преклониться перед решением комитета, но я нахожу, что он разбрасывает свое внимание на мелочи и проглядел самое главное: м-мон-сеньора* М-монтан-н-нелли...

— Монтанелли? — повторила Джемма. — Я вас не понимаю. Вы говорите о епископе Бризигеллы?..

— Да. Новый Папа, как известно, только что назначил его кардиналом. Мне как раз пишут о нем. Не хотите ли послушать письмо? Пишет один из моих друзей, живущий по ту сторону границы.

— Какой границы? Папской области?

— Да. Вот что он пишет... «В-вы скоро б-будете иметь удовольствие встретиться с одним из наших злейших врагов, к-кардиналом Лоренцо М-монтанелли, епископом Бризигеллы. О-он...»

Овод оборвал чтение и перевел дух. Затем продолжал медленно, невыносимо растягивая слова, но уже больше не заикаясь:

— «Он намеревается посетить Тоскану в течение будущего месяца. Приедет туда с особо важной миссией примирения. Будет проповедовать сначала во Флоренции, где пробудет недели три, потом в Сиене и в Пизе и, наконец, через Пистойю*»

возвратится в Романью*. Он открыто присоединился к либеральной партии церкви, и притом он — личный друг Папы и кардинала Феретти*. При Папе Григории он был в немилости, и его держали вдали, в каком-то захолустье в Апенниннах. А теперь он быстро выдвинулся вперед. В сущности, он, конечно, пляшет под дудку иезуитов, как и всякий санфедист. Возложенная на него миссия тоже подсказана отцами-иезуитами. Он один из самых блестящих проповедников католической церкви и так же вреден в своем роде, как и сам Ламбручини. Его теперешняя задача — поддерживать как можно дольше народный энтузиазм по поводу избрания нового Папы и занять таким образом внимание общества, пока великий герцог не подпишет подготавливаемого агентами иезуитов проекта. В чем состоит этот проект, мне не удалось узнать». Дальше он пишет: «Понимает ли Монтанелли, с какой целью его посылают в Тоскану, или он просто игрушка в руках иезуитов — я не могу разобрать. Он или необыкновенно умный плут, или величайший осел. Странно одно: насколько мне удалось разузнать, он не берет взяток и не имеет любовниц, а это мне приходится видеть в первый раз».

Овод положил письмо и сидел, глядя на Джемму полузакрытыми глазами, в ожидании, что она скажет.

— Вы уверены, что ваш корреспондент точно передает факты? — спросила она, помолчав.

— Относительно безупречности частной жизни монсеньора Монтанелли? Нет. Да он и сам не уверен в безусловной верности того, что сообщает. Как вы могли заметить, он оговаривается: «...насколько мне удалось разузнать...»

— Я не об этом спрашиваю, — холодно перебила Джемма, — а о том, что касается его миссии.

— Да, в этом я могу вполне положиться на него. Это мой старый друг, один из товарищей по сорок третьему году. А теперь он занимает положение, дающее ему возможность разузнать о такого рода вещах.

«Верно, какой-нибудь чиновник в Ватикане», — быстро промелькнуло у нее в голове.

— Так вот какие у вас связи! Я, впрочем, так и думала.

— Письмо это, конечно, частного характера, — продолжал Овод, — и вы понимаете, что содержание его не должно быть известно никому, кроме членов вашего комитета.

— Само собою разумеется. Но вернемся к памфлету: могли я сказать комитету, что вы согласны сделать кое-какие изменения и немного смягчить тон, или...

— А вы не думаете, синьора, что изменения могут не только ослабить силу сатиры, но и испортить красоту «литературного произведения»?

— Вы спрашиваете о моем личном мнении, а я пришла говорить с вами от имени комитета.

— Не следует ли заключить из этого, что вы лично расходитесь с мнением комитета?

— Если вас интересует, что думаю я лично,— извольте: я не согласна с большинством в обоих пунктах. Я вовсе не восхищаюсь памфлетом с литературной точки зрения, но нахожу его правильным по освещению фактов и целесообразным в тактическом отношении.

— То есть?

— Я вполне согласна с вами, что Италия увлекается блуждающими огнями и что все эти восторги и ликования заведут ее в непроходимое болото. Меня бы порадовало, если бы это было сказано открыто и смело, хотя бы с риском оскорбить и оттолкнуть некоторых из наших союзников. Но как член корпорации, большинство которой держится противоположного взгляда, я не могу настаивать на своем личном мнении. И разумеется, я тоже нахожу, что уж если говорить, то надо говорить беспристрастно и спокойно, а не таким тоном, как у вас.

— Вы подождите минутку, пока я пересмотрю рукопись.

Он взял рукопись, пробежал ее от начала до конца и остался недоволен, как это было видно по его лицу.

— Да, вы правы. Статья написана в тоне кафешантанного острова, а не как политическая сатира. Но что же делать? Напиши я прилично — публика не поймет. Если не будет остроловия, покажется скучно.

— А вы не думаете, что остроловие тоже нагоняет скуку, если оно преподносится в слишком больших дозах?

Он посмотрел на нее быстрым, пронизывающим взглядом и расхохотался:

— Вы, синьора, по-видимому, из категории тех ужасных людей, которые всегда правы. Если я выброшу из памфлета все личные нападки и оставлю самую существенную часть в том виде, как она есть, комитет выразит сожаление, что не может взять на себя ответственность напечатать его; если же я пожертвую политической правдой и направлю все удары на отдельных врагов партии — комитет будет превозносить мое произведение, а мы с вами будем знать, что его не стоит печатать. Вот вам интересная метафизическая задача. Что

лучше: попасть в печать, не стоя того, или, вполне заслуживая опубликования, остаться под спудом? Что вы на это скажете, синьора?

— Я не думаю, чтобы вы были связаны такой альтернативой. Я уверена, что, если вы выбросите личности, комитет согласится напечатать памфлет, хотя, конечно, многие будут против. И, мне кажется, он принесет пользу. Но вы должны смягчить ваш резкий тон.

Он пожал плечами и покорно вздохнул:

— Я подчиняюсь, синьора, но с одним условием. Раз вы лишаете меня права смеяться теперь, вы должны будете предоставить мне это право в недалеком будущем. Когда его преосвященство, безупречный кардинал, появится во Флоренции, — тогда уж ни вы, ни ваш комитет не должны мешать мне злословить, сколько я захочу. В этом уж вы должны мне уступить.

Он говорил небрежно, холодным тоном, выдергивая хризантемы из вазы и рассматривая на свет прозрачные лепестки. «Как дрожит у него рука, — думала Джемма, глядя, как трепетали цветы. — Ведь не пьет же он?»

— Вам лучше поговорить об этом с другими членами комитета, — сказала она, вставая. — Я не могу предугадать, как они решат.

— А вы сами как решили бы? — спросил он, тоже вставая. Теперь он стоял, прислонившись к столу, и, держа в руках цветы, прижимал их к лицу.

Она колебалась. Его вопрос поднял в ней много старых тяжелых воспоминаний.

— Мне трудно это решить, — сказала она наконец. — Мне приходилось не раз слышать о монсеньоре Монтанелли много лет тому назад. Он тогда был только каноником и ректором духовной семинарии в той провинции, где я жила в детстве... Мне много рассказывал о нем один... человек, который знал его очень близко, и рассказывал только самое хорошее. Мне кажется, что он был — тогда, по крайней мере — действительно замечательным человеком. Но это было давно, и с тех пор он мог измениться. Бесконтрольная власть так развращает!

Овод поднял голову и смотрел на нее твердым взглядом.

— Во всяком случае, — сказал он, — если монсеньор Монтанелли сам и не подлец, то он орудие в руках подлецов. Но для меня и для моих друзей за границей это все равно. Лежащий посреди дороги камень может иметь самые лучшие намерения, но все-таки его надо убрать... Позвольте, синьора. — Он, прихрамывая, подошел к двери и отворил ее. — Вы очень доб-

ры, синьора, что зашли ко мне. Послать за коляской? Нет? Ну, до свиданья.

Джемма вышла на улицу в тревожном раздумье.

«Мои друзья за границей». Кто они? И какими средствами думает он убраться с дороги камень? Если только сатирую, то почему он это сказал таким угрожающим тоном?

Глава IV

Монсеньор Монтанелли приехал во Флоренцию в первых числах октября. Его приезд вызвал в городе заметное волнение. Он пользовался славой хорошего проповедника и был представителем реформированного папства. Народ с нетерпением ждал от него изложения нового учения — евангелия любви и примирения, долженствовавших уврачевать все скорби Италии. Назначение кардинала Гицци на место ненавистного всем Ламбручини римским государственным секретарем подняло всеобщий энтузиазм. И Монтанелли был как раз человеком, способным поддержать восторженное настроение. Безупречная строгость его жизни была настолько редким явлением среди высших сановников римской церкви, что уже сама по себе привлекла к нему симпатии народа, привыкшего считать вымогательства, подкупы и бесчестные интриги почти необходимыми условиями карьеры для служителей церкви. К этому еще присоединились действительно замечательный талант проповедника, чарующий голос и обаятельная наружность.

С такими данными он во всякое время имел бы огромный успех.

Грассини, как всегда, прилагал все усилия, чтобы иметь и эту новую знаменитость в числе своих гостей. Но залучить Монтанелли оказалось не так-то легко, на все приглашения он отвечал все тем же вежливым, но решительным отказом.

— Вот всеядные животные, эти супруги Грассини! — сказал как-то раз Мартини Джемме, переходя с нею через площадь Синьории в одно холодное воскресное утро. — Заметили вы, как они поклонились, когда подъехала коляска кардинала? Им все равно, что за человек, — лишь бы о нем кричали. В жизни своей не видел таких неустрашимых охотников на львов. Еще недавно, в августе, — Овод, а теперь — Монтанелли. Надеюсь, что его преосвященство чувствует себя польщенным этим вниманием. Он делит его с порядочной оравой авантюристов.

Они шли из собора, где в тот день говорил проповедь Монтанелли. Громадное здание было так переполнено народом, жаждавшим послушать знаменитого проповедника, что Мартини, боясь, чтобы у Джеммы не разболелась голова, убедил ее уйти до конца службы. После целой недели дождей это было первое солнечное утро, и, пользуясь этим, Мартини предложил Джемме погулять по садам на склонах холмов, окружающих Сан-Николо.

— Нет,— сказала она,— я охотно пройдуся, если у вас есть время, но только не в ту сторону. Походим лучше по Лунг-Арно: там проедет Монтанелли на обратном пути из церкви, а мне, как Грассини, захотелось видеть знаменитость.

— Но вы ведь только что видели его.

— Недостаточно близко. В соборе была такая давка... а когда он проезжал, мы видели только его спину. Если мы будем держаться ближе к мосту, то, наверное, разглядим его хорошо — ведь он живет на Лунг-Арно.

— Но откуда у вас такое страстное желание видеть Монтанелли? Вы раньше никогда не интересовались знаменитыми проповедниками.

— Меня и теперь интересует не проповедник, а человек. Мне хочется знать, очень ли он изменился с тех пор, как я видела его последний раз.

— А когда вы его видели?

— Через два дня после смерти Артура.

Мартини с тревогой взглянул на нее. Они дошли теперь до Лунг-Арно, и она рассеянно смотрела на воду тем ничего не видящим взглядом, который всегда так его пугал.

— Джемма, дорогая,— сказал он минуту спустя,— неужели это печальное воспоминание будет преследовать вас всю жизнь? Кто из нас не делал ошибок в семнадцать лет?

— Но не каждый из нас в семнадцать лет убивал своего лучшего друга,— ответила она усталым голосом. Облокотившись на каменные перила моста, она упорно смотрела вниз на реку. Мартини молчал: он почти боялся заговорить с ней, когда на нее находило такое настроение.

Они молча перешли мост и пошли по набережной. Через несколько минут она снова заговорила:

— Какой красивый голос у этого человека! В нем есть что-то такое, чего я не замечала ни в одном человеческом голосе. В этом, я думаю, и секрет по крайней мере половины его обаяния.

— Да, голос чудесный,— подхватил Мартини, пользуясь этой новой темой, чтобы отвлечь ее мысли от страшных вос-

поминаний, навеянных видом реки.— Да и помимо голоса он лучший из всех проповедников, каких мне приходилось слышать. Но я думаю, что секрет его обаяния кроется даже не в этом, а глубже: в его безупречной жизни, так отличающей его от остальных сановников церкви. Едва ли вы укажете другое высокое духовное лицо во всей Италии, кроме разве самого Папы, с такой абсолютно незапятнанной репутацией. Помню, в прошлом году, когда я ездил в Романью, мне пришлось побывать в его епархии, и я видел, как суровые горцы ожидали под дождем его проезда, чтобы хоть мельком взглянуть на него или коснуться его одежды. Они чтут его почти как святого, а это очень много значит: ведь в Романье вообще ненавидят всех, кто носит рясу. Я сказал как-то одному старику крестьянину, типичнейшему контрабандисту, что народ, как видно, очень предан своему епископу, и он мне ответил: «Мы не любим попов, все они лгуны. Но монсеньора Монтанелли мы любим. Никто никогда не слышал, чтобы он сказал неправду или поступил несправедливо».

— Интересно знать,— сказала Джемма, скорее думая вслух, чем обращаясь к Мартини,— известно ли ему, что о нем думает народ?

— Как это может быть ему известно? Ведь то, что о нем думают, правда.

— Нет, неправда.

— Почему вы это знаете?

— Он сам мне сказал.

— Он? Монтанелли? Джемма, что вы хотите сказать?

Она откинула волосы со лба и повернулась к нему.

Они опять стали над рекой; он облокотился на перила, а она медленно чертила зонтиком по камням.

— Чезаре, мы с вами уже давнишние друзья, но я никогда не рассказывала вам всего, что случилось с Артуром.

— И не надо рассказывать, дорогая,— поспешно остановил он ее.— Все это я уже знаю.

— Вам рассказал Джованни?

— Да, перед смертью, в одну из тех ночей, которые я просиживал возле него. Он сказал мне еще... Джемма, дорогая, раз мы заговорили об этом, то лучше уж скажу вам всю правду... он сказал, что вас постоянно мучит воспоминание об этом несчастном событии, и просил меня быть вам другом и стараться отвлекать вас от этих мыслей. И я делал что мог, хотя, кажется, безуспешно,— все, что мог.

— Я знаю,— ответила она, подняв на него глаза.— Плохо бы мне пришлось без вашей дружбы. А о монсеньоре Монтанелли он вам тогда ничего не говорил?

— Нет. Я и не подозревал, что Монтанелли имеет какое-нибудь отношение к этой истории. Он рассказал мне только об этом деле с предательством и...

— И о том, что я ударила Артура и он утопился? Хорошо, так теперь я расскажу вам о Монтанелли.

Они повернули к мосту, через который скоро должен был проехать кардинал. Джемма начала говорить, не отрывая глаз от воды:

— Монтанелли был тогда каноником и ректором духовной семинарии в Пизе. Он давал Артуру уроки философии, а когда Артур поступил в университет, они часто читали вместе. Они очень любили друг друга и были похожи, скорее, на любящих друзей, чем на учителя и ученика. Артур боготворил землю, по которой ступал Монтанелли, и я помню, как он сказал мне однажды, что он утопится, если лишится своего падре. Так он всегда называл Монтанелли. Ну, затем вы знаете, что случилось из-за доноса шпиона... На следующий день мой отец и Бертоны — сводные братья Артура, препротивные люди,— целый день пробыли у реки, отыскивая труп, а я сидела в своей комнате и думала о том, что я сделала.

Она приостановилась на несколько секунд и потом продолжала:

— Поздно вечером ко мне зашел мой отец и сказал: «Джемма, милая, сойди вниз; там пришел какой-то человек: ему нужно тебя видеть». Мы спустились в приемную. Там сидел студент, один из членов нашей группы. Весь бледный, дрожа, он рассказал мне, что от Джованни из тюрьмы получено второе письмо, в котором сообщалось, что, как там узнали от одного надзирателя, Артур попал в ловушку на исповеди и что его выдал Карди. Помню, студент мне сказал: «Одно только утешение: теперь мы знаем, что Артур не виноват». Отец взял меня за руки, стараясь успокоить. Он тогда еще не знал, что я сделала. Я вернулась к себе в комнату и просидела всю ночь без сна. Утром отец и Бертоны опять отправились к реке. У них еще оставалась надежда найти тело.

— Но ведь его не нашли?

— Не нашли. Да его и должно было унести в море. Я осталась одна. Пришла служанка и сказала, что сейчас заходил какой-то священник и, узнав, что моего отца нет дома, ушел. Я догадалась, что это был Монтанелли, выбежала черным хо-

дом и догнала его у калитки сада. Когда я сказала ему: «Отец Монтанелли, мне нужно с вами поговорить», он сейчас же остановился и молча ждал, что я скажу. О, Чезаре, если бы вы видели тогда его лицо! Оно стояло у меня перед глазами целые месяцы после того! Я сказала ему: «Я дочь доктора Уоррена... Это я убила Артура». И рассказала ему все как было, а он стоял неподвижно, точно высеченный из камня, и слушал меня. Когда я кончила, он сказал: «Успокойтесь, дитя мое: не вы его убила, а я. Я обманывал его, и он узнал об этом». Он быстро повернулся и вышел за калитку, не прибавив больше ни слова.

— А потом?

— Я не знаю, что было с ним потом. Слышала только в тот же вечер, что он упал на улице в каком-то припадке — это было недалеко от гавани — и его внесли в один из ближайших домов. Вот все, что я знаю. Мой отец сделал все, что мог, чтобы успокоить меня. Когда я рассказала ему все, он сейчас же бросил практику и увез меня в Англию, чтобы удалиться от всего, что могло напоминать мне о прошлом. Он боялся, как бы я тоже не покончила с собой, и, кажется, я действительно была близка к этому одно время. А потом, вы знаете, когда обнаружилось, что отец болен раком, я должна была взять себя в руки — ведь, кроме меня, не было никого, кто бы мог ухаживать за ним. После его смерти дети оставались на моих руках, пока у моего старшего брата не явилась возможность взять их к себе в дом. Потом приехал Джованни. Знаете, первое время мы просто боялись встречаться: между нами стояло это страшное воспоминание. Он горько упрекал себя за то, что и он приложил тут свою руку, — за несчастное письмо, которое он написал из тюрьмы. Но я думаю, что именно общее горе и сблизило нас.

Мартини улыбнулся и покачал головой.

— Может быть, с вашей стороны так и было, — сказал он, — но для Джованни все решилось с первой же встречи. Я помню, как он вернулся в Милан после своей первой поездки в Ливорно. Он просто бредил вами и так много говорил об англичанке Джемме, что чуть не уморил меня. Я думал, что возненавижу вас. А, вот и кардинал!

Коляска переехала мост и подкатила к большому дому на набережной. Монтанелли сидел, откинувшись на подушки. Он, видимо, был очень утомлен и не замечал восторженной толпы, собравшейся перед его домом, чтобы хоть мельком взглянуть на него. Вдохновение, озарявшее его лицо в собо-

ре, совершенно угасло и сменилось выражением заботы и усталости. Когда он вышел из коляски и тяжелой старческой поступью вошел в дом, Джемма повернула назад и медленно пошла к мосту.

— Меня часто занимала мысль, — заговорила она снова, — в чем он мог обманывать Артура? И мне иногда приходило в голову... вам, может быть, это покажется странным... но между ними такое необыкновенное сходство...

— Между кем?

— Между Артуром и Монтанелли. И это не я одна замечала. Кроме того, было что-то загадочное во взаимных отношениях членов семьи Артура. Миссис Бертон, мать Артура, была одной из самых привлекательных женщин, каких я знала. У нее было такое же одухотворенное лицо, как и у Артура, да и характером они были похожи. Но она всегда казалась испуганной, точно уличенная преступница. И жена ее пасынка обращалась с ней возмутительно грубо. Да и сам Артур был так непохож на всех этих вульгарных Бертонов... В детстве, конечно, часто не отдаешь себе отчета в том, что наблюдаешь. Когда потом я восстанавливала в памяти прошлое, мне часто приходило в голову, что Артур — не Бертон. Возможно, что он узнал что-нибудь о матери.

— Если так, то это и могло быть причиной его смерти, и тогда предательство Карди ни при чем, — вставил Мартини, думая доставить ей некоторое облегчение этой догадкой.

Но она покачала головой:

— Если бы вы видели, Чезаре, какое у него было лицо, когда я ударила его, вы бы этого не подумали. Догадки о Монтанелли, может быть, и верны — в них нет ничего не правдоподобного... Но что я сделала — то сделала.

Они прошли несколько минут, не говоря ни слова.

— Дорогая Джемма, — заговорил наконец Мартини, — если бы на земле существовали способы менять то, что сделано, тогда стоило бы задумываться над старыми ошибками; но раз нельзя их исправить — пусть мертвые оплакивают мертвых. История ужасная, это правда. Но бедный юноша, пожалуй, все-таки счастливее многих из оставшихся в живых, которые теперь сидят по тюрьмам или находятся в изгнании. Вот о ком мы с вами должны думать. Мы не вправе отдавать все наши помыслы мертвецам. Вспомните, что говорит ваш любимец Шелли*: «Прошлое принадлежит смерти, а тебе — будущее». Берите его, пока оно еще ваше, и думайте не о том, что вы когда-то давно сделали дурного, а о том хорошем, что вы еще можете сделать.

В своем горячем желании утешить ее он взял ее руку, но сейчас же выпустил и отшатнулся, услышав за собой мягкий, мурлычущий голос:

— Монсеньор Монтанелли, почтеннейший доктор, без сомнения, обладает всеми теми добродетелями, о которых вы говорите. Он даже слишком хорош для нашего грешного мира, и его следовало бы вежливо препроводить в другой. Я уверен, что он произвел бы там такую же сенсацию, как и здесь. Там, вероятно, немало духов-старожилов, никогда еще не выдавших такой диковинки, как честный кардинал. А души — большие охотники до новинок...

— Откуда вы это знаете? — послышался голос Риккардо, в котором звучала нотка сдерживаемого раздражения.

— Из Священного Писания, мой дорогой. Если верить ему, то даже почтенные духи имеют пристрастие к фантастическим сочетаниям. А честность и кардинал, по-моему, очень своеобразное сочетание, такое же неприятное на вкус, как раки с медом... А! Синьор Мартини и синьора Болла! Славная погода после дождей, не правда ли? Слушали и вы нового Савонаролу?*

Мартини быстро обернулся. Овод, с сигарой во рту и цветочком в петлице, протягивал ему свою тонкую руку, обтянутую изящной перчаткой. Теперь, когда солнце весело играло на его безукоризненных лакированных башмаках и освещало его улыбающееся лицо, он показался Мартини не таким безобразным, но еще более самодовольным. Они пожали друг другу руки: один приветливо, другой угрюмо.

— Вам дурно, синьора Болла? — вырвалось вдруг у Риккардо.

Ее лицо было так бледно, что казалось почти мертвым в тени, которую отбрасывали на него поля ее шляпы, и по тому, как прыгали ленты у нее на груди, было видно, как сильно бьется ее сердце.

— Я поеду домой, — сказала она слабым голосом.

Подозвали коляску. Мартини сел с нею, чтобы проводить ее до дому. Овод поспешил поправить ее платье, свесившееся на колесо, и потом вдруг взглянул на нее, и Мартини заметил, что она отшатнулась с выражением ужаса на лице.

— Что с вами, Джемма? — спросил он по-английски, как только они тронулись. — Что вам сказал этот негодяй?

— Ничего, Чезаре. Он тут ни при чем. Я... испугалась.

— Испугались?

— Да... Мне показалось...

Она прикрыла глаза рукой, и Мартини молча ждал, пока она придет в себя. Ее лицо мало-помалу ожило, и, повернувшись к Мартини, она заговорила своим обыкновенным, твердым голосом:

— Вы были совершенно правы, говоря, что вредно отдаваться воспоминаниям об ужасном прошлом. Это так расшатывает нервы, что начинаешь воображать самые невозможные вещи. Никогда не будем больше говорить об этом, Чезаре, а то я во всяком встречном буду видеть фантастическое сходство с Артуром. Это — точно галлюцинация, какой-то кошмар среди белого дня. Представьте: сейчас, когда этот человек пошел к нам, мне показалось, что это Артур.

Глава V

Овод положительно отличался особенной способностью навивать себе врагов. Он приехал во Флоренцию только в августе, а к концу октября уже три четверти комитета, пригласившего его, разделяли отношение к нему Мартини. Даже самым горячим из его поклонников наскучили свирепые нападки на Монтанелли, и сам Галли, который сначала готов был защищать и поддерживать все, что ни скажет остроумный сатирик, начинал скрепя сердце признавать, что кардинала Монтанелли лучше было бы оставить в покое.

Единственным, кто оставался равнодушным к граду карикатур и пасквилей, выходивших из-под пера Овода, был сам Монтанелли. Не стоило даже тратить труда, как говорил Мартини, на высмеивание человека, который принимает это так благодушно. Рассказывали, что Монтанелли, когда у него обедал архиепископ Флорентийский, нашел у себя в комнате один из самых злых пасквилей Овода, прочитал его от начала до конца и, передавая архиепископу, сказал: «А ведь неглупо написано, не правда ли?»

Вскоре в городе появился листок, озаглавленный «Тайна благовещения». Если бы даже на нем и не был нарисован Овод с распростертыми крыльями (этим рисунком Риварес заменял подпись на своих памфлетах), для большинства читателей уже по одному стилю, желчному и язвительному, стало бы ясно, кем он написан. Памфлет был составлен в виде диалога между Тосканой в образе Мадонны и Монтанелли в образе ангела в венке оливковых веток (символ мира) и с лилиями в руке (символ чистоты), возвещающего о пришествии

иезуитов. Все это произведение было полно оскорбительных личных намеков и слишком смелых догадок. Вся Флоренция чувствовала, что сатира и жестока и несправедлива, — и, однако, вся Флоренция смеялась. В серьезном тоне нелепостей, которыми был наполнен памфлет, было столько неотразимого юмора, что самые яростные противники Овода смеялись так же искренне, как и его приверженцы. И, несмотря на явную несправедливость сатиры, листок оказал свое действие на городское население. Личная репутация Монтанелли стояла слишком высоко, чтобы ее мог серьезно поколебать какой-нибудь пасквиль*, хотя бы самый остроумный, но был момент, когда общественное мнение обратилось против него. Овод знал, куда ужалить, и хотя перед домом кардинала продолжал толпиться народ, чтобы посмотреть на него, когда он садился в коляску или возвращался домой, но теперь сквозь благословения и приветствия часто прорывались знаменательные крики: «Иезуит!», «Санфедистский шпион!».

Но у Монтанелли не было недостатка в защитниках. Через два дня после появления пасквиля в руководящем клерикальном органе «Верующий» была напечатана блестящая статья, озаглавленная «Ответ на “Тайну благовещения”» и подписанная «Сын церкви». Это была вполне безупречная защита Монтанелли против клеветнических нападок Овода. Анонимный автор начинал пылким и красноречивым изложением доктрины «мира и благоволения» на земле, провозвестником которой явился новый Папа, затем бросал вызов Оводу, приглашая его доказать справедливость хоть одного из его обвинений, и в заключение торжественно призывал публику не верить достойному презрения клеветнику. Как по убедительности защиты, так и по литературным достоинствам этот «Ответ» был настолько выше заурядных газетных статей, что им заинтересовался весь город, тем более что сам издатель газеты не мог угадать, кто скрывается под псевдонимом «Сын церкви». Статья вышла вскоре отдельной брошюрой и об «анонимном защитнике» Монтанелли заговорили во всех кофейнях Флоренции.

Овод ответил страстными нападками на нового Папу и на всех его клеветов, особенно на Монтанелли, осторожно намекнув, что панегирик ему был написан с его собственного согласия. На это анонимный защитник ответил в «Верующем» негодующим протестом. Все остальное время пребывания Монтанелли во Флоренции эта полемика не прекращалась и скоро настолько завладела вниманием публики, что заставила ее почти забыть самого проповедника.

Некоторые из членов либеральной партии пытались доказать Оводу всю неуместность его злобного тона по адресу Монтанелли, но этим ничего не добились. На все эти доводы он только любезно улыбался и отвечал со своим характерным заиканием:

— П-поистине, господа, вы не совсем добросовестны. Делая уступку синьоре Болле, я нарочно выговорил себе право посмеяться в свое удовольствие, когда приедет Монтанелли. Таков был наш уговор.

В конце октября Монтанелли выехал в свою епархию в Романье. Перед отъездом он произнес прощальную проповедь, в которой коснулся и знаменитого литературного спора. Мягко выразив сожаление об излишней страстности обоих писателей, он просил своего неведомого защитника подать пример сдержанности и прекратить эту бесполезную и непристойную словесную войну. На следующий же день в «Верующем» появилась заметка, извещавшая о том, что «Сын церкви», ввиду публично выраженного монсеньором Монтанелли желания, отказывается от продолжения спора.

В конце ноября Овод заявил комитету, что он хочет съездить к морю на две недели. Он уехал, как говорили, в Ливорно; но когда вскоре после него туда же приехал доктор Риккардо и хотел повидаться с ним, он тщетно разыскивал его там. Пятого декабря в Папской области и вдоль всей цепи Апеннинских гор началось крупное политическое движение, и многие тогда стали догадываться, почему Оводу пришла вдруг фантазия устроить себе каникулы среди зимы. Он вернулся во Флоренцию, когда волнение было подавлено. Встретив на улице Риккардо, он сказал ему с улыбкой:

— Я слышал, что вы справлялись обо мне в Ливорно, но я застрял в Пизе. Какой славный старинный город! В нем чувствуешь себя точно в счастливой Аркадии!*

На Рождестве он присутствовал на одном собрании литературного комитета, происходившем в квартире доктора Риккардо. Собрание было очень многолюдное. Овод немного опоздал, и, когда он вошел с поклоном и улыбкой, выражавшими просьбу извинить его, не было уже ни одного свободного места. Риккардо поднялся было, чтобы принести стул из соседней комнаты, но Овод остановил его.

— Не беспокойтесь,— сказал он,— я отлично устроюсь и так.

Он прошел через комнату к окну, возле которого сидела Джемма, и сел на подоконник.

Джемма чувствовала на себе загадочный взгляд Овода, придававший ему сходство с портретами Леонардо да Винчи*, и ее инстинктивное недоверие к этому человеку быстро уступило место безрассудному страху.

На обсуждение собрания был поставлен вопрос о выпуске прокламации по поводу угрожавшего Тоскане голода, с изложением мнения комитета о том, какие должны быть приняты меры для предупреждения бедствия. Прийти к определенному решению было довольно трудно, потому что мнения, как всегда, резко расходились. Радикальная часть комитета, к которой принадлежали Джемма, Мартини и Риккардо, высказывалась за выпуск энергичного воззвания к правительству и к обществу о немедленном принятии мер для своевременной помощи населению. А более умеренная часть, в том числе, конечно, и Грассини, опасалась, что слишком энергичный тон воззвания может только раздражить правительство, но не убедить.

— Все это очень хорошо, господа, и весьма желательно, разумеется, чтобы помощь была оказана без промедления, — говорил Грассини спокойно, со снисходительным сожалением оглядывая волнующихся радикалов. — Все мы, или по крайней мере большинство из нас, желаем много такого, чего едва ли добьемся когда-нибудь. Но если мы заговорим в таком тоне, как вы предлагаете, то очень возможно, что правительство не примет никаких мер, пока не наступит настоящий голод. Если бы нам удалось заставить правительство провести анкету о состоянии урожая, то и это уже было бы шагом вперед.

Галли, сидевший в углу около камина, вскочил, чтобы возразить:

— Шагом вперед? Конечно, милостивый государь. Но голод не будет нас ждать. Если мы пойдем таким шагом, народ перемрет, прежде чем мы успеем подать ему помощь.

— Интересно бы знать... — начал было Саккони.

Но тут с разных мест раздались голоса:

— Говорите громче: не слышно!

— Как тут услышишь, когда на улице такой адский шум, — сердито сказал Галли. — Закрыто ли там окно, Риккардо?

Джемма оглянулась на окно.

— Да, — сказала она, — окно закрыто. Но там, должно быть, проходит бродячий цирк или что-то в этом роде.

Снаружи раздавались крики, смех, топот, звон колокольчиков, и ко всему этому примешивались еще рев скверного духового оркестра и беспощадная трескотня барабана.

— Теперь уж такие дни, что приходится мириться с шумом,— сказал Риккардо.— На Святках всегда бывает шумно... Что вы хотели сказать, Саккони?

— Я хотел сказать, что интересно бы знать, что думают обо всем этом в Пизе и в Ливорно. Не сообщит ли нам чего-нибудь на этот счет синьор Риварес? Он как раз оттуда.

Овод не отвечал. Он пристально смотрел в окно и, казалось, не слышал, о чем говорили.

— Синьор Риварес! — позвала его Джемма. Она сидела к нему ближе всех и, так как он не отрывался от окна, наклонилась и тронула его за руку. Он медленно повернулся к ней, и она вздрогнула, пораженная страшной неподвижностью его взгляда. На одно мгновение ей показалось, что перед ней лицо мертвеца; потом губы его как-то страшно зашевелились.

— Да, это бродячий цирк,— прошептал он.

Ее первым инстинктивным движением было оградить его от любопытства других. Не понимая еще, что с ним, она догадывалась, что у него какая-то страшная галлюцинация, овладевшая его телом и душой. Она быстро встала и, заслоня его собою от взглядов публики, распахнула окно, как будто затем, чтобы выглянуть на улицу.

По улице двигался цирк с фокусниками, сидевшими на ослах, и с арлекинами в пестрых костюмах.

Толпа праздного люда, смеясь и толкаясь, обменивалась шутками, перебрасывалась с арлекинами бумажными лентами и бросала мешочки с конфетами коломбине, которая сидела на своей колеснице, вся в блестках и перьях, с фальшивыми локонами на лбу и деланой улыбкой на раскрашенных губах. За колесницей шла пестрая толпа: арабы, нищие, акробаты, выкидывавшие на ходу всякие головоломные штучки, и продавцы мелких безделушек и сластей. Все они, смеясь и крича, толкали и колотили кого-то, но кого именно — Джемма сначала не могла разглядеть в толпе. Но вскоре она увидела, что это был горбатый, безобразный карлик в нелепом шутковском костюме и в бумажном колпаке с бубенчиками. Он, очевидно, принадлежал к составу труппы и забавлял толпу уродливыми гримасами и кривляньем.

— Что там такое? — спросил Риккардо, подходя к окну.

Его немного удивило, что они заставляют ждать весь комитет из-за каких-то бродячих актеров. Джемма повернулась к нему.

— Ничего интересного,— сказала она.— Просто бродячий цирк. Но они так шумят, что я думала, не случилось ли у них чего-нибудь.

Она стояла, опершись о подоконник, и вдруг почувствовала, как холодные пальцы Овода сжали ее руку.

— Благодарю вас! — прошептал он мягко и, закрыв окно, снова сел на подоконник.

— Простите, что я прервал вас, господа, — сказал он шутливым тоном. — Я загляделся на представление. Очень интересно.

— Саккони предложил вам вопрос, — сказал ему резко Мартини. Поведение Овода казалось ему нелепым ломаньем, и ему было досадно, что Джемма так бестактно следовала его примеру. Это совсем было на нее не похоже.

Овод объявил, что он ничего не может сказать о настроении в Пизе, так как он ездил туда только «отдохнуть». И он тотчас же пустился в ответные рассуждения сначала о предстоящем голоде, мучил своей длинной речью и заиканьем. Казалось, он находил какое-то лихорадочное удовольствие в звуках собственного голоса. Когда собрание кончилось и члены комитета стали расходиться, Риккардо подошел к Мартини:

— Не останетесь ли пообедать у меня? Фабрицци и Саккони обещали остаться.

— Благодарю, но я собирался проводить синьору Боллу.

— Вы, кажется, серьезно думаете, что я не могу добраться до дому одна? — сказала Джемма, подымаясь и накидывая плащ. — Конечно, он останется у вас, доктор: ему полезно побыть в обществе. Он слишком засиделся дома.

— Если позволите, я вас провожу, — вставил Овод. — Я иду в ту же сторону.

— Если вам в самом деле по дороге...

— А у вас, Риварес, не будет времени зайти к нам вечером? — спросил Риккардо, отворяя им дверь.

Овод, смеясь, оглянулся через плечо.

— У меня, мой друг? Я хочу пойти в цирк.

— Что за чудак, — говорил потом Риккардо, вернувшись к гостям. — И какое странное пристрастие к балаганным шутам!

— Ничего удивительного: это в нем говорит сродство душ, — сказал Мартини, — он сам настоящий балаганный шут.

— Хорошо, если только шут, — вставил Фабрицци серьезно. — Но я боюсь, что если он и шут, то, во всяком случае, шут опасный.

— Опасный? В каком отношении?

— Не нравятся мне эти таинственные увеселительные поездки, которые он так любит. Вы знаете, ведь он ездил уже три раза, и я не верю, чтобы в эту последнюю поездку он был в Пизе.

— Но ведь это почти не секрет, что он ездит в горы, — сказал Саккони. — Он даже не очень старается скрыть, что подерживает сношения с контрабандистами, с которыми познакомился во время мятежа в Савиньо, и вполне естественно, что он пользуется их услугами, чтобы переправлять свои памфлеты через границу Папской области.

— Вот об этом-то мне и хотелось с вами поговорить, — сказал Риккардо. — Мне приходит в голову, что самое лучшее — попросить Ривареса взять на себя руководство и нашей контрабандой. Доставка нашей литературы в Пистойю, по-моему, организована очень плохо. Отправка памфлетов всегда одним и тем же способом — в сигарах — чересчур примитивна.

— Однако до сих пор она была хороша, — упрямо возразил Мартини. Ему надоело слушать, как Галли и Риккардо вечно выставляли Овода каким-то образцом для подражания, и он находил, что все шло как нельзя лучше, пока не явился этот «лицемерный разбойник» учить всех уму-разуму.

— Да, до сих пор она удовлетворяла нас, так как ничего лучшего не было. Но за последнее время, как вы знаете, было произведено много арестов и конфискаций. И я думаю, что, если бы дело взял на себя Риварес, этого не случилось бы вперед.

— Почему же вы так думаете?

— Во-первых, на нас контрабандисты смотрят как на чужих, а может быть, даже просто как на дойную корову, а Риварес, по меньшей мере, их друг, если не предводитель. Его они слушаются и верят ему. Для того, кто участвовал в восстании в Савиньо, всякий контрабандист, можете быть уверены, делает много такого, чего не сделает для нас. А во-вторых, едва ли между нами найдется хотя один, кто знал бы горы так хорошо, как Риварес. Не забудьте, что он скрывался в горах и отлично знает все тропинки контрабандистов. Ни один контрабандист не посмеет обмануть его, а если бы даже и решился, это ему все равно не удастся.

— Итак, что же вы предлагаете? Поручить ему все дело доставки нашей литературы в Папскую область — распределение, адреса, складочные места и вообще все — или же просить его только взять на себя переправу ее через границу?

— Что касается адресов и складочных мест, то из них все, нам известные, вероятно, известны и ему. Но, кроме того, ему, наверное, известны и такие, которыми мы не располагаем. Так что в этом отношении мы едва ли дадим ему что-нибудь новое. Ну а относительно распределения — это, конечно, как решит большинство. Но самое важное, по-моему, — перепра-

ва через границу. Раз книги доставлены благополучно в Болонью — раздача их по рукам уже сравнительно легкое дело.

— Если хотите знать мое мнение, — сказал Мартини, — то я против этого плана. Ведь это только предположение, что Риварес особенно пригоден для такого дела. В сущности, никто из нас не видел его в этой работе, и мы не можем быть уверены, что в критическую минуту он не потеряет головы.

— О, в этом можете не сомневаться! — перебил Риккардо. — История восстания в Савиньо доказывает, что он никогда головы не теряет!

— А кроме того, — продолжал Мартини, — хоть я и мало знаю его, но, мне кажется, имею достаточно оснований сказать, что ему нельзя доверять всех секретов партии. Он, мне кажется, человек легкомысленный и любит рисоваться. Передать же заведование партийной контрабандой в руки одного человека — дело очень серьезное. Что вы об этом думаете, Фабрицци?

— Я не сомневаюсь ни в его смелости, ни в честности, ни в самообладании. Не подлежит сомнению и то, что ему хорошо знакомы как горы, так и горцы. Но есть сомнения другого рода. Я не уверен, что он ездит в горы только ради контрабандной переправы своих памфлетов. Я думаю, что у него есть другая цель. Это, конечно, должно остаться между нами — это только мое подозрение. Мне кажется очень правдоподобным, что он в тесной связи с какой-нибудь из шаяк, и, может быть, даже с самой опасной.

— С какой же именно, думаете вы? С «Красными поясами»?

— «Ножовщиками».

— С «Ножовщиками»? Но ведь это маленькая кучка бродяг, по большей части из крестьян, без всякого образования и без политического опыта.

— Такими же были и повстанцы в Савиньо. Но между ними было несколько образованных людей, которые руководили ими. То же может быть и в этой шайке. И обратите внимание, это почти достоверный факт: большинство членов самых крайних партий в Романье — бывшие участники восстания. Они поняли, что в открытом восстании им не побороть клерикалов, и перешли к тайным убийствам. Потерпев неудачу с ружьями в руках, они взяли за ножи.

— А почему вы думаете, что Риварес находится в сношениях с ними?

— Я только подозреваю. Во всяком случае, это надо было бы выяснить, прежде чем верить ему всю нашу литературную

контрабанду. Если он вздумал вести оба дела зараз, он может сильно повредить нашей партии: испортит только ее репутацию и ровно ничего не сделает. Но об этом мы еще поговорим в другой раз — мне нужно поделиться с вами вестями из Рима. Говорят, что предполагается назначить комиссию для выработки проекта городского самоуправления.

Глава VI

Джемма и Овод молча шли по Лунг-Арно. Лихорадочная болтливость Овода, по-видимому, истощилась. Он не сказал почти ни слова с тех пор, как они вышли от Риккардо, и Джемма была от души рада его молчанию. Ей всегда было тяжело в его обществе, и в этот день — больше чем когда-нибудь.

Вдруг он остановился и повернулся к ней:

— Вы не устали?

— Нет. А что?

— И не очень заняты сегодня вечером?

— Нет.

— Я хотел просить вас оказать мне особую милость — прогуляться со мной.

— Куда?

— Да просто так, куда вам нравится.

— Что это вам вздумалось?

— Я не могу вам объяснить. Это очень трудно. Но я вас очень прошу.

Он поднял на нее глаза. Их выражение поразило ее.

— С вами происходит что-то странное,— сказала она мягко.

Он выдернул лепесток из цветка в петлице и стал разрывать его на кусочки. Кого он ей напоминал? Кого-то с такими же нервно-торопливыми движениями пальцев.

— Мне тяжело,— сказал он едва слышно, не отводя глаз от своих рук.— Мне не хочется сегодня оставаться одному. Пойдете со мной?

— Да, конечно. Но не лучше ли нам пойти ко мне?

— Нет, пообедаем в ресторане. Есть ресторан на площади Синьории. Не отказывайтесь, прошу вас, вы обещали.

Они вошли в ресторан. Овод заказал обед, но сам почти не прикоснулся к нему.

Он все время упорно молчал, крошил хлеб и закручивал бахрому скатерти.

Джемма чувствовала себя очень неловко. Она начинала жалеть, что согласилась идти с ним. Молчание становилось тягостным. Ей не хотелось заводить пустого разговора с человеком, который, казалось, забыл даже об ее присутствии. Наконец он взглянул на нее и неожиданно сказал:

— Хотите посмотреть представление в цирке?

Она широко раскрыла глаза от удивления.

— Видали вы когда-нибудь такие представления? — спросил он раньше, чем она успела ответить.

— Нет, не видала. Меня они не интересовали.

— Напрасно. Это очень интересно. Мне кажется, невозможно изучить жизнь народа, не видя таких представлений.

Бродячий цирк раскинул свою палатку за городскими воротами. Когда к ней подходили Овод и Джемма, невыносимый визг скрипок и барабанный бой возвещали о том, что представление началось.

Оно было весьма несложного характера. Вся труппа состояла из нескольких клоунов, арлекинов и акробатов, одного наездника, прыгавшего сквозь обруч, накрашенной коломбины да горбуна, выкидывавшего скучные и глупые шутки. Шутки в общем не оскорбляли ухо грубостью, но были избытки и вялы, и вообще на всем лежал отпечаток непроходимой пошлости. Публика, со свойственной тосканцам вежливостью, смеялась и аплодировала; но больше всего ее забавляли выходы горбуна, в которых Джемма не находила ничего ни остроумного, ни забавного. Это был просто ряд грубых, безобразных кривляний. Зрители передразнивали его и, поднимая детей себе на плечи, показывали им «уродца».

— Синьор Риварес, неужели вы находите все это занимательным? — спросила Джемма, оборачиваясь к Оводу, который стоял, прислонившись к деревянной подпорке палатки. — Мне кажется...

Она вдруг замолчала, увидев его лицо. Ни разу в жизни, разве только когда она стояла с Монтанелли у калитки сада в Ливорно, не видела она такого безграничного, безнадежного страдания на человеческом лице.

Но вот горбун, получив пинок от одного из клоунов, перекувырнулся в воздухе и выкатился с арены каким-то нелепым комком. Начался диалог между двумя клоунами, и Овод шевельнулся, точно проснувшись.

— Пойдемте, — сказал он. — Или, может быть, вы хотите еще посмотреть?

— Я предпочитаю уйти.

Они вышли из палатки и пошли среди темной зелени к реке. Несколько минут оба молчали.

— Ну что, как вам понравилось представление? — спросил Овод.

— Довольно грустное зрелище, а местами просто отталкивающее.

— Что же именно вам показалось отталкивающим?

— Да все эти кривлянья. Они просто безобразны. В них нет ничего остроумного.

— Вы говорите о горбуне?

Помня, как болезненно чувствителен Овод к тому, что напоминало ему об его собственных физических недостатках, она меньше всего хотела говорить об этой части представления. Но он сам спросил, и она подтвердила:

— Да, это было хуже всего.

— А ведь это-то больше всего и забавляло народ.

— Да, и об этом остается только пожалеть.

— Почему? Не потому ли, что это рассчитано на грубые вкусы?

— Н-нет. Там все рассчитано на грубые вкусы, но тут при-мешивается еще и жестокость.

Он улыбнулся:

— Жестокость? По отношению к горбуну?

— Я хочу сказать... Сам он, конечно, относится к этому совершенно спокойно. Для него его кривлянья такой же заработок, как прыжки для наездника и роль коломбины для актрисы. Но когда смотришь на него, становится тяжело на душе. Его роль унижительна: в ней попирается человеческое достоинство.

— Ну, он в своей роли терпит, вероятно, не больше унижений, чем до поступления в труппу. Достоинство каждого из нас попирается так или иначе.

— Пожалуй. Но здесь... Вам это покажется, может быть, нелепым предрассудком, но, по-моему, человеческое тело должно быть священным. Я не выношу, когда над ним издеваются и нарочно уродуют его.

— Человеческое тело?... А душу?

Он круто остановился и, опершись рукой о каменные перила набережной, смотрел ей прямо в глаза, ожидая ответа.

— Душу? — повторила она, останавливаясь в свою очередь и с удивлением глядя на него.

Он развел руки порывистым жестом.

— Неужели вам никогда не приходило в голову, что у этого жалкого клоуна есть душа — живая, борющаяся, человеческая

душа, втиснутая в этот корявый обрубок тела и вынужденная быть ему рабыней? Вы так отзывчивы ко всему, вы жалеете тело в дурацкой одежде с колокольчиками и забываете о несчастной душе, у которой нет даже шутовского наряда, чтобы прикрыть незащищенную наготу! Подумайте, как она дрожит от холода, как на глазах у всех душит ее стыд, как терзает ее, точно бич, их глумление, как жжет ее, точно раскаленное железо, их смех! Подумайте, как она беспомощно озирается кругом — на горы, которые не хотят обрушиться на нее, чтобы скрыть от мучителей, на камни, у которых нет жалости, чтобы засыпать ее; как она завидует крысам, потому что те могут заползти в нору и спрятаться там. И вспомните еще, что ведь душа нема, у нее нет голоса, она не может кричать. Она должна терпеть, терпеть и терпеть... Впрочем, я говорю глупости... Почему же вы не смеетесь? На вас не действует юмор?

В немом молчании она повернулась и тихо пошла по набережной. За весь этот вечер ей ни разу не пришло в голову, что его непонятное волнение может иметь какую-нибудь связь с бродячим цирком, и теперь, когда в его внезапной вспышке перед ней раскрылась какая-то мрачная картина его внутренней жизни, ее охватила такая жалость к нему, что она не могла найти ни одного слова утешения. Он шел рядом с ней, глядя на воду.

— Я хочу, чтобы вы поняли, — заговорил он вдруг, окидывая ее подозрительным взглядом, — что все, что я сейчас говорю, — плод моего воображения. У меня есть одна слабость — фантазировать. Но я не люблю, когда мои фантазии принимают всерьез.

Она ничего не ответила, и они молча продолжали путь. Проходя мимо ворот Уффици, он перешел дорогу и нагнулся над темным комком, лежавшим у рельсов конки.

— Что случилось, малютка? — спросил он, и Джемма удивилась неожиданной мягкости его голоса. — Почему ты не идешь домой?

Комок зашевелился и ответил что-то тихим стонущим голосом. Джемма подошла к ним и увидела ребенка лет шести, оборванного и грязного, лежавшего на мостовой, как испуганный зверек. Овод наклонился и гладил рукой растрепанную головку.

— Что случилось? — спросил он, нагибаясь еще ниже, чтобы расслышать невнятный ответ. — Нужно идти домой в постельку. Маленьким мальчикам нечего делать на улице по ночам. Ты совсем замерз. Дай руку и будь молодцом. Где ты живешь?

Он взял ребенка за руку, чтобы поднять его, но мальчик опустился опять на землю с громким плачем.

— Ну что, что? — спросил Овод, опускаясь на колени около него.

Плечо и курточка мальчика были покрыты кровью.

— Скажи мне, что случилось? — продолжал Овод ласковым голосом.— Ты упал? Нет? Кто-нибудь побил тебя? Я так и думал. Кто же это?

— Дядя.

— Ну да, конечно. Когда это случилось?

— Сегодня утром. Он был пьян, а я... я...

— А ты попался ему под руку. Не так ли? Не нужно попадаться под руку, когда человек пьян, дитя мое. Этого пьяные не любят. Что же нам делать с крошкой, синьора? Пойдем к свету, дитя мое, и дай мне посмотреть на твое плечо. Обними меня за шею рукой, я тебе ничего не сделаю. Ну, вот так.

Он взял мальчика на руки и, перенеся его через улицу, поставил на широкую каменную балюстраду. Вынув из кармана нож, он ловко сдернул разорванный рукав, прислонив голову ребенка к своей груди; Джемма поддерживала пострадавшую руку. Плечо было страшно избито и распухло, на руке был глубокий шрам.

— Как можно было избить такого крошку? — сказал Овод, перевязывая платком руку, чтобы рукав не царапал ее.— Чем это он ударил?

— Кочергой. Я попросил у него сольдо*, чтобы купить в лавке немножко поленты*, а он меня ударил кочергой.

Овод содрогнулся.

— А,— сказал он мягко,— это было очень больно?

— Он ударил меня кочергой, а я убежал. Я убежал потому, что он ударил меня.

— И ты все время бродил без еды?

Вместо ответа ребенок начал рыдать. Овод снял его с балюстрады.

— Ничего, ничего, мы тебя вылечим. Как бы только достать коляску. Боюсь, что все они у театра,— там сегодня представление. Мне совестно водить вас таким образом по городу, синьора, но...

— Я непременно пойду с вами. Вам может понадобиться помощь. Но разве вы сможете нести его так далеко? Он не слишком тяжел?

— О, несколько, не беспокойтесь!

Только у театра они нашли несколько извозчичьих карет, и все они были наняты. Представление кончилось, и зрители

уже выходили. Имя Зитты было напечатано большими буквами на стенных афишах. Она участвовала в балете. Попросив Джемму подождать минуту, Овод подошел к подъезду артистов и обратился к одному из служителей:

— Мадам Ренни уже уехала?

— Нет, сударь, — ответил тот, с изумлением глядя на хорошо одетого господина, несущего уличного мальчишку на руках. — Мадам Ренни собирается ехать, кажется. Вот ее коляска. Да вот и она сама.

Зитта сходила с лестницы, опираясь на руку молодого кавалерийского офицера. Она была обаятельно красива в пламенно-красном бархатном плаще, накинутом на бальное платье, и с огромным веером из страусовых перьев, висящим сбоку. У подъезда она остановилась и, выдернув свою руку из-под руки офицера, подошла к Оводу, вне себя от изумления.

— Феличе, — воскликнула она, — что у вас такое?

— Я подобрал этого ребенка на улице. Он весь избит и голоден. Нужно как можно скорее доставить его домой, и так как нигде нельзя нанять карету, то мне нужна ваша коляска.

— Феличе, не думаете же вы брать этого ужасного нищенку к себе домой? Пошлите за полицейским, чтобы он забрал его в приют или куда-нибудь в другое место. Нельзя же собирать у себя всех городских бродяг.

— Ребенок ранен, — продолжал Овод, — завтра его можно отправить в приют, но прежде всего нужно взять его и накормить.

Зитта сделала брезгливую гримасу:

— Смотрите, он прислонился к вам головой. Как вы можете это вынести: он такой грязный!

Риварес посмотрел на нее, взбешенный.

— Он голоден, — сказал он резко, — вы, верно, не понимаете, что это значит.

— Синьор Риварес, — вмешалась Джемма, — моя квартира тут близко, понесем ребенка туда, и, если вы не найдете коляску, я могу оставить его у себя на ночь.

Он быстро обернулся к ней:

— Вы на это согласны?

— Конечно. Добрый вечер, мадам Ренни.

Цыганка холодно поклонилась и, сердито пожав плечами, снова взяла офицера под руку, подняла шлейф платья и поплыла мимо них к карете, которую у нее хотели отнять.

— Я пришлю карету за вами и ребенком, синьор Риварес, — сказала Зитта, останавливаясь у дверей.

— Хорошо, я скажу куда.— Он подошел к кучеру, дал ему адрес и вернулся к Джемме со своей ношей.

Кэтти не спала, дожидаясь свою хозяйку, и, услышав о том, что случилось, побежала скорее, чтобы достать горячую воду и все, что нужно для перевязки. Усадив ребенка на стул, Овод опустил на колени возле него и, ловко снимая с него разорванное платье, промывал и перевязывал раны. Когда он обмыл ребенка и завернул его в теплое одеяло, Джемма вошла с подносом в руках.

— Можно теперь накормить вашего пациента? — спросила она, улыбаясь при виде странного маленького существа.

Овод встал и, собрав снятые с ребенка лохмотья, свернул их.

— Мы, кажется, наделали ужасный беспорядок в вашей комнате,— сказал он.— Вот это все следует сжечь, а я завтра куплю ему новое платье. Есть у вас немного коньяку, синьора? Нужно дать ему выпить несколько глотков. Я же, если позволите, пойду помыть руки.

Когда ребенок поел, он сейчас же заснул на руках у Овода, прислонившись к его груди головой. Джемма помогла Кэтти привести комнату в порядок и села снова к столу.

— Синьор Риварес, подкрепитесь, прежде чем идти домой. Вы почти не обедали, а теперь очень поздно.

— Я с удовольствием выпил бы чашку чаю по-английски. Мне совестно, что я вас так беспокою.

— Ничего. Положите ребенка на диван. Он вас утомляет. Подождите только, я крою подушку простыней. Что вы намерены предпринять?

— Завтра? Поискать, нет ли у него других родственников, кроме пьяного дяди. Если нет, то мне придется последовать совету мадам Ренни и отдать его в приют. Может быть, из жалости к нему следовало бы привязать ему камень на шею и бросить его в реку. Но это доставило бы мне всякие неприятности. Заснул, бедняга. Вот несчастная крошка! Беззащитнее всякой кошки на улице.

Когда Кэтти принесла поднос, мальчик раскрыл глаза и стал оглядываться с изумленным видом. Узнав Овода, он сразу взглянул на него как на своего естественного покровителя, сполз с дивана и, путаясь в складках огромного одеяла, пошел и примостился около него. Он теперь достаточно пришел в себя, чтобы предлагать вопросы; указывая на обезображенную левую руку, в которой Овод держал кусок пирожного, он спросил:

— Что это такое?

— Это? Пирожное. Тебе тоже захотелось? Довольно с тебя и так. Подожди до завтра, дружок.

— Нет, это! — Он вытянул руку и дотронулся до отрезанных пальцев и большого шрама на руке Овода, который тотчас же опустил руку.

— Ах, это! Это то же, что и у тебя на плече. Меня ударил человек, который был сильнее меня.

— Верно, было больно?

— О, не помню, не больше, чем в остальные разы. Ну а теперь отправляйся спать, нечего разговаривать так поздно ночью.

Когда коляска приехала, мальчик опять крепко спал. Овод бережно взял его на руки и снес с лестницы.

— Вы сегодня были для меня добрым ангелом, — сказал он Джемме, останавливаясь у дверей, — но, конечно, это не помещает нам ссориться сколько угодно в будущем.

— Я совершенно не желаю ссориться с кем бы то ни было.

— Да, но я желаю. Жизнь была бы несносной без ссор. Добрая ссора — соль земли. Это даже лучше представлений в цирке.

С этими словами он сошел с лестницы, заботливо неся на руках спящего ребенка.

Глава VII

В первых числах января Мартини, разослав приглашения на ежемесячное собрание литературного комитета, получил от Овода лаконическое извещение, нацарапанное карандашом: «Очень сожалею, не могу прийти». Мартини это рассердилось, так как на приглашении было оговорено: «очень важно». Такое легкое отношение к делу казалось ему почти дерзостью. Кроме того, в этот день пришли еще три письма с очень дурными вестями, и вдобавок дул восточный ветер. По всем этим причинам Мартини был не в духе, и когда на собрании доктор Риккардо спросил: «А Ривареса нет?» — Мартини ответил сердито:

— Нет. Он, наверно, нашел что-нибудь поинтереснее и не может явиться, а вернее — не хочет.

— Мартини, вы самый пристрастный человек во всей Флоренции, — сказал с раздражением Галли. — Если человек вам не нравится, так все, что он делает, непременно дурно. Как может Риварес прийти, когда он болен?

— Кто вам сказал, что он болен?

— А разве вы не знали? Вот уже четыре дня, как он не встает с постели.

— Что с ним?

— Я не знаю. Он даже отложил на четверг условленное свидание со мной. А вчера, когда я зашел к нему, мне сказали, что он болен и не может никого принять. Я думал, что при нем Риккардо.

— Нет, я ничего не знал. Сегодня же вечером зайду к нему и посмотрю, не надо ли ему чего-нибудь.

На другое утро Риккардо, бледный и усталый, вошел к Джемме. Она сидела и монотонным голосом называла цифры, а Мартини, с увеличительным стеклом в одной руке и тонко очиненным карандашом в другой, заносил их мелкими значками на страницу книги. Джемма сделала Риккардо знак подождать, зная, что нельзя прерывать человека, когда он пишет шифром; тот опустил на кушетку возле нее и сейчас же начал томительно зевать, с трудом пересиливая дремоту.

— Два и четыре, три и семь, шесть и один, три и пять, четыре и один, — продолжал звучать голос Джеммы, однообразно, ровно, как машина, — восемь и четыре, семь и два, пять и один. Здесь кончается фраза, Цезаре.

Она воткнула булавку в бумагу на том месте, где остановилась, и обернулась к Риккардо:

— Здравствуйте, доктор. Какой у вас измученный вид! Вы нездоровы?

— Нет, ничего, я здоров, только очень устал. Я провел ужасную ночь у Ривареса.

— У Ривареса?

— Да. Я просидел над ним всю ночь, а теперь надо идти в больницу. Я зашел к вам спросить, знаете ли вы кого-нибудь, кто бы мог подежурить при нем эти несколько дней? Он в ужасном состоянии. Я сделаю для него, конечно, все, что могу. Но сейчас у меня нет времени, а о сиделке он и слышать не хочет.

— А что с ним такое?

— У него, несомненно, осложнение на нервной почве, но главная причина болезни — застарелая рана, которая в свое время была запущена. Он в страшно подавленном состоянии. Он получил рану, вероятно, во время войны в Южной Америке, и, конечно, тогда его не лечили как следует: все было сделано на скорую руку, грубо и небрежно. Удивительно, как он остался в живых. А теперь у него хроническое воспаление, ко-

торое периодически обостряется, и всякий пустяк может вызвать такой приступ.

— Это опасно?

— Н-нет... в таких случаях главная опасность в том, что больной, вне себя от боли, может принять яд.

— Значит, у него сильные боли?

— Ужасные! Удивляюсь, как он еще может терпеть. Мне пришлось дать ему ночью опиум. Вообще я не люблю давать опиум нервным больным, но как-нибудь надо было облегчить боль.

— Он, вероятно, очень нервен?

— Очень. Но у него поразительная сила воли. Пока он не потерял сознания от боли, он был удивительно спокоен. Но зато и задал же он мне работу к концу ночи! И как вы думаете, когда он заболел? Это тянется уже пять суток, а при нем ни души, если не считать дуры-хозяйки, но она спит так, что хоть дом провалился, она не проснется. Да хоть бы и не спала, от нее все равно мало толку.

— А что же его танцовщица?

— Представьте себе, странная вещь! Он не пускает ее к себе. У него какой-то болезненный ужас перед ней. Невозможно понять этого человека — какая-то смесь противоречий! — Он достал часы и посмотрел на них с озабоченным видом. — Я опоздаю в больницу, но ничего не поделаешь. Один раз обход начнет младший врач без меня. Жалко, что мне не дали знать раньше: не следовало оставлять его одного так долго.

— Но почему же он никому не послал сказать, что он болен? — спросил Мартини. — Он мог бы знать, что мы не бросим его одного.

— И напрасно, доктор, — вставила Джемма, — вы не послали сегодня за кем-нибудь из нас, вместо того чтобы сидеть самому через силу.

— Дорогая моя, я хотел было послать за Галли, но Риварес так рассердился при первом моем намеке, что я сейчас же отказался от этой мысли. А когда я спросил его, кого он предпочел бы, он посмотрел на меня испуганными глазами и вдруг закрыл руками лицо и сказал: «Не говорите им: они будут смеяться». Его теперь преследует мысль, что все чему-то смеются. Я так и не понял — чему: он все время говорит по-испански. Но ведь больные часто говорят странные вещи.

— Кто при нем теперь? — спросила Джемма.

— Никого, кроме хозяйки и ее служанки.

— Я пойду к нему сейчас, — сказал Мартини.

— Спасибо. А я загляну вечером. Вы найдете мой листок с инструкциями в ящике стола, что у большого окна, а опиум в другой комнате на полке. Если опять начнутся боли, дайте ему еще опиум, одну дозу, не больше. И ни в коем случае не оставляйте склянку у него на глазах, а то как бы у него не явилось искушение принять больше, чем следует.

Когда Мартини вошел в полутемную комнату больного, тот быстро повернул голову и протянул пылающую руку.

— А, Мартини! Вы пришли разносить меня за те корректуры? — начал он, безуспешно стараясь принять свой всегдашний легкомысленный тон. — Не ругайте меня за то, что я вчера пропустил собрание комитета: я был не совсем здоров, и...

— Бог с ним, с комитетом. Я видел сейчас Риккардо и пришел узнать, не могу ли я вам чем-нибудь помочь.

У Овода вдруг сделалось каменное лицо.

— О, вы очень добры. Но вы напрасно беспокоились: я просто немножко расклеился.

— Я так и понял со слов Риккардо. Ведь он пробыл у вас эту ночь?

— Благодарю вас. Теперь я чувствую себя лучше, и мне ничего не надо.

— Хорошо. В таком случае я посижу в другой комнате: может быть, вам приятнее быть одному. Я оставлю дверь полуотворенной, чтобы вы могли позвать меня.

— Пожалуйста, не беспокойтесь. Уверяю вас, мне ничего не надо. Вы только напрасно потеряете время.

— Бросьте эти глупости! — перебил Мартини грубовато. — Зачем вы меня морочите? Думаете, у меня нет глаз? Лежите спокойно и постарайтесь заснуть.

Он вышел в соседнюю комнату и, оставив дверь открытой, сел читать. Вскоре он услышал, как больной несколько раз беспокойно пошевелился. Он отложил книгу и стал прислушиваться. Некоторое время была тишина, потом опять начались беспокойные движения, потом послышалось учащенное, тяжелое дыхание, как у человека, который стиснул зубы, чтобы подавить стон. Мартини опять пошел к больному.

— Может быть, нужно что-нибудь сделать, Риварес?

Не дождавшись ответа, он подошел к постели. Овод, бледный как смерть, взглянул на него на минуту и молча покачал головой.

— Не дать ли вам еще опиума? Риккардо говорил, что можно принять, если боли очень усилятся.

— Нет, благодарю. Я еще могу терпеть. Потом может быть хуже...

Мартини пожал плечами и сел у кровати. Около часа, показавшегося ему бесконечным, просидел он, наблюдая за больным; потом встал и принес опиум.

— Риварес, нельзя, чтобы так шло дальше. Если вы еще можете терпеть, то я не могу. Надо принять лекарство.

Не говоря ни слова, Овод принял опиум. Потом отвернулся и закрыл глаза. Мартини снова сел. Дыхание больного постепенно становилось глубже и ровнее.

Овод был так измучен, что спал долго, не просыпаясь. Час проходил за часом, а он не шевелился. Мартини подходил к нему несколько раз и вглядывался в неподвижную фигуру, — кроме дыхания, в ней не было никаких признаков жизни. Лицо было так мертвенно-бледно, что на Мартини напал страх. Что, если он дал ему слишком много опиума? Изуродованная левая рука Овода лежала поверх одеяла, и Мартини осторожно встряхнул ее, думая его разбудить. При этом расстегнутый рукав сдвинулся, и по всей руке, от кисти до локтя, открылся ряд глубоких, страшных шрамов.

— Какой ужасный вид должна была иметь эта рука, когда все раны были еще свежи! — слышался позади голос Риккардо.

— А, наконец-то вы пришли! Посмотрите, Риккардо, разве так и нужно, чтобы он спал без конца? Я дал ему опиум часов десять тому назад, и с тех пор он не шевельнул ни одним мускулом.

Риккардо наклонился и прислушался к дыханию.

— Ничего, он дышит как следует. Это просто от сильного истощения. После такой ночи к утру приступ может повториться. Кто-нибудь будет ночью при нем, я надеюсь?

— Галли будет дежурить. Он прислал сказать, что придет часов в десять.

— Теперь как раз около десяти... Ага, он просыпается! Заботьтесь, чтобы поскорее подали горячий бульон... Полегче, Риварес! Не надо воевать, я не епископ...

Овод вдруг приподнялся, глядя перед собою испуганными глазами.

— Мне выходить? — спросил он торопливо по-испански. — Займите публику еще минутку без меня. Я... А! Я не узнал вас, Риккардо. — Он оглядел комнату и провел рукой по лбу, как будто сомневаясь в реальности окружающего. — Мартини! Я думал, вы давно ушли! Я, должно быть, спал...

— Да еще как! Точно спящая красавица в сказке! Десять часов кряду! А теперь вам надо поесть бульону и заснуть опять.

— Десять часов! Мартини, неужели вы были здесь все время?

— Да. Я начинал уже бояться, не угостил ли я вас чересчур большой дозой опиума.

Овод лукаво взглянул на него:

— Видно, не повезло вам на этот раз. А ведь умри я — куда глаже пошли бы ваши комитетские заседания! Но какого черта вы возитесь со мной, Риккардо? Ради бога, оставьте меня в покое, — что вам стоит? Терпеть не могу докторов.

— Хорошо, вот выпейте только это, и я оставлю вас в покое. Через день-два я все-таки найду и произведу осмотр. Я думаю, что кризис миновал: вы уже не так напоминаете теперь призрака смерти, явившийся на пир.

— О, я скоро буду совсем молодцом, благодарю вас... Кто это? Галли? Сегодня у меня, кажется, собрание всех граций...

— Я пришел сидеть у вас эту ночь.

— Глупости. Нет никакой надобности караулить меня. Идите все по домам. Если даже приступ повторится, вы все равно не поможете: я отказываюсь принимать опиум дальше. Это хорошо один раз...

— К сожалению, вы правы, — сказал Риккардо. — Но не всегда легко проводить на практике это правило.

Овод посмотрел на него и улыбнулся:

— Не бойтесь. Если б я на это шел, я давно бы сделал это.

— Во всяком случае, мы вас одного не оставим, — сухо ответил Риккардо. — Пройдемте, Галли, на минуту в другую комнату: мне надо с вами поговорить. Покойной ночи, Риварес! Я загляну завтра.

Риккардо ушел, а Мартини остался в соседней комнате поговорить с Галли. Выходя потом через парадную дверь, он слышал, как к калитке сада подъехала карета, и вслед за тем увидел, что из нее вышла женская фигура и пошла по садовой дорожке к дому. Это была Зитта. Вероятно, она возвращалась с какого-нибудь вечера. Он приподнял шляпу и посторонился, чтобы дать ей дорогу, а потом пошел по темному переулку, выходявшему на Поджио империале. Но не прошло и минуты, как снова щелкнула задвижка у калитки, и вдогонку за ним зачастили чьи-то торопливые шаги.

— Подождите минутку! — послышался голос Зитты.

Как только он обернулся, она остановилась и взялась рукой за изгородь; потом, перебирая пальцами по решетке, медленно пошла к нему. При слабом свете единственного фонаря в конце улицы он увидел, что она идет, опустив голову, словно стесняясь или стыдясь чего-то.

— В каком он состоянии? — спросила она, не подымая глаз.

— Гораздо лучше, чем утром. Он спал почти весь день, и вид у него не такой истощенный. Приступ, кажется, кончился.

— Ему очень плохо было?

— Так плохо, что хуже, кажется, и не бывает.

— Я так и думала. Когда он не позволяет мне приходиться, это всегда значит, что ему очень плохо.

— А часто у него бывают такие приступы?

— Как вам сказать?.. Это бывает очень нерегулярно. Летом, в Швейцарии, он был все время здоров, но в зиму перед тем, — мы жили тогда в Вене, — было что-то ужасное. Он не пускал меня к себе по целым дням. Он не выносит моего общества, когда бывает болен. Всякий раз, когда он чувствовал приближение приступа, он отсылал меня на бал, или в концерт, или еще куда-нибудь под тем или другим предлогом, а сам запирался на ключ. Я, бывало, украдкой проберусь к его комнате и сижу под дверью — иной раз весь день. Он страшно рассердился бы, если б узнал об этом. Он скорее впустил бы собаку, если б она стала выть, но только не меня.

Она говорила странным, угрюмым, обиженным тоном.

— Я надеюсь, теперь ему уже не будет так плохо, — сказал Мартини мягко. — Доктор Риккардо серьезно взялся за дело. Может быть, ему удастся даже добиться полного излечения. Во всяком случае, временного облегчения всегда можно достигнуть. Жаль, что вы сразу не послали за ним. Больной гораздо меньше страдал бы, если б мы раньше пришли. Добрый вечер!

Он протянул ей руку, но она быстро отшатнулась:

— Я знаю, что у вас нет никакого желания пожимать руку его любовнице.

— Как вам угодно, — проговорил Мартини, смутившись.

Она топнула ногой.

— Я ненавижу вас! — вскрикнула она, и глаза ее сверкнули, как горящие угли. — Ненавижу вас всех! Вы приходите к нему говорить о политике, и он позволяет вам просиживать у него целые ночи и подавать ему лекарства, а я не смею даже заглянуть через дверь!.. Что он для вас? По какому праву вы отнимаете его у меня? Я ненавижу вас, ненавижу!.. Ненавижу!

Она разразилась бурными рыданиями и, побежав в сад, с силой захлопнула за собой калитку.

«Вот так история! — думал Мартини, продолжая свой путь по темному переулку. — Эта женщина не на шутку любит его. Как странно!..»

Глава VIII

Овод быстро поправлялся. На следующей же неделе Риккардо в одно из своих посещений застал его уже не в постели, а на кушетке, в турецком халате. Тут были Мартини и Галли. Большой выразил было желание выйти на воздух, но Риккардо только рассмеялся и спросил, не лучше ли уже сразу предпринять прогулку по долине до Фьезоле.

— Или, быть может, пойдете нанести визит Грассини, — прибавил он, дразня больного. — Я уверен, что мадам Грассини будет в восторге, особенно теперь, когда у вас такой бледный и томный вид.

Овод трагически всплеснул руками:

— Господа, да я об этом и не подумал. Она примет меня за итальянского мученика и будет говорить о патриотизме. Мне придется войти в роль и рассказать ей, что меня изрубили на куски в подземной тюрьме и довольно плохо потом склеили. Ей захочется узнать в точности, что я при этом чувствовал. Вы думаете, что она не поверила бы, Риккардо? Бьюсь об заклад, что ее можно убедить в какой угодно небылице. Принимаете пари? Если я проиграю — даю вам свой индийский кинжал, от вас же потребую солитера в спирту из вашего кабинета.

— Спасибо, я не люблю смертоносного оружия.

— Солитер также убивает, только он далеко не так красив.

— Во всяком случае, друг мой, мне кинжал не нужен, а нужен солитер. Однако мне некогда... Мартини, на вашем попечении остается наш неугомонный пациент?

— Да. Но только до трех часов. Мы едем с Галли в Сан-Миниато, и, пока меня не будет, здесь посидит синьора Болла.

— Синьора Болла! — повторил Овод с тревогой. — Нет, Мартини, я не согласен. Я не могу допустить, чтобы дама возилась со мной и с моими болезнями. Да и где мне ее принимать? Ей будет неприятно в таком беспорядке.

— Давно ли это вы стали соблюдать этикет? — спросил, смеясь, Риккардо. — Синьора Болла — наша главная сиделка. Еще тогда, когда она ходила в коротеньких платицах, она уже ухаживала за больными, и она делает это лучше всякой сестры милосердия. Ей неприятно будет в таком беспорядке? Да вы, может быть, говорите о господах Грассини?.. Так, значит, Мартини, синьора Болла придет? Ну, для нее не надо никаких указаний... Однако уже половина третьего: мне пора.

— Ну, Риварес, примите-ка лекарство, — сказал Галли, подходя к нему со стаканом.

Овод был в таком периоде выздоровления, когда больные бывают особенно раздражительны, и доставлял много хлопот своим усердным сиделкам.

— Зачем вы пичкаете меня всякой дрянью, когда боли прошли?

— Именно затем, чтобы они не возобновились. Или вы хотите дождаться нового приступа к тому времени, когда придет синьора Болла, чтобы ей пришлось возиться с вами и давать вам опиум?

— М-милостивый государь! Если боли должны возобновиться, они возобновятся. Это не зубная боль, которую можно облегчить вашими микстурами. От них столько же пользы, как от игрушечного насоса на пожаре. Ну, так и быть, я не буду вам мешать: делайте свое дело.

Он взял стакан левой рукой. Вид шрамов на этой руке напомнил Галли о бывшем у них перед тем разговоре.

— Да, кстати,— спросил он,— где вы получили все эти раны? На войне, вероятно?

— Разве я только что не говорил вам, что меня посадили в мрачное подземелье и...

— Знаю. Но это вариант для развлечения синьоры Грассини... Нет, в самом деле: это в бразильскую войну?

— Да, частью на войне, частью на охоте в диких местах... и здесь и там досталось.

— Ага, это во время научной экспедиции? Бурное это было время в вашей жизни, должно быть?

— Разумеется, в диких странах не проживешь без приключений,— сказал Овод небрежно.— И приключения, надо сознаться, бывают часто не из приятных.

— Я все-таки не представляю себе, как вы ухитрились приобрести столько шрамов... разве только в драке с дикими зверями. Например, все эти шрамы на левой руке.

— А, это было во время охоты на пуму. Я, знаете, встретил... Послышался стук в дверь.

— Все ли прибрано в комнате, Мартини? Да? Так, пожалуйста, откройте... Вы очень, очень добры, синьора... Извините, что я не встаю.

— И незачем вам вставать. Я к вам не с визитом. Я нарочно пришла пораньше, Чезаре; я думала, вам, может быть, надо спешить.

— Нет, у меня еще есть четверть часа времени. Позвольте, я положу ваш плащ в той комнате. Корзинку можно там же?

— Осторожнее, там яйца. Самые свежие: Кэтти принесла их утром из Монте-Оливето. Тут есть и рождественские розы для вас, синьор Риварес. Я знаю, вы очень любите цветы.

Она присела к столу и, обрезав стебли у цветов, поставила их в вазу.

— Так как же, Риварес,— заговорил опять Галли,— вы начали рассказывать про пуму. Как же это было?

— Ах да! Галли расспрашивал меня, синьора, о жизни в Южной Америке, и я начал рассказывать ему, отчего у меня так ободрана рука. Это было в Перу. На охоте за пумой нам пришлось переходить реку вброд, и, когда потом я наткнулся на зверя и выстрелил, ружье дало осечку: порох намок от воды. Понятно, пума не стала дожидаться, пока я исправлю свою оплошность,— и вот результат.

— Нечего сказать, приятное приключение!

— Ну, не так страшно, как кажется. Всего бывало, конечно. Подчас и плохо приходилось, но в общем это была преинтересная жизнь. Охота на змей, например...

И пошел рассказывать анекдот за анекдотом — из аргентинской войны, из бразильской экспедиции, о встречах с дикарями, об охоте на диких зверей. Галли слушал его с увлечением ребенка, которому рассказывают сказку, и то и дело прерывал, требуя новых подробностей. Впечатлительный, как все неаполитанцы, он любил все необычайное. Джемма достала из корзинки вязание и тоже внимательно слушала, проворно шевеля пальцами и не отрывая глаз от работы. Мартини хмурился и беспокойно ерзал на стуле. В тоне всех этих рассказов чувствовались, как ему казалось, хвастливость и самодовольство. Несмотря на невольное преклонение перед человеком, способным переносить сильную физическую боль с таким поразительным мужеством — в чем сам Мартини мог убедиться неделю тому назад,— он не любил Овода: ему не нравилось и то, что тот делал, и как он это делал.

— Вот это так жизнь! — вздохнул Галли с наивной завистью.— Удивляюсь, как вы решились покинуть Бразилию. Какими скучными должны казаться после нее все другие страны!

— Самый счастливый период моей жизни был, пожалуй, в Перу и в Эквадоре,— сказал Овод.— Это действительно роскошная страна. Правда, уж очень жарко, особенно в прибрежной полосе Эквадора, и хочешь не хочешь, а к этому надо привыкнуть. Но богатство и красота природы — выше всякого описания.

— Меня, пожалуй, больше привлекает полная свобода жизни в дикой стране, чем красота природы,— заметил Галли.—

Там человек может действительно сознавать себя личностью, осязательно чувствовать свое человеческое достоинство, — не то, что в наших скучных городах...

— Да, — согласился Овод, — но только...

Джемма отвела глаза от работы и посмотрела на него. Он вдруг сильно покраснел и не кончил фразы.

— Неужели опять начинается приступ? — спросил тревожно Галли.

— О нет, ничего, не стоит обращать внимания... Вы уже уходите, Мартини?

— Да. Идем, Галли, а то мы опоздаем.

Джемма вышла за ними из комнаты и скоро вернулась со стаканом молока, запроваженного яйцом.

— Выпейте это, — сказала она кротко, но авторитетно и снова села за свое вязанье.

Овод смиренно повиновался.

С полчаса оба молчали. Наконец он тихонько окликнул ее:

— Синьора Болла!

Она взглянула на него. Он теребил пальцами край одеяла и не подымал глаз.

— Скажите, вы не поверили тому, что я сейчас рассказывал им?

— Я ни одной минуты не сомневалась, что вы все это выдумали, — спокойно ответила она.

— Вы не ошиблись. Я все время врал.

— И обо всем, что касалось войны?

— Обо всем вообще. Я никогда не участвовал в этой войне. Ну а об экспедиции... Там со мною, правда, бывали приключения, и большая часть тех, которые я рассказал, — действительность. Но раны мои совершенно другого происхождения. Вы поймали меня на одной лжи, так я могу сознаться и во всем остальном.

— Разве не кажется вам совершенно напрасной тратой энергии сочинение таких небылиц? — спросила она. — Помоему, не стоит труда.

— А что же мне было делать? Вы знаете вашу английскую поговорку: «Не задавай вопросов, и тебе не будут лгать». Мне не доставляет ни малейшего удовлетворения дурачить людей, но должен же я как-нибудь ответить, когда меня спрашивают, что сделало меня калекой. Поневоле приходится врать. А уж врать, так врать забавно.

— Так разве вам важнее позабавить Галли или кого-нибудь другого, чем говорить правду?

— Правду... — Он пристально взглянул на нее, держа в руке оторванную бахромку одеяла. — Вы хотите, чтобы я сказал правду этим господам? Да лучше я себе язык отрежу! — Потом, с какой-то странной робостью в голосе, он вдруг порывисто прибавил: — Я еще никому не рассказывал этой правды, но вам, если вы хотите ее знать, расскажу.

Она молча опустила работу на колени. Чувствовалось что-то горькое, наболевшее в этой решимости черствого, скрытного человека излить свою душу перед женщиной, которую он так мало знал и, видимо, недолюбливал.

После долгого молчания она взглянула на него. Прикрыв изувеченной рукой глаза, он сидел, облокотясь о столик, стоявший возле кушетки. Она заметила, что пальцы этой руки были сильно напряжены и что шрам около кисти часто вздрагивал. Она подошла к нему и тихо позвала его по имени. Он весь вздрогнул и поднял голову.

— Я и з-забыл, — заговорил он, заикаясь и как будто оправдываясь. — Я хотел рассказать вам об этом.

— О приключении или... или, — как это назвать, не знаю, — о несчастном случае, когда вы получили раны. Но если вам слишком тяжело об этом вспоминать...

— О чем? О том, как меня отработали? Да, только это был не несчастный случай, а просто — кочерга.

Джемма смотрела на него в полном недоумении. Он откинул волосы со лба — рука заметно дрожала — и, улыбаясь, взглянул на нее:

— Отчего вы не сядете? Пожалуйста, придвиньте себе кресло сами. Я очень жалею, что не могу подать его вам. Знаете, как вспомню об этом случае, невольно думается, вот был бы я драгоценной находкой для Риккардо, если бы пришлось лечить меня тогда. Ведь он, как истый хирург, ужасно любит поломанные кости, а у меня в тот раз было сломано, кажется, все, что только можно сломать, кроме разве шеи.

— И вашего мужества, — мягко вставила Джемма. — Впрочем, может быть, и о нем вам также тяжело вспоминать?

Он покачал головой:

— Нет, мужество мое кое-как было подклеено потом, как и все остальное. Но тогда оно было раздавлено, как фарфоровая чашка. Это-то и есть самое ужасное во всем происшествии... Да, так я начал говорить о кочерге. Это было в Лиме... дайте припомнить... лет тринадцать тому назад. Я говорил уже, что Перу восхитительная страна, если есть на что жить. Но там нет ничего восхитительного для того, кто очутится там

без копейки денег, как было со мной. Я раньше побывал в Аргентине, потом в Чили. Бродил по всей стране, чуть не умирая с голоду, и приехал в Лиму из Вальпараисо, и работал сверхкомплектным рабочим на судне, перевозившем скот. В новом городе мне не удалось найти работы, и я пошел в доки. Они помещаются в Каллао, как вы, может быть, знаете. Во всех портовых городах бывают грязные кварталы, в которых ютятся матросы. Здесь я поступил слугой в один из игорных притонов. Я должен был быть поваром, маркером, прислуживать матросам и их женщинам и многое другое. Занятие не особенно приятное, но я был рад, что нашел хоть такое. По крайней мере, я был сыт, видел человеческие лица, слышал человеческую речь. Что это были за люди — другой вопрос. Вы, может быть, скажете, что я немного выгадал, попав в этот притон. Но как раз перед тем я был болен желтой лихорадкой и долго пролежал в полуразвалившейся лачуге совершенно один, и после того у меня был какой-то ужас перед одиночеством... И вот раз ночью мне велели вытолкать за дверь пьяного матроса, который стал слишком буянить. Он в этот день сошел на берег, проиграл все свои деньги и был сильно не в духе. Я, разумеется, должен был исполнить приказание, иначе мне пришлось бы распротиться с местом и околевать с голоду, но этот человек был вдвое сильнее меня: мне было только двадцать лет, и после лихорадки я был еще слаб, как котенок. К тому же у него в руках была кочерга. — Овод приостановился и взглянул украдкой на Джемму. — Он, вероятно, хотел прикончить меня, но, как настоящий туземный матрос, сделал свою работу настолько нечисто, что, весь изломанный и истерзанный, я все-таки остался жив.

— А что же делали остальные? Отчего не вмешались? Неужели все испугались одного пьяного матроса?

Овод посмотрел на нее и расхохотался:

— Остальные! Хозяева и посетители притона? Ведь это были не люди, а вообще всякий сброд. Я был их слугой, их собственностью. Они стояли кругом и, конечно, наслаждались зрелищем. Там смотрят на подобные вещи как на хороший случай позабавиться. Да оно, пожалуй, и забавно для всех, кроме того, кому пришлось быть объектом потехи.

Джемма содрогнулась:

— Чем же все это кончилось?

— Я не могу сказать, чем это кончилось, ибо в первые дни после такой переделки человек обыкновенно ничего не помнит. Но, как потом оказалось, поблизости был корабельный

врач, и когда зрители убедились, что я не умер, они послали за ним. Он починил меня кое-как. Риккардо находит, что плохо, но, может быть, в нем говорит профессиональная зависть. Как бы то ни было, когда я пришел в сознание, какая-то старуха туземка взяла меня к себе из христианского милосердия, — не правда ли, странно звучит? Помню, как она, бывало, сидит, скорчившись в углу, курит свою черную трубку, сплевывает на пол и бормочет себе под нос. У нее было доброе сердце, и она утешала меня, говоря, что у нее я могу умирать спокойно: никто мне не помешает. Но во мне сильно развит дух сопротивления, и я решил остаться жить. Трудная это была работа — выкарабкиваться из когтей смерти, и теперь мне иной раз приходит в голову, что игра не стоила свеч. Терпение у этой старушки было поразительное. Я пробыл у нее... дай бог памяти... месяца четыре. Все это время я не вставал с постели и то бредил, как сумасшедший, то злился, как медведь, у которого болит ухо. Боль была, правда, очень чувствительна, а я был избалован еще с детства.

— Что же дальше было?

— Дальше... я кое-как поправился и ушел от старухи. Не думайте, что во мне говорила щепетильность, нежелание злоупотреблять гостеприимством бедной женщины. Нет, с этим я уже не считался. Я просто не мог больше выносить этой лапчатки. Вы говорили только что о моем мужестве. Посмотрели бы вы тогда на меня! Приступы боли возобновлялись каждый день к вечеру, когда начинало смеркаться. После полудня я обыкновенно лежал один и с ужасом следил, как солнце опускается все ниже и ниже... О, вам никогда этого не понять! Я и теперь не могу без содрогания видеть солнечный закат...

Он помолчал несколько минут.

— Потом я пошел бродить по стране в надежде найти какую-нибудь работу. Остаться в Лиме я больше не мог. Я сошел бы с ума. Я добрался до Куско, и там... Впрочем, зачем я рассказываю вам всю эту старую историю, в ней нет даже ничего занимательного.

Она подняла голову и посмотрела на него серьезным, глубоким взглядом.

— Не говорите в таком тоне, я очень прошу вас, — сказала она.

— Да стоит ли рассказывать дальше? — спросил он немного погодя.

— Если... если хотите... Боюсь, что эти воспоминания мучительны для вас.

— А вы думаете, они не мучат меня, когда я молчу? Тогда еще хуже. И, знаете, мне мучительно вспоминать не столько о том, что я пережил, сколько о том, что я потерял тогда всякую власть над собой.

— Скажите, если можете,— заговорила она нерешительно,— каким образом вы в двадцать лет оказались заброшенным в такую даль?

— Очень просто. Дома, на родине, передо мной открывались широкие перспективы, но я бросил все и убежал.

— Почему?

Он засмеялся коротким сухим смехом:

— Почему? Должно быть, потому, что я был глупым, самонадеянным мальчишкой. Я рос в очень богатой семье, меня до невозможности баловали, и я вообразил, что весь мир сделан из розовой ваты и засахаренного миндаля. Но в один прекрасный день я узнал, что лучший мой друг, которому я беззаветно верил, обманывал меня... Что с вами? Что вы так вздрогнули?

— Ничего. Продолжайте, пожалуйста.

— Я открыл, что со мной хитрят, желая заставить меня верить неправде. Открытие весьма обыкновенное, конечно, но, как я уже сказал, я был молод и верил, что лжецов ожидает ад. Поэтому я бросил свой дом и уехал в Южную Америку, чтобы либо погибнуть, либо начать новую жизнь. И я начал ее без копейки в кармане, не зная ни слова по-испански, белоручкой, привыкшим жить на всем готовом и ни в чем не нуждаться. В результате я попал в настоящий ад, реальный, и это меня излечило от веры в воображаемый. Я был на самом дне к тому времени, когда явилась экспедиция Дюпре и вытянула меня. Это случилось через пять лет.

— Пять лет! Это ужасно! Разве у вас не было друзей?

— Друзей? — Он повернулся к ней и сказал с раздражением: — У меня никогда не было друзей...

Но через секунду он поспешил прибавить:

— Не понимайте буквально всего, что я говорю. Должен сознаться, что я изобразил свое прошлое в слишком мрачном свете. В действительности первые полтора года были вовсе не так плохи: я был молод, достаточно силен и довольно успешно выходил из затруднений, пока тот матрос не наложил на меня своего клейма. После того я уже не мог найти работы. Остается только удивляться, каким совершенным орудием может быть кочерга в умелых руках. А калеку, понятно, никто не наймет.

— Что же вы делали?

— Что мог. Одно время я был на побегушках у негров, работавших на сахарных плантациях. Но надсмотрщики всегда прогоняли меня. Из-за хромоты я не мог двигаться быстро да и больших тяжестей поднимать не мог. А кроме того, у меня то и дело повторялись приступы моего воспаления — или как там нужно называть эту проклятую болезнь... С плантациями я перекочевал на серебряные рудники в надежде получить работу там... Но и это не привело ни к чему: управляющие смеялись, а рабочие буквально травили меня.

— За что?

— Такова уж человеческая натура, должно быть. Они видели, что мне приходится отбиваться только одной рукой, и этого было довольно. Наконец я решил отправиться бродяжничать на авось — не подвернется ли что-нибудь.

— Бродяжить? С хромой ногой?

Он вдруг поднял на нее глаза, хотел заговорить и не мог.

— Я... я был голоден, — сказал он наконец с жалкой улыбкой.

Она чуть-чуть отвернула голову и оперлась на руку подбородком.

После нескольких минут молчания он заговорил снова, и, по мере того как он говорил, голос его становился все тише:

— Я бродил и бродил без конца, до того, что у меня стало в голове мутиться, и все-таки ничего не нашел. Я пробрался в Эквадор, но там оказалось еще хуже. Иногда перепадала паяльная работа, — я довольно хороший жестяник, — или какое-нибудь мелкое поручение. Случалось, что меня нанимали вычистить свиной хлев, а иногда... да не стоит перечислять... И вот однажды...

Его тонкая смуглая рука вдруг сжалась в кулак. Она с тревогой взглянула на него. Лицо его было обращено к ней в профиль, и она заметила, как на виске у него билась жила частыми неровными ударами. Она наклонилась к нему и нежно взяла его за руку.

— Не рассказывайте дальше: об этом слишком тяжело вспоминать.

Он нерешительно посмотрел на ее руку, покачал головой и продолжал твердым голосом:

— И вот однажды я наткнулся на бродячий цирк. Помните тот цирк, где мы были с вами? Ну и там был такой же, только еще хуже, еще вульгарнее. Входил в программу, конечно, и бой быков. Труппа расположилась на ночлег возле большой дороги. Я подошел к палатке и попросил милостыню. Погода стояла нестерпимо жаркая. Я изнемогал от голода и упал в об-

морок у входа в палатку. В то время со мной часто случалось, что я вдруг падал в обморок, точно туго зашнурованная в корсет институтка. Меня внесли в палатку, дали мне водки, накормили, а на другое утро предложили мне...

Он приостановился.

— Им нужен был карлик, горбун или вообще какой-нибудь уродец, чтобы было в кого бросать апельсинными корками для увеселения публики. Вы видели горбуна в тот вечер? Вот я и был тем же целых два года. Я научился выделять кое-какие штуки. Но я был еще не совсем изуродован. Это исправили: мне приделали искусственный горб и постарались извлечь все, что было можно, из моей хромой ноги и изувеченной руки. Зрители были там не очень взыскательны: они легко удовлетворялись, лишь бы им дали на истязание живое существо. А шутовской наряд довершил впечатление. Главное затруднение было в том, что я часто бывал болен и в таких случаях не мог выходить на сцену. Случалось, что содержатель труппы, когда он бывал не в духе, требовал, чтобы я все-таки выходил, и, я думаю, в такие вечера публика получала наибольшее удовольствие. Помню, один раз у меня были страшные боли. Я вышел на арену и упал в обморок посреди представления. Когда я пришел в себя, вся публика столпилась вокруг меня, все кричали, гикали, бросали в меня...

— Не надо! Я не могу больше слушать... Довольно, ради бога!

— Черт возьми, какой я идиот! — сказал Овод вполголоса.

Она отошла к окну и стояла несколько минут, не оборачиваясь. Когда она обернулась, он сидел, опять облокотившись на стол и прикрыв глаза руко. Казалось, он забыл о ее присутствии. Она села возле него. После долгого молчания она тихо заговорила:

— Я хочу вас спросить...

— Ну? — сказал он не двигаясь.

— Почему вы не перерезали себе горло?

Он посмотрел на нее с удивлением:

— Я не ожидал от вас такого вопроса. А мое дело?

— Ваше дело?... Да, понимаю! Вы только что говорили о своей трусости. Но если, пройдя через все эти ужасы, вы все-таки не бросили своего дела, вы — самый мужественный человек, какого я встречала.

Он снова прикрыв глаза и, горячо пожав ей руку, удержал ее в своей. Наступило долгое молчание.

Вдруг свежее, чистое сопрано прозвучало снизу из сада, и раздались звуки веселой французской песенки:

Eh, Pierrôt! Danse, Pierrôt!
Danse un peu, mon pauvre Jeannôt!¹

При первых же словах Овод откинулся назад в кресло с глухим стоном. Джемма взяла его за руку и крепко сжала ее, как сжимают руку человека во время тяжелой операции.

Когда песня оборвалась и из сада раздались смех и аплодисменты, он посмотрел на Джемму взглядом раненого животного.

— Да, это Зитта,— сказал он медленно,— с ее друзьями-офицерами. Она хотела прийти в первый вечер до прихода Риккардо. Я бы с ума сошел, если бы она дотронулась до меня.

— Но она ведь не знает,— возразила мягко Джемма,— и даже не может подозревать, что причиняет вам боль.

— Она такая же, как креолки,— ответил он, содрогаясь.— Помните лицо ее в тот вечер, когда мы возились с нищим мальчишкой? Такой вид у всех креолок, когда они смеются.

Новый взрыв хохота раздался из сада. Джемма встала и открыла окно. Зитта стояла посреди дорожки. На голову ее был кокетливо накинут вышитый золотом шарф, и она держала высоко в руке букет фиалок, за обладание которым спорили три молодых кавалериста.

— Мадам Ренни,— сказала Джемма.

Лицо Зитты потемнело.

— Что вам угодно, сударыня? — спросила она, оборачиваясь и поднимая глаза с недоверчивым видом.

— Нельзя ли, чтобы ваши друзья говорили немного тише? Синьор Риварес очень нездоров.

Цыганка бросила фиалки на землю.

— Allez-vous en,— сказала она офицерам,— m'embêtez, messieurs!²

Она вышла из сада на дорогу. Джемма закрыла окно.

— Они ушли,— сказала она, оборачиваясь к Оводу.

— Благодарю вас. Я очень жалею, что беспокоил вас.

— Какое же это беспокойство...

¹ Эй, Пьеро! Танцуй, Пьеро!

Попляши-ка, друг Жанно! (*фр.*)

² Уходите, господа, вы мне надоели! (*фр.*)

Он сразу заметил нерешимость в ее голосе и сказал:

— Вы не кончили своей фразы, синьора Болла. Какое-то «но» осталось в вашем уме.

— Если думать о том, что у людей на уме, нельзя и обижаться, узнав их мысли. Конечно, мне не следует вмешиваться, но я не могу понять...

— Моего отвращения к мадам Ренни?

— Нет, я не понимаю, как вы можете выносить ее общество при таком отвращении. Мне кажется, это оскорбительно для нее как для женщины и как...

— Как для женщины? — Он расхохотался с резкостью в голосе. — Это ее вы называете женщиной?

— Как это некрасиво! — сказала Джемма. — Вы не имеете права говорить о ней так перед кем бы то ни было, в особенности перед другой женщиной.

Он лежал с открытыми глазами, глядя в окно на заходящее солнце. Джемма опустила штору и закрыла ставни, чтобы он не мог видеть заката, потом перешла к столику у другого окна и снова взялась за вязанье.

— Не зажечь ли вам лампу? — спросила она немного погодя.

Он покачал головой.

Когда стемнело настолько, что нельзя было больше вязать, она свернула работу и положила ее в корзинку. Некоторое время она сидела, сложив руки на коленях, и молча смотрела на неподвижную фигуру больного. Тусклый вечерний свет, падая на его лицо, смягчал жестокое, насмешливое, самоуверенное выражение и подчеркивал трагические складки вокруг рта.

По какой-то странной ассоциации мыслей она вспомнила про каменный крест, воздвигнутый ее отцом в память Артура, и надпись на нем: «Все волны и бури прошли надо мной».

Молчание не прерывалось в течение целого часа. Наконец Джемма встала и тихо вышла из комнаты. Возвращаясь назад с зажженной лампой, она приостановилась в дверях, думая, что, может быть, он заснул. Но как только свет лампы ударил ему в глаза, он повернулся.

— Я сварила вам кофе, — сказала она.

— Поставьте его куда-нибудь и, пожалуйста, подойдите ко мне.

Он взял обе ее руки в свои.

— Я думал о ваших словах, — сказал он. — Вы совершенно правы, я завязал некрасивый узел в жизни. Но подумайте, не

всегда встречаешь женщину, которую можешь любить, а я побывал в страшных переделках. Я боюсь...

— Бойтесь?

— Темноты. Иногда я не решаюсь оставаться один ночью. Мне нужно что-нибудь живое, что-нибудь осязательное около меня. Полная тьма, где... Нет, нет, это не то. Это только игрушечный ад. Но дело во внутренней темноте: там нет ни плача, ни скрежета зубов, только молчание... молчание...

Глаза его расширились. Она сидела молча, еле дыша, пока он не заговорил снова:

— Все это вам кажется фантазией, не правда ли? Вы не можете понять меня? Тем лучше для вас. Но я хочу сказать, что, наверное, сошел бы с ума, если бы попробовал жить в одиночестве. Не судите меня слишком строго, я не такое грубое животное, каким, быть может, вам кажусь.

— Я не могу судить вас, — сказала она. — Я не страдала столько, сколько вы. Но я тоже испытала много тяжелого, только в другом роде, и, мне кажется, я даже уверена, что если сделать нечто истинно жестокое и несправедливое только под влиянием страха, то потом наступает тяжелое раскаяние. Но, помимо этого, ваша стойкость удивительна; я на вашем месте совсем бы пала духом, прокляла бы судьбу и умерла.

Он все еще держал ее руки в своих.

— Скажите мне, — заговорил он тихо, — совершили вы хоть раз в жизни жестокое дело?

Она не отвечала, но голова ее поникла, и две крупные слезы упали на его руку.

— Говорите, — зашептал он горячо, сжимая ее руку. — Говорите! Ведь я рассказал вам все о себе.

— Да... один раз, давно, я сделала жестокое дело. Я ужасно поступила с человеком, которого любила больше всех на свете. Руки его сильно дрожали, но он не выпустил ее рук.

— Он был нашим товарищем, — продолжала она, — и я поверила клевете на него, грубой, вопиющей лжи, придуманной полицейским начальством. Я ударила его по лицу, как предателя... В тот же день он утопился. Через два дня я узнала, что он был совершенно невинен... Такое воспоминание, пожалуй, не легче ваших... Я охотно дала бы отрезать себе руку, если бы этим можно было исправить то, что я сделала.

В его глазах сверкнул опасный огонек, какого она раньше никогда у него не замечала.

Он неожиданно наклонился и поцеловал ей руку.

Она отдернула ее в испуге.

— Не надо! — сказала она умоляющим тоном.— Никогда больше не делайте этого. Мне тяжело.

— А разве тому, кого вы убили, не было тяжело?

— Тому, которого я убила... Ах, вот Чезаре у ворот! Мне... мне надо идти.

Когда Мартини вошел в комнату, он застал Овода одного. Около него стояла нетронутая чашка кофе.

Глава IX

Несколько дней спустя Овод вошел в читальный зал общественной библиотеки и спросил собрание проповедей кардинала Монтанелли. Он был еще довольно бледен и хромал сильнее обыкновенного. Риккардо, сидевший за одним из соседних столов, поднял голову и взглянул на него. Риккардо очень любил Овода, но не выносил в нем одной черты — той странной личной злобы, с какой он преследовал своих общественных врагов.

— Вы подготавливаете новое нападение на несчастного кардинала? — спросил он с ноткой досады в голосе.

— Почему это вы, милейший, в-всегда-а приписываете людям з-злые умыслы? Это отнюдь не по-христиански. Я просто готовлю статью о современной теологии для н-новой газеты.

— Какой новой газеты? — Риккардо недовольно сдвинул брови.

То, что вместе с ожидаемым новым законом о печати оппозиция готовилась удивить город изданием новой радикальной газеты, стало уже секретом полишинеля, однако формально это был все еще секрет.

— Она будет, конечно, называться или «Шарлатаном», или «Церковным календарем».

— Тише, Риварес. Мы мешаем другим читающим.

— Ну так вернитесь к своей медицине и предоставьте мне заниматься теологией. Я не мешаю вам выправлять сломанные кости, хотя знаю о них гораздо больше, чем вы.

И с сосредоточенным видом Овод погрузился в чтение проповедей. Один из библиотекарей подошел к нему.

— Синьор Риварес, вы были, если не ошибаюсь, членом экспедиции Дюпре, исследовавшей притоки Амазонки? Не будете ли добры дать нам кое-какие справки о ней? Одна дама спрашивала отчеты этой экспедиции, а они как раз у переплетчика!

— Какие сведения ей нужны?

— Ей нужны только год отправки экспедиции и год, когда она проходила через Эквадор.

— Экспедиция покинула Париж осенью тридцать седьмого года и прошла через Квито в апреле следующего. Мы провели три года в Бразилии, потом спустились к Рио и вернулись в Париж летом сорок первого. Не нужны ли этой даме даты отдельных открытий?

— Нет, спасибо. Это все, что ей требуется. Я записал годы. Беппо, отнесите, пожалуйста, этот листок синьоре Болле. Еще раз благодарю вас, синьор Риварес. Простите, что потревожил.

Овод откинулся на спинку стула, и брови его поднялись в недоумении. Зачем ей понадобились эти даты? Зачем ей знать год, когда экспедиция проходила через Эквадор?..

Джемма ушла домой с полученной справкой. Апрель 1838 года, а Артур умер в мае 1833-го. Пять лет...

Пять лет... И потом он говорил о роскошном доме, где он жил, и о ком-то, кому он верил и кто его обманул... обманул его, и обман открылся...

Она остановилась и заломила руки над головой. О нет, это чистое безумие!.. Нет, это невозможно, это бессмысленно... А между тем как тщательно обыскали они тогда всю гавань!

Пять лет... И ему не было еще двадцати одного, когда тот матрос... Значит, ему должно было быть девятнадцать, когда он убежал из дому. Ведь он сказал: «полтора года...» И откуда у него эти голубые глаза и эти непрерывные движения пальцев? И отчего он так озлоблен против Монтанелли? Пять лет... пять лет...

Если бы только знать наверняка, что он утонул, если бы она в то время видела его труп!.. О, тогда эта старая рана, вероятно, зажила бы наконец и старое воспоминание перестало бы так мучить ее. И лет через двадцать она привыкла бы, может быть, смотреть без ужаса в прошлое.

Вся ее юность была отравлена мыслью об этом поступке. День за днем, год за годом упорно боролась она с демоническим раскаянием. Она не переставала твердить себе, что работа ее — в будущем, не переставала закрывать глаза и уши перед страшным призраком прошлого. Но изо дня в день, из года в год преследовал ее образ утопленника, уносимого морским приливом. И неутомимо поднимался в сердце ее крик: «Артур погиб! Я убила его!» Порою ей казалось, что бремя слишком тяжело, что у нее нет сил нести его дальше.

И, однако, она отдала бы теперь половину своей жизни, чтобы снова почувствовать это бремя. Мысль, что она убила его, сделалась для нее уже привычным страданием; она слишком долго изнемогала под тяжестью этой мысли, чтобы упасть под ней теперь. Но если она толкнула его не в воду, а в... Она опустилась на стул и закрыла лицо руками. И подумать, что вся жизнь ее была омрачена призраком его смерти! О, если бы она толкнула его только на смерть, а не на что-нибудь более страшное...

Медленно и безжалостно прошла она мыслью шаг за шагом через весь ад его прошлой жизни. И так ярко рисовался он ее воображению, словно она видела и испытывала все это сама: беспомощность человеческой души, пережитое надругательство, худшее, чем смерть, ужас одиночества и длительную агонию, вечно и безостановочно подтачивающую его жизнь. Так ясно видела она эту грязную индейскую хижину, как будто сама была там с ним. И казалось ей: она страдала вместе с ним на серебряных рудниках, на кофейных плантациях, в отвратительном бродячем цирке.

Бродячий цирк... Нет, она должна изгладить из памяти хоть этот образ; ведь можно потерять рассудок, если все сидеть и думать об этом.

Она выдвинула небольшой ящик письменного стола. Там у нее хранилось несколько реликвий личного характера, которые она не могла заставить себя уничтожить. Она не любила хранить сентиментальные безделушки, но некоторые вещицы она все-таки берегла как воспоминания: это была уступка той слабой стороне ее «я», которую она всегда так упорно подавляла в себе.

Она стала вынимать их из ящика одну за другой: первое письмо Джованни к ней, цветы, которые лежали в его мертвой руке, локон волос ее ребенка, увядший лист с могилы ее отца. На дне ящика лежала миниатюра Артура, когда ему было десять лет, — единственный существовавший портрет.

Она опустилась на стул, держа портрет в руках, и глядела на прекрасную детскую головку до тех пор, пока образ настоящего Артура снова не встал перед ней. Как ясно она видела теперь его лицо! Тонкие, нервные губы, большие серьезные глаза, ангельская чистота выражения — все это так запечатлелось в ее памяти, как будто он умер вчера. И из глаз ее медленно потекли слепящие слезы и скрыли от нее портрет.

О, как могла ей прийти в голову подобная мысль! Разве не святотатство представить себе эту светлую далекую душу свя-

занной с грязью и скорбью жизни? В тысячу раз было бы лучше, чтобы он перешел в небытие, чем остался жить и превратился в Овода,— Овода с его безукоризненными галстуками, сомнительными остроумиями и язвительным языком! Нет, нет! Это лишь отвратительная и бессмысленная фантазия: она расстроила себя праздными выдумками — Артур мертв!

— Могу я войти? — спросил мягкий голос у двери.

Она вздрогнула так сильно, что портрет выпал из ее рук. Овод прошел, хромя, через комнату, поднял его и подал ей.

— Как вы меня испугали! — сказала она.

— П-простите, пожалуйста. Быть может, я вам мешаю?

— О нет, я только перебирала разные старые вещи.

С минуту она колебалась, потом протянула ему миниатюру:

— Что вы скажете об этой головке?

И пока он смотрел на портрет, она следила за его лицом так напряженно, точно вся ее жизнь зависела от выражения этого лица. Но она не прочла на нем ответа на мучивший ее вопрос — ничего, кроме объективного интереса к портрету.

— Трудную вы мне задали задачу,— сказал он.— Портрет выцвел, а детские лица вообще читать нелегко. Но думается мне, что взрослый человек, в которого превратится этот ребенок, будет несчастлив. И самое разумное, что может сделать этот мальчишка,— это воздержаться от превращения во взрослого.

— Почему?

— Посмотрите на линию нижней губы. Для этого рода натур страдание есть страдание, а неправда — неправда. В этом мире нет места для таких людей. Здесь нужны люди, которые умеют сосредоточиваться только на своем деле.

— Портрет не похож ни на кого, кого бы вы знали?

Он пристальнее взглянул на портрет:

— Да. Как странно!.. Да, конечно, очень похож.

— На кого?

— На к-кардинала Монтанелли. Быть может, у его безупречного преосвященства имеется племянник? Позвольте полюбопытствовать, кто это?

— Это детский портрет друга, о котором я вам недавно говорила.

— Того, которого вы убили?

Она невольно вздрогнула. Как легко и с какой жестокостью произнес он это ужасное слово!

— Да, того, кого я убила... если он действительно умер.

— Если?..

Она не спускала глаз с его лица.

— Иногда я в этом сомневаюсь. Тела ведь так и не нашли. Он, быть может, как и вы, убежал из дому и уехал в Южную Америку.

— Будем надеяться, что нет. В свое время я немало ср-р-ражался и не одного, быть может, человека отправил в царство теней, но, если бы на моей совести лежала отправка какого-нибудь живого существа в Южную Америку, я дурно бы спал, уверяю вас.

Она стиснула руки, стараясь подавить свое волнение.

— Значит, вы думаете,— прервала она, подходя к нему,— что, если бы он не утонул... если бы он вместо того пережил то, что пережили вы, он никогда не вернулся бы домой и не предал прошлое забвению? Думаете вы, что он никогда не забыл бы? Помните, что и мне это многого стоило! Смотрите!

Она откинула со лба тяжелые пряди волос. Меж черных локонов проступала широкая белая полоса. Наступило долгое молчание.

— Я думаю,— сказал медленно Овод,— что мертвым лучше оставаться мертвыми. Забыть — дело трудное. И будь я на месте вашего мертвого друга, я продолжал бы ос-с-ставаться мертвым.

Джемма положила портрет обратно в ящик и заперла его.

— Я пришел, чтобы поговорить с вами об одном небольшом деле,— если возможно, частным образом. Насчет одного плана, сложившегося в моей голове.

Она придвинула стул к столу и села.

— Что вы думаете о проектируемом законе о печати?

— Что я о нем думаю? Я думаю, что проку от него будет мало, но лучше полкаравая, чем совсем ничего.

— Несомненно. Вы, следовательно, собираетесь работать в одной из новых газет, которые господа либералы хотят издавать здесь?

— Да, я думала этим заняться. Всегда бывает так много практической работы при выпуске новой газеты: типография, организация, распространение и...

— Долго ли еще будете вы напрасно губить таким образом свои духовные силы?

— Почему губить?

— Потому что иначе этого назвать нельзя. Ведь вы очень хорошо знаете, что голова у вас гораздо светлее, чем у большинства мужчин, с которыми вы работаете, а вы, держа в своих руках все дело, позволяете им превращать вас в какую-то невольницу, исполняющую всю черную работу. В умственном отношении Грассини и Галли просто школьники в сравнении

с вами, а вы сидите и правите еще их корректуры, как какой-нибудь заправский корректор.

— Во-первых, я не все свое время трачу на чтение корректур, а во-вторых, вы, мне кажется, сильно преувеличиваете мои дарования.

— Я думаю, что у вас хороший и здоровый ум, а это очень важно. На этих томительных комитетских собраниях вы всегда обнаруживаете слабые стороны логики всех их участников.

— Я вполне довольна своим положением. Работа, которую я исполняю, не бог весть как важна, но ведь всякий делает что может.

— Синьора Болла, мы с вами зашли чересчур далеко, чтобы забавляться игрой в комплименты и в скромничанье. Ответьте мне прямо: не считаете ли вы, что вы тратите вашу мозговую работу на вещи, которые могли бы быть сделаны людьми, стоящими гораздо ниже вас по уму?

— Ну, если вы уж так настаиваете на ответе, то, пожалуй, это до известной степени верно.

— Так почему же вы допускаете это?

— Потому что я тут бессильна.

— Бессильны? Отчего?

Она взглянула на него с упреком:

— Это нехорошо... так настойчиво требовать ответа.

— А все-таки вы мне скажите отчего?

— Ну, хорошо. Если я уж должна вам ответить, то... оттого, что вся моя жизнь разбита. У меня нет энергии взяться теперь за что-нибудь настоящее. Я гожусь только на должность революционной клячи, на партийную черную работу. Ее я, по крайней мере, исполняю добросовестно, а она должна быть сделана кем-нибудь.

— Да. Разумеется, она должна быть кем-нибудь сделана, но не вечно одним и тем же работником.

— Но ведь эта работа — почти все, на что я способна.

Он посмотрел на нее странным, непроницаемым взглядом из-под полуопущенных век. Она подняла голову.

— Мы возвращаемся к прежней теме, а ведь у нас должен быть деловой разговор. Бесполезно, уверяю вас, говорить со мной о работе, которую я могла бы делать. Я уже ее не сделаю теперь. Но, быть может, я могу помочь вам обдумать ваш план. В чем он состоит?

— Вы начинаете с заявления, что бесполезно предлагать вам работу, а потом спрашиваете, что я предлагаю. Мой план требует, чтобы вы помогли мне действием, а не только мыслью.

— Расскажите мне, в чем дело, а потом поговорим.

— Скажите сначала, слышали ли вы что-нибудь о планах восстания в Венеции?

— Я только и слышу, что о планах восстания, о заговорах санфедистов. Со времени амнистии только об этом и говорят. Боюсь, что я одинаково скептически отношусь и к тому и к другому.

— Я тоже, в большинстве случаев. Но я говорю о серьезных приготовлениях к восстанию против австрийцев. Вся провинция готовится к нему. В Папской области молодежь тайно готовится перейти границу и пристать к восставшим в качестве добровольцев... Мне сообщают друзья из Романьи...

— Скажите,— прервала она,— вы вполне уверены, что этим вашим друзьям можно доверять?

— Вполне. Я знаю их лично и работал с ними.

— Иначе говоря, они члены той же организации, что и вы? Простите же мне мой скептицизм, но я всегда немного сомневаюсь в точности сведений, получаемых от подпольных организаций. Мне кажется, что привычка...

— Кто вам сказал, что я член какой-нибудь организации? — спросил он резким тоном.

— Никто, я сама догадалась.

— А-а! — Он откинулся на спинку стула и посмотрел на нее, нахмурившись.— Вы всегда угадываете частные дела людей, с которыми имеете дело? — спросил он после минутной паузы.

— Очень часто. Я довольно наблюдательна и привыкла устанавливать связь между фактами. Говорю вам это, чтобы вы были осторожны со мной, когда не хотите, чтобы я что-нибудь знала.

— Я ничего не имею против того, чтобы вы знали, лишь бы дальше не шло. Надеюсь, что эта ваша догадка не...

Она подняла голову с жестом удивления, почти оскорбления.

— Полагаю, что это вопрос совершенно излишний! — вырвалось у нее.

— Я, конечно, знаю, что вы ничего не станете говорить посторонним, но членам партии, быть может...

— Партия имеет дело с фактами, а не с моими личными догадками и фантазиями. Само собою разумеется, что я никогда ни с кем об этом не говорила.

— Благодарю вас. Вы, быть может, угадали и то, к какой организации я принадлежу?

— Я надеюсь,— да не оскорбит вас моя откровенность, вы ведь сами начали наш разговор,— я искренне надеюсь, что это не «Ножовщики».

— Почему вы на это надеетесь?

— Потому что вы годны на нечто лучшее.

— Мы всегда годимся на лучшие дела, чем те, что мы делаем. Возвращаю вам ваш же ответ. Я, впрочем, состою членом организации не «Ножовщиков», а «Красных поясов». Эти более выдержанны и серьезнее относятся к своему делу.

— Под делом вы подразумеваете резню?

— И ее, между прочим. Ножи в своем роде очень полезная вещь, но это лишь тогда, когда в основе всего дела лежит хорошо организованная пропаганда. В этом-то я и расхожусь с «Ножовщиками». Они думают, что нож может устранить все неприятности этого мира, и сильно ошибаются: он может устранить немалое количество их, но не все.

— Неужели вы серьезно верите, что ножом можно что-нибудь уладить?

Он с удивлением посмотрел на нее.

— Конечно,— продолжала она,— ножом можно устранить для данного момента какое-нибудь практическое препятствие в лице умного шпиона или негодяя-чиновника; но не создадутся ли таким путем новые условия, которые окажутся хуже старых,— это еще вопрос. Каждое новое убийство только еще больше развращает полицию, а народ еще больше приучает к насилию и жестокости; и новое положение вещей оказывается, таким образом, менее выгодным для общества, чем старое.

— А что же, по-вашему, будет во время революции? Неужели вы думаете, что народу и тогда не придется привыкать к насилию? Война — так война.

— Да, но открытая революция — дело другое. Она — только один момент в жизни народа, и этот момент — цена, которую мы платим за наше грядущее счастье. Конечно, будут твориться страшные вещи: они неизбежны во всякой революции. Но это будут отдельные факты — исключительные подробности исключительного момента. Конечно, если, по-вашему, цель работы революционера заключается в том, чтобы вырвать у правительства некоторые определенные уступки, то тайная организация и нож должны казаться вам лучшими орудиями борьбы: ничего так не боятся правительства всех стран! Но вам придется иначе приступить к делу, если вы думаете, как и я, что справиться с правительством — это еще само по себе не цель, а только средство, ведущее к цели, и что

главная наша цель — изменить отношение человека к человеку. Приучая невежественных людей к виду крови, вы не поднимаете ценности человеческой жизни.

— А ценности религии?

— Не понимаю.

Он улыбнулся:

— Мы с вами разных мнений насчет того, где корень всего зла. Для вас он в недооценке человеческой жизни.

— Вернее, в непонимании святости человеческой личности.

— Выбирайте любую формулу. Для меня же главная причина наших злоключений и ошибок — это умственная болезнь, именуемая религией.

— Вы имеете в виду какую-нибудь одну определенную религию?

— О нет! Это лишь вопрос чисто внешних признаков. Сама болезнь проявляется в религиозном направлении ума, в настоятельной потребности создать себе фетиш* и обоготворять его, пасть ниц и преклониться перед чем-нибудь. Вы, конечно, со мной не согласны. Вы глубоко ошибаетесь, думая, что я из тех, кто смотрит на убийство лишь как на способ устранения негодяев и чиновников. Для меня оно прежде всего средство — и притом, по-моему, наилучшее — подрывать авторитет церкви и приучать народ смотреть на агентов ее как на всяких других паразитов.

— А если вы добьетесь этого, если разбудите дикого зверя, дремлющего в глубине народной души, и натравите его на церковь...

— Тогда я найду работу, ради которой стоит жить.

— И об этой-то работе вы говорили несколько дней тому назад?

— Да, об этой.

Она вздрогнула и отвернулась.

— Вы разочаровались во мне? — сказал он.

— Нет, это не то. Я... мне кажется, я немного боюсь вас.

Через минуту она снова повернулась к нему и сказала своим обыкновенным деловым тоном:

— Это бесполезный спор. Наши точки зрения слишком расходятся. Что касается меня, то я верю в пропаганду, пропаганду и еще раз пропаганду, и в открытое восстание, когда оно возможно.

— Так вернемся же к вопросу о моем плане: он касается отчасти пропаганды, но главным образом — восстания.

— В самом деле?

— Я уже сказал, что из Романыи идет много волонтеров поддержать венецианцев. Мы еще не знаем, как скоро вспыхнет восстание. Быть может, оно оттянется до осени или зимы. Но волонтеры летом должны быть вооружены и готовы в путь, чтобы быть в состоянии двинуться к равнинам, как только за ними пришлют. Я взялся переправить им в Папскую область огнестрельное оружие и амуницию контрабандным путем...

— погодите минутку. Как можете вы работать с этой публикой? Революционеры Венеции и Ломбардии стоят все за нового Папу. Они принимаются за либеральные реформы, идя рука об руку с прогрессивным церковным движением. Как можете вы — не допускающий компромиссов антиклерикал — уживаться с ними?

Он пожал плечами:

— Что мне до того, если они забавляются тряпичной куклой? Лишь бы они исполняли свою работу! Да, конечно, они выставят фигуру Папы на носу своего корабля. Но какое мне до этого дело, если им волей-неволей придется свернуть на путь восстания? Всякая палка годна на собаку, и всякий боевой клич хорош, если им можно натравить народ на австрийцев.

— Какого же рода работы вы ждете от меня?

— Главным образом помочь мне переправить оружие через границу.

— Но как могу я это сделать?

— Именно вы-то и можете это сделать лучше всех остальных. Я собираюсь закупить оружие в Англии, и предстоит немало затруднений с доставкой. Невозможно везти его ни в один из портов Папской области, придется доставить в Тоскану и переправить оттуда через Апеннины.

— Но тогда у вас будут две границы вместо одной!

— Да, но все другие пути безнадежны; невозможно провезти контрабандой большой транспорт через порт, где почти нет торговли. Если только мы получим наш груз в Тоскане, я берусь перевезти его через папскую границу. Мои товарищи знают каждую тропинку в горах, и у нас нет недостатка в местах, где можно прятать оружие. Транспорт должен прийти морским путем в Ливорно, и в этом-то главное затруднение. У меня нет там связей с контрабандистами, а у вас, вероятно, есть.

— Дайте мне подумать пять минут. Возможно, что я могу быть вам полезна в этой части работы; но прежде чем говорить об этом дальше, я хочу задать вам вопрос: можете вы дать мне слово, что это предприятие не связано с ударом ножа или с каким-нибудь иным видом насилия?

— Разумеется. Само собою ясно, что я не предложил бы вам принять участие в деле, к которому вы относитесь отрицательно.

— Когда же вам нужен окончательный ответ?

— Времени терять не приходится, но могу вам дать два-три дня на размышление.

— Вы свободны в субботу вечером?

— Сейчас соображу... сегодня четверг... да, свободен.

— Ну, так приходите ко мне. Я обдумаю за это время ваше предложение и дам вам окончательный ответ.

В ближайшее воскресенье Джемма послала комитету флорентийского отдела партии Мадзини извещение, что она хочет взяться за специальную политическую работу и поэтому не будет в состоянии исполнять в течение нескольких месяцев работу, за которую она была до сих пор ответственна перед партией.

В комитете это вызвало некоторое удивление, но никто не сделал возражений. Ее знали в партии уже несколько лет как человека, на которого можно положиться, и члены комитета решили, что если синьора Болла предпринимает неожиданный шаг, то имеет на то основательные причины.

Мартини она сказала прямо, что берется помочь Оводу в кое-какой «пограничной работе». Она заранее выговорила себе право быть до известной степени откровенной со своим старым другом.

Они сидели на террасе ее квартиры, глядя на выступавшую вдаль за красными крышами вершину Фьезоле. После долгого молчания Мартини встал и принялся ходить взад и вперед, заложив руки в карманы и посвистывая — обычные у него признаки душевного волнения. Несколько минут она молча глядела на него.

— Чезаре, вам это очень неприятно,— сказала она наконец.— Мне ужасно жаль, что вас это огорчает, но я должна поступать так, как считаю справедливым сама.

— Меня смущает не дело, за которое вы беретесь,— ответил он мрачно.— Я ничего о нем не знаю и думаю, что оно должно быть хорошим, раз вы соглашаетесь принять в нем участие. Но я не доверяю человеку, с которым вы собираетесь работать.

— Вы, вероятно, не понимаете его. Я тоже не понимала, пока не узнала его ближе. Он далек от совершенства, но он гораздо лучше, чем вы думаете.

— Весьма вероятно.

С минуту он молча шагал по террасе, потом вдруг остановился около нее.

— Джемма, откажитесь. Откажитесь, пока не поздно. Не давайте этому человеку втянуть вас в дела, в которых вы потом будете раскаиваться.

— Чезаре, — мягко сказала она, — вы не думаете о том, что говорите. Никто меня ни во что не втягивает. Я пришла к своему решению вполне самостоятельно, дав себе время обдумать все предприятие. Я знаю, что вы недолюбливаете Ривареса как человека; но мы говорим о политической работе, а не о личностях.

— Джемма, откажитесь! Это опасный человек: он скрытен, жесток, не останавливается ни перед чем... и он любит вас.

Она отодвинулась назад.

— Чезаре, как могли вы вообразить такую вещь?

— Он любит вас, — повторил Мартини. — Берегитесь его, Джемма.

— Мой милый Чезаре, я не могу держаться далеко от него и не могу объяснить вам почему. Мы связаны друг с другом, и связь эта создана не нами, и не от нас зависит разорвать ее.

— Если ваша связь так крепка, то мне больше нечего возразить, — ответил Мартини усталым голосом.

Он ушел, сославшись на неотложные дела, и в течение долгих часов шагал по грязным улицам. Мир казался ему очень мрачным в этот вечер.

Глава X

К середине февраля Овод уехал в Ливорно. Джемма познакомилась с жившим там молодым англичанином, пароходным агентом и либералом по воззрениям, с которым она и ее муж были знакомы еще в Англии. Он не раз уже оказывал небольшие услуги флорентийским радикалам: ссужал их деньгами, когда у них наступал непредвиденный кризис, разрешал пользоваться адресом своей фирмы для партийных писем и т. п. Но все это он делал как личный друг Джеммы, и всегда через нее.

Сообразно партийному этикету, она могла, следовательно, пользоваться этой связью для всяких целей по собственному усмотрению. Но могло ли это знакомство пригодиться в данном случае — другой вопрос. Одно дело — попросить сочувствующего партии иностранца дать свой адрес для писем из Сицилии или хранить в несгораемом шкафу его конторы ка-

кие-нибудь документы, и совсем другое — предложить ему перевезти контрабандой транспорт огнестрельного оружия для восстания. Джемма питала очень мало надежды на согласие.

— Вы можете, конечно, попробовать, — сказала она Оводу, — но не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло. Если бы вы пришли к нему с моей рекомендацией, чтобы попросить у него пятьсот скуди*, он, конечно, немедленно дал бы их вам: он человек в высшей степени щедрый. Может быть, он одолжил бы вам свой паспорт, если бы понадобилось, или спрятал бы у себя в погребе какого-нибудь беглеца. Но если вы заговорите с ним о карабинах, он посмотрит на вас с изумлением и примет нас обоих за сумасшедших.

— Но, может быть, он натолкнет меня на другие пути или познакомит с сочувствующими делу матросами, — ответил Овод. — Во всяком случае, следует попытаться.

Однажды, в конце месяца, он пришел к ней одетый менее тщательно, чем обыкновенно, и она сразу увидела по его лицу, что у него есть хорошие новости.

— А, наконец-то! А я уж начала думать, что с вами что-нибудь случилось.

— Я думал, что безопаснее не писать, а раньше вернуться не мог.

— Вы только что приехали?

— Да, я прямо с дороги. Я заглянул к вам только затем, чтобы сообщить, что дело устроено.

— Вы хотите сказать, что Бейли согласился помочь?

— Больше, чем помочь. Он взял на себя все дело: упаковку, транспорт, все решительно. Его компаньон и близкий друг Вильямс соглашается лично наблюдать за отправкой груза из Саутгемптона, и Бейли протащит его через таможню в Ливорно. Поэтому-то я и задержался так долго: Вильямс как раз уезжал в Саутгемптон, и я поехал с ним до Генуи.

— Чтобы обсудить по дороге все детали?

— Да. И мы говорили до тех пор, пока я не начал так сильно страдать от морской болезни, что потерял всякую способность говорить.

— Вы так плохо переносите море? — быстро спросила Джемма, вспомнив, как Артур заболел морской болезнью, когда ее отец повез однажды их обоих кататься на яхте.

— Очень плохо, несмотря на то, что так много путешествовал по морю. Но мы успели поговорить, пока пароход грузили в Генуе. Вы, конечно, знаете Вильямса? Это славный парень, разумный и вообще заслуживающий полного доверия. Бейли

ему в этом отношении не уступает, и оба умеют держать язык за зубами. А теперь расскажу вам все подробно.

Когда Овод вернулся домой, солнце давно зашло и цветущая японская айва, свисающая с садовой стены, выглядела темной в потухающем свете. Он сорвал несколько веток и понес их к себе в комнату. Когда он открыл дверь в кабинет, Зитта поднялась со стула в углу и побежала к нему навстречу.

— О, Феличе, я думала, что вы никогда не вернетесь!

Первым его побуждением было резко спросить ее, зачем она зашла в его кабинет, но, вспомнив, что он не видел ее три недели, он протянул ей руку и сказал несколько холодно:

— Добрый вечер, Зитта. Как поживаешь?

Она приблизила к нему лицо, как бы ожидая поцелуя, но он прошел мимо, сделав вид, что не замечает ее жеста, и взял вазу, чтобы вставить в нее цветы. В ту же минуту дверь широко раскрылась, и громадная собака ворвалась в комнату и стала прыгать вокруг Овода, лая и визжа от радости. Он оставил цветы и стал гладить ее.

— Шайтан, старый дружище, это ты? Ну, вот и я. Дай лапу.

Зитта взглянула на него жестким, сердитым взглядом.

— Хочешь обедать? — спросила она холодно. — Я заказала обед у себя; ты писал, что вернешься сегодня вечером.

Он быстро обернулся к ней:

— О-очень жалею, тебе не следовало ждать меня. Я только немножко оправлюсь и сейчас же приду. М-может быть, ты поставишь эти цветы в воду?

Когда он вошел в столовую Зитты, она стояла у зеркала, прикрепляя ветку цветов к корсажу. Она, очевидно, решила быть веселой и подошла к нему с маленьким пучком красных бутонов в руке.

— Вот бутоньерка. Я прикреплю ее тебе.

Во время обеда он старался изо всех сил быть любезным и поддерживал веселый разговор. Она отвечала ему, счастливо улыбаясь все время. Ее явная радость при виде его несколько смущала Овода. Он привык к мысли, что она ведет отдельное существование среди друзей и знакомых, близких ей по духу; ему никогда не приходило в голову, что она могла скучать по нему. И все-таки она, вероятно, тосковала, судя по тому, как обрадовалась ему.

— Хочешь пить кофе на террасе? — спросила она. — Сегодня такой теплый вечер.

— Хорошо. Я возьму твою гитару: может быть, ты споешь что-нибудь.

Он обыкновенно скептически относился к ее музыке и нечасто просил ее петь.

На террасе была широкая деревянная скамейка вдоль стены. Овод выбрал угол, откуда открывался красивый вид на холмы, и Зитта, взобравшись на выступ стены и поставив ноги на скамейку, прислонилась к колонне, поддерживающей навес. Она не особенно интересовалась живописным видом. Ей было интереснее глядеть на Овода.

— Дай папироску, — сказала она. — Я ни разу не курила со времени твоего отъезда.

— Прекрасная мысль, мне не доставало только папироски для полноты счастья.

Она нагнулась и взглянула на него серьезно:

— Ты в самом деле счастлив?

Лицо Овода прояснилось:

— Почему же нет? Я хорошо пообедал, передо мной теперь с-самый прекрасный вид Европы, скоро будет кофе, и я услышу венгерскую народную песню. Ничто не мучит моей совести, пищеварение у меня в порядке. Чего же еще можно желать?

— Я знаю еще что-то, чего тебе хочется.

— Чего?

— Вот. — Она протянула ему маленькую коробочку.

— Засахаренный миндаль! Почему ты не сказала раньше, до папироски? — спросил он с упреком.

— Почему, ребенок ты этакий! Да ты можешь есть его и после папироски. А вот и кофе.

Овод стал пить маленькими глотками свой кофе и есть засахаренный миндаль с важным и сосредоточенным наслаждением, точно кошка, которая пьет сливки.

— Как приятно напиться поряточного кофе после той радости, которую дают в Ливорно, — сказал он задумчиво.

— Поэтому оставайся лучше всегда дома.

— Некогда... я завтра опять уезжаю.

Улыбка исчезла с ее лица:

— Завтра? Почему? Куда?

— В разные места, по делам.

Он решил в разговоре с Джеммой, что должен сам отправиться в Апеннины, чтобы войти в соглашение с контрабандистами относительно перевозки оружия. Переправа через границу Папской области была чрезвычайно опасной, но необходимой для успеха задуманного предприятия.

— Вечные дела! — сказала Зитта со вздохом и затем спросила: — Ты надолго уезжаешь?

— Нет, на две или, может быть, на три недели.

— Опять по тому делу? — спросила она отрывисто.

— «Тому» делу?

— Тому, из-за которого ты постоянно пытаешься сломать себе шею; все та же вечная политика?

— Да, это имеет некоторое отношение к политике.

Зитта отбросила папироску.

— Ты меня обманываешь теперь, — сказала она. — Тебе грозит опасность.

— Я отправлюсь прямо в ад, — ответил он лениво. — Может быть, у тебя там есть друзья, которым ты хочешь послать веточку плюща, — нечего, однако, обрывать всю зелень.

Она яростно обрывала ползучие растения, обвивавшие колонны, и гневным, резким движением откинула прочь пригоршню листьев.

— Тебе грозит опасность, — повторила она, — и ты не хочешь мне прямо сказать; ты думаешь, что со мной можно только шутить. Тебя еще повесят скоро, и ты не попрощаешься со мной. Эта вечная политика надоела мне.

— Да и м-мне также, — сказал Овод, зевая. — Поговорим лучше о чем-нибудь другом. Или, может быть, ты споешь?

— Хорошо, дай мне гитару. Что мне спеть?

— Балладу о потерянной лошади. Она удивительно подходит к твоему голосу.

Она начала петь старую венгерскую балладу о человеке, который лишается сначала своей лошади, потом своего дома и, наконец, своей возлюбленной и утешает себя тем, что «еще более было потеряно на Могашском поле». Это была любимая песня Овода. Дикость и трагизм мелодии, а также грустная примиренность припева нравились ему более всякой нежной музыки.

Зитта чувствовала себя удивительно в голосе. Звуки выходили из ее уст сильными и ясными, полными страстной жажды счастья. Ей не удавались итальянские или славянские песни, и тем более германские, но венгерские народные песни она пела удивительно хорошо.

Овод слушал ее, широко раскрыв глаза и полуоткрыв рот. Она никогда так хорошо не пела. Но когда она пела последнюю строчку, голос ее вдруг задрожал:

О, все равно — больше было потеряно...

Она оборвала песню, зарыдала и спрятала лицо в зелень плюща.

— Зитта! — Овод встал и взял у нее из рук гитару. — В чем дело?

Она только судорожно рыдала, закрыв лицо обеими руками. Он тронул ее за плечо.

— В чем дело, скажи? — спросил он ласково.

— Оставь меня, — сказала она, рыдая, и отшатнулась от него. — Оставь меня!

Он спокойно вернулся на свое место и подождал, пока она перестала рыдать. Вдруг она опустилась на колени около него и обхватила его руками.

— Феличе, не уезжай, не уезжай!

— Об этом мы потом поговорим, — сказал он, мягко отстраняя обвинившие его руки. — Скажи мне прежде, в чем дело, чего ты испугалась?

Она тихо покачала головой.

— Я чем-нибудь причинил тебе боль?

— Нет. — Она поднесла руку к горлу.

— Ну, так что же?

— Тебя убьют, — сказала она наконец. — Я слыхала, как один из людей, которые к тебе приходят, говорил, что тебе грозит опасность. А когда я спрашиваю, ты все смеешься надо мной.

— Дорогое дитя, — сказал Овод после некоторого молчания. — У тебя какие-то преувеличенные понятия о вещах. Конечно, когда-нибудь меня убьют. Это обычный конец революционеров, но нет никакой причины предполагать, что меня как раз убьют теперь. Я рискую не более всех других.

— Других? Что мне за дело до других? Если бы ты меня любил, ты не уезжал бы таким образом, оставляя меня в тревоге. Я не сплю по ночам, боясь, что тебя арестуют, и во сне мне кажется, что ты убит. Ты обо мне думаешь меньше, чем вот об этой собаке.

Овод встал и медленно прошел к другому концу террасы. Он был совершенно не подготовлен к такой сцене и не знал, что отвечать. Да, Джемма была права: он запутал такой узел благодаря своему легкомыслию, что теперь трудно будет распутать его.

— Сядем и поговорим обо всем этом спокойно, — сказал он, возвращаясь к Зитте. — Мы, кажется, не совсем понимаем друг друга. Конечно, я не смеялся бы, если бы знал, что ты серьезно тревожишься. Объясни, что тебя тревожит, и тогда, если есть какое-нибудь недоразумение, мы его выясним.

— Нечего выяснять, я вижу, что ты меня совсем не любишь.

— Дорогое дитя, будем лучше вполне откровенны друг с другом. Я всегда старался быть честным в наших отношениях и, кажется, никогда не обманывал тебя насчет...

— О нет, ты всегда был совершенно откровенен. Ты никогда не скрывал, что считаешь меня потерянной женщиной, которая доступна была всем другим до тебя... Ты всегда это говорил...

— Зитта, что ты!.. Я никогда не думал ничего подобного, я никогда не говорил...

— Ты никогда не любил меня,— настаивала она капризным тоном.

— Да, я никогда не любил тебя. Но выслушай меня и постарайся не осуждать.

— Я и не осуждаю. Я...

— Подожди минутку. Вот что я хочу сказать. Я не верю ни в какую условную мораль и не исполняю ее предписаний. Я считаю отношения между мужчиной и женщиной вопросом личной приязни или неприязни...

— И денег,— прервала она с резким, отрывистым хохотом. Он нахмурился и остановился на минутку.

— Да, конечно. В этом отвратительная сторона вопроса, но поверь, если бы я заметил, что не нравлюсь тебе, я бы никогда не воспользовался твоим стесненным положением, чтобы иметь тебя около себя; я никогда не поступал таким образом ни с одной женщиной в своей жизни и никогда не лгал ни одной женщине относительно своих чувств к ней; поверь, что я говорю правду.— Он остановился на минуту, но она ничего не отвечала.— Я думал,— продолжал он,— что если человек одинок в жизни, если он чувствует потребность в присутствии женщины около себя и если он может найти женщину, которая ему нравится и которой он тоже внушает доброе чувство, то он имеет право принять с благодарностью расположение этой женщины, не вступая с нею в более прочный союз. Я не вижу в этом ничего дурного, если нет несправедливости, обмана или оскорбления с той или другой стороны. О твоих прежних отношениях к другим мужчинам я не думал. Я только знал, что наша связь не тягостна и что каждый из нас свободен нарушить ее, как только она станет тяжелой. Если я ошибался, если ты иначе на это смотришь, то...

Он опять замолчал.

— То? — прошептала она, не глядя на него.

— То я был несправедлив к тебе, и меня это очень огорчает. Но я сделал это без всякого намерения.

— «Огорчает»? «Без всякого намерения»? Да ты каменный, что ли, Феличе? Неужели ты никогда не любил женщину в своей жизни и не видишь, что я тебя люблю?

Что-то в нем внезапно дрогнуло при этом слове. Так много времени прошло с тех пор, как ему говорили слова «я тебя люблю». Зитта вдруг вскочила и обняла его обеими руками.

— Феличе, уедем вместе со мной, уедем из этой ужасной страны, от этих людей, от политики. Что нам за дело до них? Уедем и будем счастливы. Уедем в Южную Америку, где ты жил прежде.

Физический ужас от воспоминаний вернул Оводу самообладание. Он отнял руки ее от своей шеи и крепко сжал их.

— Зитта, постарайся понять, что я говорю. Я тебя не люблю, а если бы и любил, то и тогда не уехал бы с тобой. У меня в Италии есть дело и товарищи.

— И еще кто-то, кого ты любишь больше, чем меня! — крикнула она с отчаянием. — О, я готова убить тебя! Не о товарищах думаешь ты, а я знаю о ком!

— Тише, — сказал он. — Ты взволнована и воображаешь то, чего нет на самом деле.

— Ты думаешь, что я говорю о синьоре Болле? Меня не так легко обмануть. С нею ты говоришь только о политике. Ты так же мало любишь ее, как и меня. Ты думаешь только о кардинале.

Овод вздрогнул.

— О кардинале? — повторил он машинально.

— Да, о кардинале Монтанелли, который здесь проповедовал осенью. Разве я не видела твоего лица, когда проезжала его коляска? Ты был белый, как этот платок. Да и теперь ты дрожишь как лист, как только я упомянула его имя.

— Ты не знаешь, о чем говоришь. Я ненавижу кардинала. Он мой злейший враг.

— Враг или нет, но ты любишь его более, чем кого-либо на свете. Посмотри мне в лицо и скажи, что это неправда, если можешь.

Он отвернулся и стал смотреть в сад. Она глядела на него украдкой, ужасаясь сама тому, что сделала.

Было что-то странное в его молчании. Наконец она подкралась к нему, как испуганное дитя, и робко потянула его за рукав. Он обернулся к ней.

— Это правда, — сказал он.

Глава XI

— А не могу ли я встретиться с ним где-нибудь в горах? Бризигелла для меня опасное место.

— Каждая пядь земли в Романье опасна для вас; но в данный момент Бризигелла как раз безопаснее всякого другого места.

— Почему?

— Сейчас объясню. Не надо, чтобы этот человек в синей куртке видел ваше лицо: он опасный субъект... Да, буря была ужасная. Давно уж не приходилось видеть виноградники в таком разорении.

Овод вытянул руки на столе и положил на них голову лицом вниз, как человек, изнемогающий от усталости или выпивший слишком много вина. Окинув быстрым взглядом комнату, посетитель в синей куртке увидел двух фермеров, толкующих об урожае за бутылкой вина, да сонного горца, упавшего головой на стол. Таковую картину можно было часто увидеть в кабачках маленьких деревушек вроде Марради. Обладатель синей куртки решил, по-видимому, что сидеть и слушать — не к чему, выпил залпом свое вино и переключился в другую комнату кабака, первую с улицы. Опершись о прилавок и лениво болтая с хозяином о местных делах, он постоял там немного, заглядывая время от времени уголком глаза через полузакрытую дверь в комнату, где сидели за столом три человека. Фермеры продолжали потягивать вино и толковали о погоде на своем местном наречии, а Овод храпел, как человек, совесть которого вполне чиста.

Наконец шпион решил, по-видимому, что в кабачке нет ничего такого, из-за чего стоило бы терять время дальше. Он заплатил, сколько с него приходилось, вышел ленивой походкой из кабака и медленно побрел вдоль узкой улицы.

Овод встал, зевая и потягиваясь, и сонным жестом потер себе глаза рукавом полотняной блузы.

— Недурно у них налажена слежка, — сказал он и, вытащив из кармана складной нож, отрезал им ломоть ржаного хлеба, лежавшего на столе. — Очень они изводили вас за последнее время, Микеле?

— Хуже, чем москиты в августе. Просто ни минуты покоя не дают. Куда ни придешь, всюду вертится шпион. Даже наверху, в горах, куда они когда-то не отваживались соваться, они теперь бродят группами по три-четыре человека. Не

правда ли, Джино? Поэтому-то мы и устроили так, чтобы вы встретились с Доминикино в городе.

— Да, но почему именно в Бризигелле? Пограничный город всегда полон шпионов.

— Бризигелла как раз теперь очень подходящее место. Она полным-полна богомольцами, собравшимися со всех концов страны.

— Но она им совсем не по дороге.

— Она немного в стороне от дороги в Рим, и многие паломники, идущие на Восток, делают небольшой крюк, чтобы послушать там обедню.

— Я не знал, что в Бризигелле есть что-нибудь особенно замечательное.

— Там кардинал. Помните, он приезжал проповедовать во Флоренцию в декабре прошлого года? Так это тот самый кардинал Монтанелли. Говорят, он производит большую сенсацию.

— Весьма вероятно. Я-то не хожу слушать проповеди.

— Да у него, видите ли, репутация святого.

— Как это он себе добыл ее?

— Не знаю. Думаю, такой славой он пользуется потому, что раздает все, что получает, и живет, как приходский священник, на четыреста — пятьсот скуди в год.

— Мало того,— вставил тот, которого называли Джино.— Он отдает не только деньги, но и всю свою жизнь: помогает бедным, смотрит, чтобы за больными был хороший уход, с утра до ночи к нему приходят с просьбами. Я не больше вашего люблю попов, Микеле, но монсеньор Монтанелли не похож на других наших кардиналов.

— Да, он больше смахивает на блаженного, чем на плута! — сказал Микеле.— Но как бы там ни было, а народ от него без ума, и в последнее время у паломников вошло в обычай заходить в Бризигеллу, чтобы получить его благословение. Доминикино думает идти туда разносчиком с корзиной дешевых крестов и четок. Народ любит покупать эти вещи, чтобы потом просить кардинала прикоснуться к ним. А потом они вешают их на шею своим маленьким детям от дурного глаза.

— Подождите минутку. Как же мне идти? В виде паломника? План-то, положим, мне очень н-нравится, но не годится мне показываться в Бризигелле в том же самом виде, как и здесь: это было бы у-уликой против вас, если бы меня арестовали.

— Вас не арестуют: для вас имеется превосходный костюм, с паспортом и всем, что требуется.

— Какой же это костюм?

— Старика богомольца из Испании — раскаявшегося разбойника с гор Сьерры. В прошлом году в Анконе он заболел, и один из наших друзей взял его из сострадания к себе на торговое судно, а потом высадил в Венеции, где у старика были друзья. Он и оставил нам свои бумаги, чтобы чем-нибудь проявить свою благодарность. Они теперь вам как раз пригодятся.

— Раскаявшийся р-разбойник? Как же быть с полицией?

— О, с этой стороны все обстоит благополучно! Он отбыл свой срок каторги несколько лет тому назад и все ходил с тех пор в Иерусалим и в разные святые места, спасая душу. Он убил своего сына по ошибке, вместо кого-то другого, и сам отдался в руки полиции в припадке раскаяния.

— Он совсем уже старик?

— Да, но седой парик и седая борода состарят и вас, а во всех остальных отношениях приметы его идеально подходят к вам.

— Где же я должен встретить Доминикино?

— Вы пристанете к паломникам на перекрестке, который мы укажем вам на карте, и скажете им, что заблудились в горах. Когда вы придете в город, идите вместе с толпой на рыночную площадь, что против дворца кардинала.

— Так он, значит, живет во дворце, несмотря на всю свою святость?

— Он живет в одном крыле дворца, а остальная часть превращена в больницу. Богомольцы будут ждать, чтобы он вышел и дал им свое благословение, а Доминикино появится в эту минуту со своей корзиной и скажет вам: «Вы паломник, отец мой?» И вы ответите ему: «Я жалкий грешник». Тогда он поставит свою корзину наземь и начнет утирать лицо рукавом, а вы предложите ему шесть сольди за четки.

— Тут мы, разумеется, и условимся, где собраться?

— Да, у него будет более чем достаточно времени, чтобы сообщить вам адрес, пока народ будет глазеть на кардинала. Мы придумали такой план; но если он вам не нравится, мы можем предупредить Доминикино и устроить дело иначе.

— Нет, нет, ваш план годится. Смотрите только, чтобы борода и парик были хорошо сделаны.

— Вы паломник, отец мой?

Овод сидел на ступеньках епископского дворца. Седые пряди спутанных волос свешивались ему на лицо. Он поднял голову и произнес условный ответ хриплым дрожащим голосом, с сильным иностранным акцентом. Доминикино спустил

с плеча кожаный ремень и поставил на ступеньку свою корзину с четками и крестами.

Никто в толпе крестьян и богомольцев, сидевших на рыночной площади, не обращал на них внимания, но, осторожности ради, они завели между собой отрывочный разговор. Доминикино говорил на местном диалекте, а Овод на ломаном итальянском с примесью иностранных слов.

— Его преосвященство! Его преосвященство идет! — закричали стоявшие у дверей дворца.

— Сторонитесь! Дорогу его преосвященству!

Овод и Доминикино встали.

— Вот вам, отец,— сказал Доминикино, положив в руку Овода небольшой, завернутый в бумагу образец,— возьмите и это тоже и помолитесь за меня, когда дойдете до Рима.

Овод засунул образец за пазуху и обернулся, чтобы посмотреть на кардинала.

В лиловом великолепном облачении и пунцовой шапке, он стоял на верхней ступеньке и благословлял народ.

Потом он медленно спустился с лестницы, и богомольцы обступили его тесной толпой, стараясь поймать его руку для поцелуя. Многие становились на колени, ликовали край его ряссы и прикладывали к губам.

— Мир да будет с вами, дети мои!

Услышав этот живой, звучный голос, Овод наклонил голову так, что седые волосы упали на лицо: Доминикино увидел, как посох задрожал в руке паломника, и с восторгом заметил: «Какой великолепный актер!»

Женщина, стоявшая поблизости, наклонилась и подняла со ступеньки своего ребенка.

— Пойдем, Чекко,— сказала она,— его преосвященство благословит тебя, как Господь благословил детей.

Овод сделал шаг вперед и остановился. Как жестока жизнь! Все эти чужие люди, все эти издали пришедшие богомольцы и жители окрестных гор могут подходить к нему, говорить с ним... он будет класть свою руку на голову их детей. Может быть, он назовет этого крестьянского мальчика «дорогой», как он когда-то называл его...

Овод снова опустил на ступеньки и отвернулся, чтобы не видеть. О, если бы он мог спрятаться куда-нибудь в уголок и заткнуть уши, чтобы звуки не достигали их! Это было больше, чем могла вынести человеческая душа... быть так близко, так близко от него, что можно протянуть свою руку и дотронуться ею до той дорогой руки...

— Не зайдете ли вы ко мне погреться, друг мой? — сказал мягкий голос. — Мне кажется, что вы продрогли.

Сердце Овода перестало биться. С минуту он ничего не сознавал, кроме болезненного ощущения быстро прихлынувшей к сердцу крови, которая, казалось, разорвет сейчас его грудь; потом она отхлынула назад и щекочущей, горячей волной разлилась по всему телу. Вдруг он почувствовал нежное прикосновение руки Монтанелли к своему плечу.

— Вы пережили большое горе. Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?

Овод молча покачал головой.

— Вы паломник?

— Я жалкий грешник.

Случайное совпадение вопроса Монтанелли с вопросом пароля оказалось спасительной соломинкой, за которую Овод ухватился в отчаянии. Автоматически он дал ответ пароля. Мягкое прикосновение руки кардинала жгло его плечо, и дрожь охватила его тело.

Кардинал еще ниже наклонился над ним.

— Быть может, вы хотите поговорить со мной с глазу на глаз? Если я могу чем-нибудь помочь вам...

Овод наконец решился взглянуть прямо в глаза Монтанелли. Его самообладание возвращалось к нему.

— Это ни к чему не поведет,— сказал он,— горю моему не поможешь.

Из толпы выступил полицейский чиновник.

— Простите мое вмешательство, ваше преосвященство. Я думаю, что старик не совсем в здравом рассудке. Он совершенно безобиден, и бумаги его в порядке, поэтому мы не трогаем его. Он был на каторге за тяжкое преступление, а теперь искупает свою вину покаянием.

— За тяжкое преступление,— повторил Овод, медленно качая головой.

— Спасибо, капитан. Будьте добры, отойдите немного подальше. Всегда, друг мой, можно помочь тому, кто искренне раскаялся. Не зайдете ли ко мне сегодня вечером?

— Захочет ли ваше преосвященство принять человека, который повинен в смерти собственного сына?

Тон вопроса был почти вызывающий. Монтанелли вздрогнул и съежился, словно от холодного ветра.

— Да сохранит меня Бог осудить вас, что бы вы ни сделали! — торжественно сказал он. — В Его глазах мы все одинаковые грешники, а наша праведность подобна грязным лохмотьям. Если вы придете ко мне, я приму вас так, как я молю Его принять меня, когда придет мой час.

Внезапным страстным жестом Овод протянул руку.

— Слушайте! — сказал он. — И вы все тоже слушайте, христиане! Если человек убил своего единственного сына — сына, который любил его и верил ему, был плотью от плоти его и костью от кости его, если ложью и обманом он захлопнул его в капкан, из которого не было иного выхода, кроме смерти, то может ли такой человек надеяться еще на что-либо на земле или на небе? Я покаялся в грехе своем Богу и людям. Я перенес наказание, наложенное на меня людьми, и они отпустили меня с миром. Но когда же скажет мне Господь мой «довольно»? Чье благословение снимет с души моей Его проклятие? Какое отпущение может загладить то, что я сделал?

Наступила мертвая тишина. Собравшиеся молча глядели на Монтанелли, и видно было, как задрожал крест на груди его. Он поднял наконец глаза и благословил народ слегка дрожащей рукой.

— Бог все милостив, — сказал он, — сложи к престолу Его бремя твоей души, ибо сказано: «Сердца разбитого и сокрушенного не отвергай».

Он отвернулся и пошел по площади, останавливаясь на каждом шагу, чтобы поговорить с кем-нибудь или взять на руки ребенка.

Вечером того же дня Овод пошел на квартиру, где должно было быть собрание. Адрес ее он прочел на бумажке, в которую завернут был образок, данный ему Доминикино. Это был дом местного врача — активного члена организации. Большинство заговорщиков было уже в сборе, и восторг, с которым они приветствовали появление Овода, дал ему новое доказательство его популярности как вождя, если только он нуждался еще в новых доказательствах.

— Мы очень рады снова увидеть вас, — сказал ему доктор, — но еще более порадуемся вашему благополучному исчезновению отсюда. Ваш приезд — дело чрезвычайно рискованное, и я лично был против этого плана. Вполне ли вы уверены, что ни одна из полицейских крыс не заметила вас сегодня утром на площади?

— З-заметить-то, конечно, заметили, да не у-узнали. Доминикино все в-великолепно устроил. Где он, кстати?

— Он еще не пришел. Итак, все сошло гладко? Кардинал дал вам благословение?

— Дал благословение? Это бы еще ничего! — раздался у дверей голос Доминикино. — Риварес поражает сюрпризами, словно рождественский пирог. Скольким еще талантам прикажете дивиться в вас?

— В чем дело? — лениво спросил Овод.

— Я и не подозревал, что вы такой великолепный актер. Никогда в жизни не видал я такой чудесной игры. Вы тронули его преосвященство почти до слез.

— Как это было? Расскажите, Риварес.

Овод пожал плечами. Он был в молчаливом настроении духа, и, видя, что от него ничего не добьешься, присутствующие обратились к Доминикино. Все засмеялись, когда он рассказывал сцену, разыгравшуюся утром на рынке. Лишь один молодой рабочий остался серьезным и сказал угрюмым голосом:

— Вы, конечно, мастерски провели свою роль, да только я, право, не вижу, какой кому прок от этого театрального представления.

— А вот какой, — ответил Овод. — Я теперь могу расхаживать свободно по всему округу и делать что мне вздумается, и ни одной живой душе никогда и в голову не придет усомниться в моей личности. Завтра весь город будет знать о сегодняшнем происшествии, и шпион при встрече со мной подумает только: «Это сумасшедший Диго, принесший покаяние в своих грехах на площади». А это мне на руку!

— Да, конечно! Но все-таки нельзя ли было бы добиться этого, не надувая кардинала? Он слишком хороший человек, чтобы устраивать с ним такие штуки.

— Мне самому он показался человеком порядочным, — лениво согласился Овод.

— Глупости, Сандро. Нам здесь кардиналы совсем не нужны, — сказал Доминикино. — И если бы монсеньор Монтанелли принял место в Риме, когда ему представлялся случай к этому, Риварес не надувал бы его.

— Он не принял его потому, что не хотел оставить свое здешнее дело.

— Гораздо вероятнее потому, что не хотел быть отравленным кем-нибудь из агентов Ламбручини. Они имели что-то против него. Это несомненно. Если кардинал, в особенности такой популярный, как Монтанелли, предпочитает оставаться в заброшенной дыре, как эта, то мы знаем, что это значит. Не правда ли, Риварес?

Овод пускал колечки из дыма.

— Может быть, д-дело в «р-разбитом и удрученном сердце»? — заметил он, откидывая голову, чтобы следить за колечками дыма. — Не пора ли нам, однако, приступить к делу, господа?

Собравшиеся принялись подробно обсуждать проекты контрабандной перевозки и способы хранения оружия. Овод

слушал с жадным любопытством, прерывая время от времени спорящих резкими замечаниями по поводу какого-нибудь неточного сообщения или слишком смелого плана. Когда все присутствующие уже высказались, он внес несколько практических предложений, и большинство их было принято почти без споров. На этом собрание и кончилось. Было решено, что до тех пор, пока Овод не вернется благополучно в Тоскану, надо по возможности избегать долго затягивающихся собраний, могущих привлечь внимание полиции. Все разошлись после того, как часы пробили десять. Остались лишь доктор, Овод и Доминикино. Они трое составили комиссию для обсуждения некоторых специальных вопросов.

Завязался долгий и жаркий спор. Наконец Доминикино взглянул на часы:

— Половина двенадцатого. Нам нельзя дольше оставаться здесь, не то мы наткнемся на ночную стражу.

— В котором часу обходит она город? — спросил Овод.

— Около двенадцати. И я хотел бы быть дома к этому часу. Доброй ночи, Джордано. Идем вместе, Риварес?

— Нет, я думаю, что в одиночку безопаснее. Увижу ли я вас еще?

— Да, в Кагель-Болоньезе.

— Я еще не знаю, как я буду замаскирован, но вам известен пароль. Вы завтра уходите отсюда?

— Завтра утром вместе с богомольцами. А послезавтра я заболелю и останусь лежать в хижине пастуха. Оттуда пойду напрямиком через горы и приду в Кагель-Болоньезе раньше вас. Доброй ночи!

Часы на соборной колокольне пробили двенадцать, когда Овод подошел к двери большой пустой риги, превращенной в место ночлега для богомольцев. На полу виднелись бесформенные человеческие фигуры, и громкий храп резко раздавался в ночной тишине. Воздух был нестерпимо тяжелый. Овод вздрогнул от отвращения и попятился. Напрасно и пытаться заснуть тут! Лучше походить еще, а потом разыскать какой-нибудь навес или хоть стог сена: это будет чище и спокойнее.

Была чудная ночь, и полная луна тихо плыла по багряному небу. Овод принялся бесцельно бродить по улицам города. В мозгу его вставала, как кошмар, вся утренняя сцена. Как жалел он теперь, что согласился на план Доминикино устроить собрание в Бризигелле. Если бы с самого начала он объявил этот проект опасным, они избрали бы другое место, и тогда и он и Монтанелли были бы избавлены от этого страшно-го и смешного фарса.

Как падре изменился! А голос у него все-таки тот же: такой, каким он произносил... когда-то «дорогой»...

На другом конце улицы показался фонарь ночного сторожа, и Овод свернул в какой-то узкий извилистый переулок. Он сделал несколько шагов и вдруг очутился на соборной площади у левого крыла епископского дворца. Площадь была залита лунным светом и совершенно пуста, но Овод заметил, что боковая дверь собора приотворена. Должно быть, пономарь забыл закрыть ее. Ничего ведь не могло происходить в церкви в такой поздний час. Почему бы не войти туда и не выспаться на одной из скамеек? Это куда лучше, чем возвращаться в зловонную ригу. А утром он осторожно прокрадется на площадь, прежде чем придет пономарь. Да если даже его там и найдут, то, наверное, подумают, что безумный Диего молился где-нибудь в углу и что его не заметили, когда запирали церковь.

С минуту он стоял у двери, прислушиваясь, потом вошел неслышной походкой, какой он умел ходить, несмотря на свою хромую ногу. Лунный свет вливался в окна и ложился широкими полосами на мраморный пол. Особенно ярко освещен был алтарь, и все было видно там как днем. У подножия престола стоял на коленях кардинал Монтанелли, один, с обнаженной головой и сложенными на молитву руками.

Овод отодвинулся в тень. Не уйти ли, пока Монтанелли его не увидал? Это будет, несомненно, самым благоразумным, а может быть, и самым милосердным, что он может сделать. А между тем это так ведь безобидно: подойти и посмотреть в лицо падре еще один раз; теперь вокруг них нет толпы, и незачем, значит, продолжать разыгрывать безобразную комедию, начатую утром. Никогда больше не удастся ему, быть может, увидеть падре! Падре незачем его видеть, конечно. Он незаметно проскользнет мимо и посмотрит только один раз. А потом вернется к своей работе.

Держась в тени колонн, он осторожно проскользнул до решетки алтаря и остановился на мгновение у бокового входа рядом с престолом. Тень, падавшая от епископского трона, была достаточна широка, чтобы спрятать его, и, затаив дыхание, он прокрался в темноте дальше.

— Мой бедный мальчик! О господи! Мой бедный мальчик!

В этом прерывистом шепоте слышалось столько бесконечного отчаяния, что Овод невольно вздрогнул. Потом послышались глубокие, тяжелые рыдания без слез, и он увидел, что Монтанелли стал ломать руки, как человек, изнемогающий от физической боли.

Он не знал, что падре так страдает. Не раз говорил он себе с горькой уверенностью: «Не стоит беспокоиться об этом. Его рана давно уже зажила». И вот, после стольких долгих лет, он увидел эту рану обнаженной и все еще сочащейся кровью. Как легко было бы вылечить ее теперь! Стоит только поднять руку и сказать: «Падре, это я!»

А у Джеммы тоже седая прядь волос. О, если бы он мог простить! Если бы только он мог изгладить из памяти прошлое, так глубоко врезавшееся в нее,— пьяного матроса, сахарную плантацию и бродячий цирк! О, никакое другое страдание не может сравниться с этим: желать простить, стремиться простить и знать, что это желание безнадежно, что он не может и не смеет простить.

Монтанелли встал наконец, перекрестился и отошел от престола. Овод отступил еще дальше в тень, дрожа от страха, что кардинал может увидеть, что биение его собственного сердца может выдать его. Потом он вздохнул с облегчением: Монтанелли прошел мимо него так близко, что лиловое кардинальское облачение слегка задело его щеку, и все-таки не заметил его.

...Не увидел... О, что он сделал! Что он сделал! Это была последняя его возможность — воспользоваться коротким драгоценным мгновением, и он дал ему улететь. Он вскочил и вышел вперед в освещенное пространство.

— Падре!

Звук его собственного голоса, раздавшегося и медленно замершего под сводами, наполнил его каким-то мистическим ужасом. Он снова отступил в тень. Монтанелли остановился у колонны и слушал, стоя неподвижно, с широко открытыми, полными смертельного ужаса глазами. Как долго длилось это молчание, Овод не мог бы сказать. Может быть, это было лишь мгновение, а может быть, целая вечность. Вдруг он опомнился. Монтанелли начал покачиваться, как будто собираясь упасть, и губы его двигались, хотя не произносили ни слова.

— Артур,— раздался наконец тихий шепот.— Да, вода глубока.

Овод выступил вперед.

— Простите мне, ваше преосвященство, я думал, что это кто-нибудь из здешних священников.

— А, это вы, паломник? — Самообладание вернулось наконец к Монтанелли, но по мерцающему блеску сапфира на его руке Овод видел, что он все еще дрожит.— Не нуждается ли вы в чем-либо, друг мой? Уж поздно, а собор на ночь запирается.

— Простите, ваше преосвященство, если я поступил нехорошо. Я увидел, что дверь открыта, и зашел помолиться. Тут я заметил священника, погруженного в молитву и размышление, как мне показалось, и я решил подождать, чтобы попрощать его благословить вот это.

Он показал маленький оловянный крестик, купленный им утром у Доминикино. Монтанелли взял крестик у него из рук и, войдя в алтарь, положил на минуту на престол.

— Возьми, сын мой,— сказал он,— и да успокоится душа твоя, ибо Господь наш кроток и милосерд. Иди в Рим и испроси себе там благословение Его служителя, святого отца. Мир да будет с тобой!

Овод наклонил голову, чтобы принять благословение, потом медленно направился к выходу.

— Слушай,— вдруг сказал Монтанелли. Он стоял, держась одной рукой за решетку алтаря.— Когда ты получишь в Риме Святое причастие,— сказал он,— помолись за того, чье сердце полно глубокой скорби и на чью душу тяжело легла десница Господня.

В голосе кардинала Оводу почудились слезы, и решимость его поколебалась. Еще мгновение, и он изменил бы себе. Но картина бродячего цирка всплыла в его памяти.

— Но достоин ли я, чтобы Господь услышал мои молитвы? Если бы я мог, как ваше преосвященство, принести к престолу Его дар святой жизни, души незапятнанной и не страдающей ни от какого тайного позора...

Резким движением Монтанелли отвернулся.

— Я могу принести к престолу Господню лишь одно,— сказал он,— свое разбитое сердце.

Через несколько дней Овод вернулся во Флоренцию дилижансом из Пистойи. Он пошел прежде всего на квартиру Джеммы, но не застал ее дома. Поручив передать, что зайдет на другой день утром, он направился домой. «На этот раз,— подумал он,— Зитта, вероятно, не совершит нашествия на мой кабинет». Казалась невыносимой мысль, что снова придется выслушать ее ревнивые упреки, терзавшие его нервы, как жужжание бормашины у зубного врача.

— Добрый вечер, Бианка,— сказал он служанке, открывавшей ему дверь.— Что, мадам Ренни приходила сюда сегодня?

Она растерянно взглянула на него:

— Мадам Ренни? Да разве она вернулась?

— Что вы хотите сказать? — спросил он, изумленно приподняв брови и сразу остановившись на пороге.

— Она уехала совершенно неожиданно, сейчас же вслед за вами, и не взяв с собой никаких вещей. Даже и не сказала, что уезжает.

— Сейчас же вслед за мной? Две недели тому назад?

— Да, синьор, в тот же самый день, и вещи ее лежат здесь в полном беспорядке. Все соседи уже об этом говорят.

Он круто повернулся, ни слова не говоря, сошел со входной ступеньки и пошел вниз по аллее к дому, где жила Зитта.

Все оставалось по-старому в ее квартире, и все его подарки лежали на своих обычных местах. Нигде не было ни следа письма или хоть какой-нибудь коротенькой записки.

— Хозяин, — сказала Бианка, просовывая голову в дверь, — тут старуха одна...

Он яростно повернулся к ней:

— Что вам от меня надо? Зачем вы за мной следом идете?

— Какая-то старуха вас спрашивает.

— А ей что понадобилось? Скажите ей, что я не могу принять ее. Мне некогда.

— Да она, синьор, приходит чуть не каждый вечер с тех пор, как вы уехали. И все спрашивает, когда вы вернетесь.

— Спросите у нее, что ей нужно. Впрочем, нет, я лучше сам пойду.

Старуха ожидала его у входа в прихожую. Она была очень бедно одета; лицо у нее было смуглое и все в морщинах, как сморчок. Голова была обмотана пестрым шарфом самых ярких цветов. Когда Овод вошел, она поднялась и взглянула на него блестящими черными глазами.

— Так это вы и есть хромой господин? — сказала она, критически разглядывая его с головы до ног. — Я пришла к вам с поручением от Зитты Ренни.

Он открыл дверь кабинета, пропустил старуху вперед, вошел вслед за ней и захлопнул дверь, чтобы Бианка не услышала их разговора.

— Садитесь, пожалуйста. А т-теперь скажите мне, кто вы?

— Это не ваше дело, кто я такая. Я пришла сказать вам, что Зитта Ренни ушла от вас с моим сыном.

— С... вашим... сыном?

— Да, хозяин, коли вы не умели удержать свою возлюбленную, то нечего жаловаться, что другие ее у вас отбили. У моего сына течет в жилах кровь, а не молоко с водой. Он сын романского племени.

— Так ты цыганка? Зитта вернулась, значит, к своему народу?

Она взглянула на него с презрительным изумлением: у этих христиан не хватает, видно, мужества даже на то, чтобы рассердиться, когда их оскорбляют.

— Да уж не оставаться же ей с вами! Не из той вы глины сделаны! Наши женщины иногда отдают себя — из девичьего ли каприза или из-за денег. Но романская кровь в конце концов возвращает их к романскому племени.

Лицо Овода оставалось холодным и спокойным.

— Она ушла со всем цыганским табором или только с вашим сыном?

Женщина расхохоталась:

— Уж не думаете ли вы пойти за ней и попытаться вернуть ее назад? Слишком поздно! Нужно было раньше думать.

— Нет, я просто хочу знать всю правду, если только вы мне ее скажете.

Она пожала плечами. Не стоило и бранить человека, который так кротко принимал ее брань.

— Ну, так вот вам правда: она встретила моего сына на большой дороге в тот день, когда вы бросили ее, и заговорила с ним на нашем наречии. Когда он увидел, что она, несмотря на свою роскошную одежду, тоже дитя нашего племени, он влюбился в ее прелестное лицо. Влюбился, как влюбляются наши мужчины, и привел ее в наш стан. А она, бедная девочка, рассказала нам про все свои невзгоды и плакала и рыдала так, что сердце разрывалось от жалости. Мы утешали ее, как могли, и наконец она сняла свое богатое платье, оделась, как одеваются наши девушки, и согласилась жить с моим сыном, как жена с мужем. Он не будет говорить ей: «я не люблю вас» и «я занят другим». Когда женщина молода, ей нужен мужчина, а что же вы за мужчина? Вы не умеете даже расцеловать красивую девушку, когда она обнимает вас!

— Вы сказали, — прервал ее Овод, — что пришли ко мне с поручением от нее.

— Да, я нарочно осталась, когда табор ушел, чтобы передать вам ее слова. Она поручила мне сказать, что ей надоели образованные господа, у которых кровь течет в жилах так медленно и которые так любят спорить о выеденном яйце, и что она возвращается к своему народу и к его свободной жизни. «Передайте ему, — сказала она, — что я женщина, что я любила его, и поэтому-то я и не хотела оставаться его наложницей». Она правильно поступила, что ушла. Пусть наши девушки зарабатывают деньги своей красотой. В этом худа нет: для этого существует красота. Но романская женщина не может любить человека вашего племени.

Овод встал.

— Это все, что она велела передать мне? — спросил он. — Скажите же ей, что я ее поступок одобряю и надеюсь, что она будет счастлива. Вот все, что я хочу ей сказать. Доброй ночи!

Он стоял не шевелясь, пока садовая калитка не захлопнулась за старухой. Тогда он опустился в кресло и закрыл лицо руками.

Еще одна пощечина! Неужели ему не оставят хоть ничтожного обрывка былой гордости, былого самоуважения? Ведь он перенес уже все страдания, какие только может вынести человеческое существо. Сокровеннейшую часть его сердца бросили в грязь, а прохожие топтали ее ногами. Не было уголка в его душе, не заклеименного чьим-нибудь презрением, не изборожденного страшными следами чьего-нибудь издевательства.

А теперь и эта цыганка, которую он подобрал на большой дороге, взяла в руки бич, чтобы нанести ему новый удар.

У двери раздался жалобный визг Шайтана, и Овод поднялся, чтобы впустить его. Собака бросилась к хозяину со своим всегдашним неистовым восторгом, но сразу поняла что-то неладное и смиренно улеглась на ковре у его ног, прижавшись холодным носом к его равнодушной руке.

Час спустя к наружной двери подошла Джемма. Она позвонила, но никто не ответил на ее звонок. Бианка, видя, что Овод не собирается обедать, ушла навестить соседнюю кухарку. Она не заперла двери и оставила слабый свет в прихожей. Джемма подождала минуту-другую, потом решила войти и попытаться разыскать хозяина: ей нужно было поговорить с ним о важных новостях, только что полученных ею от Бейли.

Она постучала в дверь кабинета и услышала голос Овода:

— Вы можете идти со двора, Бианка. Мне ничего не нужно.

Она осторожно приоткрыла дверь. В комнате было темно, но лампа, стоявшая в коридоре, бросала поперек комнаты длинную полосу света. Она увидела Овода. Он сидел одиноко, свесив голову на грудь; у ног его лежала, свернувшись, спящая собака.

— Это я, — сказала Джемма.

Он быстро вскочил.

— Джемма, Джемма! О, я так хотел вас видеть!

И прежде чем она успела вымолвить слово, он стоял на коленях у ног ее, спрятав лицо свое в складках ее платья. Все тело его трепетало в конвульсивной дрожи, которая была страшнее слез...

Молча, без движения стояла Джемма. Она ведь ничем не могла помочь ему, ничем! Это было самое страшное. Она долж-

на безучастно стоять рядом с ним, пассивно глядя на его горе... А между тем с какой радостью умерла бы она, чтобы избавиться его от страданий! О, если бы она смела склониться к нему, обнять его, прижать к своему сердцу, чтобы защитить его, хотя бы и собственным телом, от всех новых, еще грозящих ему впереди невзгод! Да, тогда он стал бы для нее снова Артуром, и яркий свет разогнал бы все страшные тени ее жизни.

Но нет, это невозможно! Разве он сможет когда-нибудь забыть? И разве не она сама толкнула его в ад, сама, своей рукой?

И богатое возможностями мгновение кануло в вечность.

Овод поспешно поднялся и сел к столу, закрыв глаза рукой и кусая губы так сильно, как будто хотел прокусить их насквозь.

Прошло еще несколько томительных минут. Он поднял голову и сказал уже спокойным голосом:

— Простите. Я вас, кажется, испугал.

Джемма протянула ему обе руки.

— Друг мой,— сказала она,— разве дружба наша недостаточно уж окрепла теперь, чтобы вы могли доверять мне хоть немного? Расскажите мне, что вас так мучает?

— О, это только мое личное горе. Зачем мне мучить им и вас?

— Выслушайте меня,— сказала она, взяв его руки в свои, чтобы успокоить их конвульсивную дрожь.— Я не позволяла себе касаться того, чего была не вправе касаться. Но вы сами по своей доброй воле рассказали мне почти все. Так не доверите ли вы мне и то небольшое, что осталось еще недосказанным, как если бы я была вашей сестрой? Сохраните маску на лице своем, если в этом вы находите утешение, но сбросьте ее со своей души, сбросьте ради самого себя!

Он еще ниже опустил голову.

— Вам придется быть терпеливой со мной,— сказал он.— Боюсь, что мало радости доставит вам такой брат, как я. Но если бы вы только знали!.. Я чуть не лишился рассудка в эти последние дни. Они были словно продолжением моей южно-американской эпопеи. И уж не знаю отчего, но дьявол снова овладевает мной... — Голос его прервался.

— Дайте же и мне мою долю участия в ваших страданиях,— прошептала Джемма.

Голова его опустилась на ее руку.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I

Следующие пять недель промчались для Овода и Джеммы в вихре вечного возбуждения от напряженной работы. Не хватало ни времени, ни энергии, чтобы подумать о своих личных делах. Оружие было благополучно переправлено контрабандным путем в Папскую область. Но оставалась невыполненной еще более трудная и опасная работа: из тайных складов в горных пещерах и оврагах нужно было незаметно доставить его в несколько местных центров, а оттуда развезти по отдельным деревням. Вся область кишела шпионами. Доминикино, которому Овод поручил заготовку боевых припасов, прислал во Флоренцию гонца, требуя или помощи, или отсрочки.

Овод настаивал, чтобы работа была окончена во что бы то ни стало к середине июня, и Доминикино приходил в отчаяние; перевозка тяжелых транспортов по плохим дорогам была делом нелегким, а тут еще она осложнялась бесконечными проволочками из-за вечной необходимости прятаться от шпионов.

«Я между Сциллой и Харибдой*,— писал он.— Не отваживаюсь вести работу слишком быстро из боязни быть выслеженным и должен вести ее не слишком медленно, если непременно нужно поспеть к сроку. Вам придется поэтому либо прислать мне деятельного помощника, либо дать знать венецианцам, что мы не будем готовы раньше первой недели июля».

Овод понес письмо Доминикино Джемме.

Она углубилась в чтение, а он уселся на полу, нахмутив брови и поглаживая ее kota против шерсти.

— Дело плохо,— сказала она.— Вряд ли нам удастся заставить венецианцев подождать три недели.

— Конечно, не удастся. Что за нелепая мысль! Доминикино д-должен был бы п-понять это. Нам приходится сообразоваться с венецианцами, а не им с нами.

— Нельзя, однако, осуждать и Доминикино: он, очевидно, старается изо всех сил, но не может сделать невозможного.

— Да, вина тут, конечно, не его. Вся беда в том, что он — один человек, а не два. Нам нужно иметь хоть двух ответственных работников: одного — чтобы хранить склад, а другого — чтобы отправлять транспорт. Он совершенно прав: ему необходим деятельный помощник.

— Но кого же мы ему дадим в помощники? Из Флоренции нам некого послать.

— В таком случае я д-должен ехать сам.

Она откинулась на спинку стула и смотрела на него, слегка приподняв брови.

— Нет, это не годится. Это слишком рискованно.

— Придется все-таки рискнуть, если нельзя н-найти иного выхода.

— Надо найти этот иной выход — вот и все. Нечего и думать ехать вам самому.

Нижняя губа Овода сложилась в упрямую складку.

— Н-не понимаю, почему нечего и думать?

— Вы поймете, если спокойно поразмыслите хоть минуточку. Прошло лишь пять недель с тех пор, как вы сюда вернулись. Полиция уже пронюхала кое-что насчет истории с паломником и теперь рыщет по всей стране, стараясь найти нити. Я знаю, как хорошо вы умеете менять свою внешность; но вспомните, сколько народу вас видело и как Диего, и как крестьянина. Да и ничего вы не поделаете ни с вашей хромотой, ни со шрамом на лице.

— На свете сколько у-угодно хромых людей.

— Да, но в Романье вовсе уж не так много людей с хромой ногой, со следом сабельного удара на щеке, с левой рукой, израненной, как ваша, и с голубыми глазами при таком смуглом цвете лица.

— Глаза в счет не идут: я могу изменить их белладонной.

— Вы не можете изменить остального. Нет, нет, это невозможно. Вас арестуют наверняка.

— Но к-кто-нибудь да должен помочь Доминикино!

— Хороша будет помощь, если вы попадетесь там как раз в такую критическую минуту. Ваш арест равносителен провалу всего предприятия.

Но Овода нелегко было убедить, и спор их затянулся надолго, не приведя ни к какому определенному решению. Толь-

ко теперь начала Джемма понимать, каким неисчерпаемым запасом спокойного упорства обладал этот человек. Если бы речь шла о чем-нибудь менее важном, она, пожалуй, и сдалась бы, чтобы не спорить понапрасну. Но в этом вопросе она не могла уступить: практическая выгода, какую могла бы принести поездка Овода, не уравновешивала, ей казалось, опасности. Она невольно подумала, что его желание ехать вызвано не столько сознанием серьезной необходимости, сколько болезненной жадной опасностью. Рисковать жизнью стало для него привычкой, это было нечто похожее на страсть алкоголика к вину, и Джемма считала необходимым твердо противодействовать ему во всех таких случаях. Видя, что все ее доводы не могут склонить его упрямой решимости, она пустила в ход свой последний аргумент.

— Будем, во всяком случае, честны,— сказала она,— будем называть вещи их настоящими именами. Не затруднения Доминикино заставляют вас так упорно настаивать на этой поездке, а ваша любовь к...

— Это неправда! — горячо прервал он. — Он для меня ничто. Мне все равно, хоть бы никогда его больше и не видеть... — Он вдруг замолчал, прочтя на ее лице, что выдал себя.

Их взгляды встретились на мгновение; потом оба опустили глаза, но ни один не произнес имени, о котором каждый подумал.

— Я не... не Доминикино хочу спасти,— пробормотал он наконец, почти спрятав лицо в шерсти кота,— но я... я понимаю, какая опасность угрожает всему делу, если никто не явится туда на подмогу.

Она не обратила внимания на эту жалкую увертку и продолжала, как будто ее и не прерывали:

— Ваша любовь к опасности толкает вас на эту поездку. Когда вас что-нибудь волнует, вам нужны опасности, как опиум во время болезни.

— Я не просил опиума,— сказал он вызывающим тоном,— это другие настаивали, чтобы мне дали его.

— В чем дело, Кэтти? Кто-нибудь пришел? Я занята и не принимаю.

— Вот, синьора, мисс Райт прислала с посылным.

В тщательно запечатанном пакете было письмо с маркой Папской области, адресованное на имя мисс Райт, но не распечатанное ею. Старые друзья Джеммы по школе все еще жили во Флоренции, и особенно важные письма нередко получались из предосторожности на их адреса.

— Это условный знак Микеле,— сказала она, наскоро пробежав глазами письмо, в котором сообщались летние цены одного пансиона в Апеннинах, и, указывая на два чернильных пятнышка в углу страницы, продолжала: — Сообщение сделано химическими чернилами. Реактив в третьем ящике письменного стола. Да-да, это он и есть.

Овод положил письмо на стол и провел по страницам тоненькой кисточкой. Когда на бумаге выступило ярко-синей строчкой настоящее содержание письма, он откинулся на спинку стула и разразился хохотом.

— В чем дело? — поспешно спросила Джемма.

Он протянул ей письмо: «Доминикино арестован. Приезжайте немедленно».

Она села, не выпуская письма из рук, и посмотрела на него широко открытыми глазами, полными безнадежности.

— Ну, что ж,— сказал он наконец своим мягким, тягучим, полным иронии голосом,— теперь вам ясно, что я должен ехать?

— Да, думаю, что должны,— ответила она со вздохом.— Я тоже должна.

Он сделал быстрое движение и взглянул на нее:

— Вы тоже? Но...

— Разумеется, должна. Конечно очень неудобно, что здесь, во Флоренции, не останется никого, но теперь все это не важно: главное — иметь лишнюю пару рук там, на месте.

— Да там сколько угодно рук найдется.

— Только не тех людей, каких нам надо: не таких, которым можно безусловно доверять. Вы сами только что сказали, что там нужны по крайней мере два ответственных работника. Если Доминикино не мог справиться один со всей работой, то вы и подавно не справитесь. Когда человек так отчаянно скомпрометирован, как вы, то конспиративная работа — это для него скачка с препятствиями. И ему, значит, особенно нужен помощник. Больше, чем кому-либо другому. Вы предполагали, что работники будут: вы и Доминикино, а теперь будем — вы и я.

Овод задумался.

— Да, вы правы,— сказал он наконец,— мы оба должны ехать, и чем скорей, тем лучше. Но нам нельзя ехать вместе. Если я уеду сегодня вечером, то вы могли бы, пожалуй, ехать завтра с послеобеденным дилижансом.

— Куда же мне направиться?

— Это надо обсудить. Мне лучше всего проехать прямо до Фаэнцы. Если я выеду сегодня поздно вечером, я направлюсь

в Бурго-Сан-Лоренцо. Там я преобразуюсь с помощью контрабандистов и немедленно двинусь дальше.

Джемма тревожно сдвинула брови.

— Не знаю, как бы устроить это иначе, — сказала она. — Но очень уж опасно для вас уехать отсюда так поспешно; да и что касается приискания костюма... Можно ли положиться в этом на контрабандистов? Вам следовало бы иметь хотя бы три полных дня, чтобы ехать окольными путями и успеть запутать свои следы, прежде чем вы доберетесь до границы.

— Граница-то как раз неопасна, — ответил он с улыбкой. — Меня могут еще взять дальше, но не на самой границе. В горах я в такой же безопасности, как и здесь. Ни один контрабандист в Апенниннах меня не выдаст. А вот как вы переберетесь через границу, это я не совсем себе представляю.

— О, это дело нетрудное! Я возьму у Луизы Райт ее паспорт и поеду прокатиться. Меня в Романье никто не знает, а вас — каждый шпион.

— К счастью, и каждый контрабандист.

Она посмотрела на часы:

— Половина третьего. В нашем распоряжении остается все время после обеда и вечер.

— Так я лучше сейчас же пойду домой и все устрою. Потом добуду хорошую лошадь. Я, значит, еду отсюда в Сан-Лоренцо. Так будет безопаснее.

— Но совсем небезопасно нанимать лошадь. Владелец ее...

— Я и не стану нанимать. Мне ее одолжит один человек, которому можно верить. Он мне уже и раньше оказывал услуги. А через две недели пастух приведет ее обратно. Так я вернусь сюда часов в пять или в половине шестого. А вы бы за это время пошли разыскали Мартини и объяснили ему все.

— Мартини! — Джемма повернулась к нему, изумленная.

— Да. Нам придется открыться ему. Если только вы не найдете другого выхода.

— Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать.

— Нам нужно иметь здесь человека на случай каких-нибудь непредвиденных затруднений. А из всей здешней компании я больше всего доверяю Мартини. Риккардо тоже, конечно, сделал бы для нас все, что от него зависит, но Мартини надежнее. Вы, впрочем, знаете его лучше, чем я. Решайте.

— Я ничуть не сомневаюсь ни в том, что Мартини умеет работать, ни в том, что на него можно вполне положиться. Думаю также, что он, вероятно, согласится оказать нам всяческую помощь. Но...

Он понял сразу.

— Джемма, представьте себе, что добрый ваш товарищ не обращается к вам за помощью в горькой нужде потому только, что боится причинить вам страдание. Что бы вы об этом подумали? Нашли ли бы вы, что он относится к вам хорошо?

— Ну, что ж,— сказала она после короткой паузы,— я сейчас же пошлю к нему Кэтти с просьбой прийти сюда. А пока схожу к Луизе за паспортом: она обещала одолжить мне его, когда бы он мне ни понадобился. А как насчет денег? Не взять ли мне сколько-нибудь из банка?

— Нет, не торопитесь на это времени. У меня сейчас достаточно, чтобы существовать первое время. А потом, когда мои все выйдут, будем жить на ваши. Увидимся, значит, в половине шестого. Я вас, конечно, застану?

— О да. Я вернусь гораздо раньше.

Он вернулся в шесть и застал Джемму и Мартини сидящими вместе на террасе. Он сразу догадался, что разговор у них был тяжелый. Следы волнения виднелись на лицах у обоих. Мартини был необычайно молчалив и мрачен.

— Вы все уже устроили? — спросила Джемма, поднимая голову.

— Да, и принес вам денег на дорогу. Моя лошадь будет ждать меня у заставы Понте-Россо в час пополудни.

— Не слишком ли это поздно? Ведь вам следует попасть в Сан-Лоренцо до рассвета, прежде чем там начнут просыпаться.

— Я и попаду. Лошадь хорошая, а мне не хотелось бы уезжать так, чтобы кто-нибудь мог заметить мой отъезд. Я уж больше домой не вернусь. Шпион дежурит там, у моей двери, думая, что я дома.

— Как же вам удалось уйти незамеченным?

— Я вылез из окна в кухне и попал в садик за домом, а потом перелез через стену в фруктовый сад к соседям. Потому-то я так и запоздал. Нужно было как-нибудь ускользнуть от шпиона. Владелец лошади будет сидеть в моем кабинете весь вечер. Когда он зажжет лампу, шпион увидит свет в окне и тень от человеческой фигуры на шторе и успокоится на том, что я сижу сегодня вечером дома и пишу.

— Вы, стало быть, останетесь здесь, пока не наступит время идти к заставе?

— Да. Само собой, я не хочу, чтобы меня видели на улице сегодня. Не хотите ли сигару, Мартини? Я знаю, что синьора Болла ничего не имеет против курения.

— Да если бы и имела, то меня здесь все равно не будет. Я должна пойти на кухню помочь Кэтти приготовить обед.

Когда она ушла, Мартини встал и принялся шагать по комнате, заложив руки за спину. Овод молча курил и смотрел в окно на улицу, подернутую дымкой мелкого дождя.

— Риварес! — сказал Мартини, остановившись прямо перед Оводом, но опустив глаза в землю. — В какого рода предприятие хотите вы ее втянуть?

Овод вынул изо рта сигару и выпустил облако дыма.

— Она сама за себя решила, — сказал он. — Ее никто ни к чему не принуждал.

— Да-да, я знаю. Но скажите мне... — Он остановился.

— Я скажу все, что могу.

— Ну, так скажите же... Я плохо знаю подробности ваших предприятий в горах — скажите мне, словом, будет ли ей угрожать серьезная опасность?

— Вы хотите знать правду?

— Разумеется.

— Ну, так — да.

Мартини отвернулся и снова зашагал из угла в угол. Потом опять остановился.

— Я хочу предложить вам еще вопрос. Можете, конечно, не отвечать, если не хотите, но если ответите, то ответьте правду. Вы любите ее?

Овод заботливо стряхнул пепел сигары, потом продолжал молча курить.

— Должен ли я понять, что вы не хотите ответить на мой вопрос?

— Нет, не то, но я думаю, имею право знать, почему вы меня об этом спрашиваете?

— Почему? Господи боже мой! Да неужели вы сами не понимаете почему?

— А, вот что! — Он отложил свою сигару и пристально посмотрел в глаза Мартини. — Да, — выговорил он наконец медленно, мягким голосом, — я люблю ее. Но не думайте, что я собираюсь объясняться ей в любви и терзать ее своими признаниями. Я просто...

Голос его перешел в еле слышный шепот. Мартини подошел ближе.

— Вы просто...

— Просто умру.

Он глядел перед собой холодным, остановившимся взглядом, как будто был уже мертв. Потом снова заговорил каким-то странным, безжизненно-ровным голосом:

— Нет ни тени надежды, что я останусь цел, но вам незачем смущать ее этим раньше времени. Будь на моем месте кто-нибудь другой, ему грозила бы та же опасность. Она знает это так же хорошо, как и я. Но контрабандисты сделают все, чтобы не дать ей попасться. Они славные парни, хотя и несколько грубоватые. А моя шея давно уж в петле, и, когда я перейду границу, я затяну петлю.

— Риварес, что вы хотите этим сказать? Предприятие, конечно, опасное, особенно для вас, — это я понимаю, но вы ведь уж не раз переходили границу, и всегда благополучно.

— До сих пор — да, но на этот раз я провалюсь.

— Слушайте, Риварес. С такого рода предчувствиями вам нельзя ехать. Самый верный способ попасться — это поехать с убеждением, что попадешься. Давайте я поеду вместо вас. Я могу исполнить всю практическую работу, какая понадобится, а вы можете послать вашим друзьям письмо с объяснением...

— И предоставить вам быть убитым вместо меня? То-то было бы умно!

— О, меня-то вряд ли убьют. Они знают меня меньше, чем вас. Да и если бы даже я и...

Он остановился, и Овод пристально посмотрел на него.

Рука Мартини упала.

— Ей, вероятно, не так было бы тяжело потерять меня, — сказал он совершенно просто. — Да и притом же, Риварес, это дело общественное, и приходится рассматривать его с точки зрения полезности — наибольшей выгоды для наибольшего количества людей. Ваша «предельная полезность» — так ведь, кажется, экономисты это называют? — выше моей. Я достаточно умен, чтобы это понять, хотя у меня нет никаких особых причин вас любить. Вы большая величина, чем я; я совсем не уверен в том, что вы лучше меня, но вы больше, и ваша смерть была бы более значительной потерей, чем моя.

Все это он проговорил с таким видом, как будто речь шла о ценах акций на бирже. Овод вздрогнул, как от холода, и взглянул на него:

— Мы с вами, Мартини, глупости болтаем.

— Вы-то, несомненно, глупости говорите, — угрюмо ответил Мартини.

— Да и вы тоже. Ради бога, не будем только увлекаться романтическим самопожертвованием, как Дон Карлос* и маркиз Поза*. Мы с вами живем в девятнадцатом столетии, и если смерть — дело, за которое я должен взяться, то приходится умирать.

— А если мое дело — жизнь, то мне придется жить. Ничего не поделаешь... Счастливец вы, Риварес!

— Да, — лаконически согласился Овод. — Мне всегда везло.

Несколько минут они молча курили, потом принялись подробно обсуждать предстоящую поездку. После обеда все трое приступили к деловому разговору: надо было условиться насчет всех важных пунктов. Когда пробило одиннадцать, Мартини встал и взялся за шляпу.

— Я пойду домой и принесу вам свой дорожный плащ, Риварес. В нем вас гораздо труднее будет узнать, чем в этом легком костюме. Хочу, кстати, сделать небольшую рекогносцировку, чтобы быть вполне уверенным, что около дома не шатаются шпионы.

— Вы пойдете со мной до заставы?

— Да. Четыре глаза вернее двух в случае, если за нами кто-нибудь пойдет. Я вернусь около двенадцати. Смотрите же, не уходите без меня. Я возьму лучше ключ, Джемма, чтобы не будить никого звонком.

Она внимательно посмотрела ему в лицо и поняла, что он нарочно придумал этот предлог, чтобы оставить ее наедине с Оводом.

— Мы с вами переговорим еще завтра, — сказала она. — Времени хватит утром, когда я покончу со сборами.

— О да! Времени будет вдоволь. Хотел еще задать вам два три вопроса, Риварес, да, впрочем, поговорим по дороге к заставе. Отпустите-ка спать Кэтти, Джемма, и говорите по возможности тише. Ну, до свиданья, до двенадцати.

Он слегка кивнул им и, улыбаясь, вышел из комнаты. Потом с силой захлопнул наружную дверь, чтобы дать знать соседям, что гости синьоры Боллы ушли.

Джемма пошла на кухню отпустить Кэтти и вернулась, держа в руках поднос с черным кофе.

— Не хотите ли прилечь немного? — сказала она. — Вам ведь не придется спать эту ночь.

— Вы ошибаетесь. Я посплю в Сан-Лоренцо, пока будут добывать мне костюм.

— Ну, так выпейте чашку кофе. Пойдите, я достану вам бисквиты.

Она стала на колени, чтобы достать их с нижней полки буфета. Овод наклонился над ее плечом.

— Что у вас там такое? Шоколадные конфеты с кремом и английская карамель! О, да ведь это королевская роскошь!

Она подняла глаза и чуть-чуть улыбнулась его радостному тону.

— Вы тоже любите сладости? Я всегда держу их для Цезаре. Он радуется, как ребенок, всяким лакомствам.

— В с-самом деле? Ну, так вы ему завтра купите новые, а эти дайте мне с собой. Я положу карамель в карман, и она вознаградит меня за все потерянные радости жизни. Я н-надеюсь, что они дадут мне пососать карамельку в тот день, когда будут вести меня на казнь.

— Дайте-ка я вам найду коробочку для ваших карамелек. Они такие липкие. Положить и шоколадные конфеты?

— Нет, их я хочу есть теперь, с вами.

— Я не люблю шоколада. Идите же, садитесь, как разумное человеческое существо. Весьма вероятно, что у нас уже не будет другого случая поговорить спокойно перед тем, как один из нас будет убит и...

— Она н-не любит шоколада, — тихо пробормотал он. — Придется объедаться в одиночку. Это ведь как бы ужин накануне казни, не правда ли? Сегодня вы должны исполнять все мои капризы. Прежде всего я хочу, чтобы вы сели в это кресло, а так как вы сказали, что мне можно прилечь, то я лягу вот здесь. Это будет ужасно хорошо.

Он растянулся на ковре у ее ног, приподнявшись на локте и глядя ей в лицо.

— Как вы бледны! Это потому, что вы принимаете жизнь всерьез и не любите шоколада.

— Да будьте же серьезны хоть пять минут! Ведь дело идет о жизни и смерти.

— Даже и минуты не хочу быть серьезным, друг мой. Ни жизнь, ни смерть не стоят того.

Он завладел обеими ее руками и поглаживал их концами пальцев.

— Не смотрите же так сурово, как Минерва*. Еще минута, и я заплачу, а вам станет жаль меня. Хотел бы, чтобы вы еще раз улыбнулись своей чудесной неожиданной улыбкой. Ну, ну, не бранитесь же, хорошая моя. Давайте есть наши бисквиты вместе, как двое хороших детей, и не будем при этом ссориться — ведь завтра придет смерть.

Он взял с тарелки сладкий бисквит и разделил его на две равные части, стараясь, чтобы сахарное украшение разломалось как раз посередине.

— Пусть это будет для нас причастием, какое получают в церкви добрые люди. И мы должны выпить вина из о-одного стакана — да-да, вот так.

Джемма поставила стакан.

— Перестаньте,— сказала она, и в голосе ее послышались рыдания.

Он взглянул на нее и снова взял ее руки в свои.

— Ну, полно же. Давайте посидим теперь спокойно. Когда один из нас умрет, другой вспомнит эти минуты. Забудем про этот шумный мир, так назойливо жужжавший нам в уши, и пойдем рука об руку своей дорогой. Пойдем в тайные подземелья смерти и будем лежать там среди цветущих маков. Тише! Будем сидеть смиренно-смирно.

Он прислонился головой к ее коленям, спрятав лицо. Она не сказала ни слова, наклонилась над ним и положила свою руку на его голову. Время шло, минуты одна за другой убегали в вечность, а они все сидели молча, без движений.

— Друг мой, уже почти двенадцать,— сказала она наконец. Он поднял голову.— Нам осталось лишь несколько минут. Мартини сейчас вернется. Быть может, мы никогда больше не увидимся. Неужели вам нечего мне сказать?

Он медленно встал и перешел на другой конец комнаты. С минуту оба молчали.

— Я должен сказать вам вот что,— начал он еле слышным голосом,— сказать вам... следующее...

Он остановился и сел у окна, закрыв лицо руками.

— Много же вам потребовалось времени, чтобы наконец сжалиться надо мною,— сказала она кротко.

— Я и сам не много видел жалости в жизни. Я думал сначала, что вам все равно.

— Теперь вы этого не думаете?

С минуту Джемма ждала его ответа, потом перешла через комнату и стала рядом с ним.

— Скажите мне наконец правду,— прошептала она.— Подумайте: если вас убьют, а меня нет, то мне придется прожить всю мою жизнь и так и не узнать... так и не узнать наверное...

Он взял ее руки и крепко сжал их.

— Если меня убьют... Видите ли, когда я уехал в Южную Америку... Ах, вот и Мартини!

Он вздрогнул, вскочил и распахнул дверь. Мартини вытирал сапоги о ковер.

— Аккуратно, м-минута в минуту! По обыкновению! Вы ж-живой хронометр, Мартини. Это и есть д-дорожный плащ?

— Да, тут еще кое-какие вещи. Я старался донести все это сухим, но дождь льет как из ведра. Боюсь, что скверно вам будет ехать.

— О, это не важно. Улица свободна?

— Да. Все шпионы пошли, должно быть, спать. Оно и неудивительно в такую скверную погоду. Это кофе, Джемма? Ему следовало бы выпить чего-нибудь горячего, прежде чем идти на дождь, а не то он простудится.

— Это черный кофе. Он крепкий. Я пойду вскипячу молоко.

Она ушла на кухню, крепко стиснув зубы и руки, чтобы не разрыдаться. Когда она вернулась с молоком, Овод был уже в плаще и завязывал кожаные гетры, принесенные Мартини. Он стоя выпил чашку кофе и взял в руки дорожную широкополую шляпу.

— Пора, кажется, отправляться, Мартини. Мы покругим немного на всякий случай, прежде чем пойдем к заставе. Прощайте пока, синьора. Я увижу вас в пятницу в Форли, если, конечно, не случится ничего особенного. Подождите-ка минуту: вот вам адрес.

Он вырвал листок из своей записной книжки и написал на нем несколько слов карандашом.

— У меня есть адрес,— ответила она спокойным, безжизненным тоном.

— У-уже есть? Ну, все равно, возьмите и этот на всякий случай. Идем, Мартини. Тише. Не надо, чтобы дверь скрипела.

Они осторожно спустились с лестницы. Когда наружная дверь захлопнулась за ними, Джемма вернулась в комнату и машинально развернула бумажку, которую сунул ей Овод. Под адресом было написано: «Я вам все скажу при свидании».

Глава II

В Бризигелле был базарный день. Из соседних деревень и сел съехались крестьяне — кто с домашней птицей и свиньями, кто с молочными продуктами, кто со стадами полудикого горного скота. Толпа народу двигалась взад и вперед по базарной площади, смеясь, отпуская шутки, торгуясь с продавцами дешевых пряников, сухих винных ягод и подсолнечных семян. Загорелые босоногие мальчишки валялись ничком на мостовой под горячими лучами солнца, а матери их разместились под деревьями с корзинами яиц и масла. Монтанелли вышел на площадь пожелать народу доброго утра.

Разговаривая с крестьянами, Монтанелли медленно двигался вперед. Его сразу окружила шумная толпа детей, протягивая ему огромные пучки ирисов, красных маков и нежных

белых нарциссов, сорванных на холмах. Его любовь к диким цветам была известна, как одна из слабостей, которые к лицу очень мудрым людям. Если бы другой на его месте наполнял свой дом травами и растениями, над ним бы, наверное, смеялись, но «святой кардинал» мог позволить себе несколько невинных странностей.

Когда он вернулся в свой дворец, базар открылся. Хромой человек в синей блузе, со шрамом на левой щеке и целой шапкой черных волос, свешивавшихся ему на глаза, подошел к одному из бараков и спросил себе лимонаду на ломаном итальянском языке.

— Вы, видно, не из здешних мест,— сказала женщина, наливая лимонад и внимательно разглядывая незнакомца.

— Нет. Я с Корсики.

— Небось работу ищете?

— Да. Теперь ведь скоро сенокос. Один господин — у него под Равенной своя ферма — приезжал на днях в Бастию и говорил мне, что около Равенны работы много.

— Дай бог, дай бог вам пристроиться; только времена-то в этих краях нынче тяжелые.

— А на Корсике, тетушка, и того хуже. Прямо приходится нам, бедным людям, с голоду помирать.

— Вы один оттуда приехали?

— Нет, с товарищем. Вон с тем, что в красной рубашке. Эй, Паоло!

Услыхав, что его зовут, Микеле заложил руки в карманы и ленивой походкой направился к ним. Он имел вид заправского корсиканца, несмотря на рыжий парик, который он надел, чтобы сделать себя неузнаваемым. Овод же воплощал в совершенстве тип корсиканского безработного.

Они пошли вместе слоняться по базарной площади. Микеле насвистывал сквозь зубы, а Овод шел с трудом, изгибаясь под тяжестью узла, который он нес через плечо, и волоча ноги, чтобы сделать менее заметной свою хромоту. Они ждали товарища, который должен был получить от них и отвезти дальше важные сообщения.

— Смотрите: это едет Марконе; вон, за тем углом,— вдруг прошептал Микеле.

Овод, еще более согнувшись, потащился по направлению к всаднику.

— Вам, барин, косаря не надо ли? — сказал он, прикладывая руку к изорванному картузу, и потом слегка дотронулся до поводьев лошади.

Это был условный знак. Всадник, которого можно было по виду признать за управляющего именем, сошел с лошади и забросил поводья ей на спину.

— А ты какую работу можешь делать?

Овод мял в руках картуз.

— Косить траву, ставить плетни, — начал он и продолжал, не изменив голос: — В час ночи у входа в круглую пещеру. Понадобятся телега и две хорошие лошади. Я буду ждать в пещере... И копать умею, сударь, и...

— Ладно, этого довольно. Мне косарь только нужен. Ты уж в людях когда-нибудь жил?

— Да, жил один раз. Имейте в виду, что надо быть хорошо вооруженным. Нам придется, может быть, встретиться с летучим отрядом. Не ходите лесной дорожкой — другой стороной будет безопаснее. Если встретите шпиона, не тратьте время на пустые разговоры — стреляйте немедленно... Уж так бы я рад был стать на работу, сударь.

— Так-то оно так, мне нужен человек, хорошо знающий дело. Нет у меня сегодня мелочи, старина.

Старый нищий, весь в лохмотьях, подошел к ним тяжелой походкой и затынул жалобным, монотонным голосом:

— Во имя Пресвятой Девы сжальтесь над бедным, слепым стариком... Исчезайте немедленно отсюда, едет летучий отряд... Пресвятая Царица Небесная, Дева Непорочная... вас ищут, Риварес; через две минуты они будут здесь... Да наградят вас святые угодники... Вам придется прорвать их ряды: всюду полно шпионов, и нет никакой надежды уйти незамеченными.

Марконе сунул Оводу поводья:

— Торопитесь! Выезжайте на мост, отпустите там лошадь, а сами спрячьтесь в овраге. Мы все вооружены, и я уверен, нам удастся задержать их минут десять.

— Нет, нет! Я не хочу, чтобы всех вас забрали. Держитесь вместе и стреляйте вслед за мной по порядку. Двигайтесь по направлению к нашим лошадям — вон они привязаны у дворцового крыльца, — и готовьте оружие. Мы отступим, сражаясь, а когда я брошу картуз наземь, вы перережете недоуздки, и каждый вскочит на ближайшую лошадь. Так нам, вероятно, всем удастся добраться до леса.

Разговор велся вполголоса и таким спокойным тоном, что даже стоявшие рядом не могли бы заподозрить, что речь идет кое о чем поопаснее сенокоса.

Марконе взял свою кобылу под уздцы и повел ее к привязанным лошадям; Овод поплелся рядом, волоча по-прежнему

му ноги, а нищий шел за ними с протянутой рукой и не переставая жалобно голосить. Микеле, посвистывая, направился к ним: нищий успел предупредить его, проходя мимо, а он подошел как ни в чем не бывало к трем крестьянам, лакомящимся под деревом луком, и сообщил им новость.

Они сейчас же поднялись и пошли за ним. Таким образом, все семеро, не возбуждая ничьего внимания, стояли теперь вместе у ступенек дворца; каждый держал одной рукой спрятанный в кармане пистолет, и все старались не отходить далеко от привязанных у крыльца лошадей.

— Не выдавайте себя, прежде чем я не подам сигнала, — сказал Овод тихим, но внятным голосом. — Они, может быть, нас и не узнают. Когда я выстрелю, открывайте огонь и вы. Но не в людей, а лошадям в ноги: тогда им нельзя будет нас преследовать. Стреляйте поочередно. Трое пусть стреляют, а трое заряжают. Если кто-нибудь встанет между нами и нашими лошадьми — убивайте. Я беру себе саврасую; как только я брошу свою шапку на землю, бегите, кто куда может, и не останавливайтесь ни в коем случае.

— Вот они едут, — сказал Микеле.

Овод обернулся, сделав наивное и глупо-изумленное лицо. Торговля вдруг приостановилась, и все лица повернулись к переулку, из которого шагом выезжали пятнадцать вооруженных всадников. Они медленно продвигались вперед, с трудом прокладывая себе дорогу через толпу. Если бы не шпионы, расставленные на всех углах, все семь заговорщиков могли бы спокойно скрыться, пока толпа глазела на солдат. Микеле слегка придвинулся к Оводу.

— Не уйти ли нам теперь?

— Это невозможно: мы окружены шпионами, и один из них уже узнал меня. Вот он послал сказать об этом капитану. Наш единственный выход — это ранить их лошадей.

— Где он, этот шпион?

— Это первый человек, в которого я буду стрелять. Все ли готовы? Они уж проложили себе дорогу к нам. Сейчас атакуют.

— Прочь с дороги! — крикнул капитан. — Именем его святейшества приказываю вам расступиться!

Толпа раздалась, испуганная и удивленная, и солдаты быстро ринулись на кучку людей, стоявших у дворцового крыльца. Овод вытащил из-под блузы пистолет и выстрелил, но не в приближающийся отряд, а в шпиона, подходившего в эту минуту к лошадям. Тот сразу упал с раздробленной клю-

чицей. Почти в ту же секунду раздались один за другим еще шесть выстрелов, и заговорщики начали отступать к своим лошадям.

Одна из кавалерийских лошадей поскользнулась и сделала скачок в сторону. Другая упала на землю с громким болезненным ржанием. В толпе, охваченной паникой, слышались крики. Потом, покрывая их, раздался властный голос офицера, командовавшего эскадроном. Он поднялся на стременах и, взмахнув саблей, закричал:

— Сюда, ребята! За мной!

Вдруг он закачался в седле и опрокинулся на спину: Овод снова выстрелил и не промахнулся. Алым ручейком полилась кровь по мундиру капитана, но страшным усилием, цепляясь за гриву коня, он снова выпрямился в седле и яростно крикнул:

— Убейте этого хромого дьявола, если не можете взять его живым! Это Риварес!

— Еще по выстрелу, живо! — крикнул Овод своему отряду. — А потом бегите! — И он бросил наземь свою шапку.

Это было как раз вовремя: сабли разъяренных солдат мелькали уже над самой его головой.

— Бросьте оружие! Все!

С этим возгласом кардинал Монтанелли кинулся между сражающимися.

И вслед за тем раздался полный ужаса крик одного из солдат:

— Ваше преосвященство! Боже мой, вас убьют!

Но Монтанелли сделал еще шаг вперед и стал перед дулом пистолета Овода.

Пятеро заговорщиков уже были на конях и мчались вверх по крутой улице. Марконе только что вскочил в седло. Но, прежде чем ускакать, он обернулся посмотреть, не нуждается ли в помощи их предводитель. Саврасый стоял тут же. Еще миг — и все семеро были бы спасены. Но в ту минуту, когда фигура в пунцовой рясе выступила вперед, Овод вдруг покачнулся, и рука, державшая пистолет, опустилась. Это мгновение определило исход дела. Его немедленно окружили и грубо повалили на землю; один из солдат ударил его саблей по плашмя и выбил оружие из его руки. Марконе дал своей лошади шпоры. Копыта кавалерийских лошадей грохотали по холму в двух шагах от него. Было бы бесполезно остаться и быть тоже взятым. Он повернулся в седле, чтобы послать последний выстрел в упор ближайшему преследователю, и увидел Овода еще раз. Лицо

его было залито кровью. Лошади, солдаты и шпионы топтали его ногами, и Марконе слышал яростные проклятия победителей и их визгливые, полные злобного торжества голоса.

Монтанелли не видел, что произошло. Он отошел от крыльца и пытался успокоить объятых страхом людей. Но вдруг, в то время как он наклонился над раненым шпионом, толпа испуганно всколыхнулась, и это заставило его поднять голову.

Солдаты пересекали площадь, волоча своего пленника за веревку, которой были связаны его руки. Он задыхался. Лицо его сделалось багровым от боли. Он обернулся в сторону кардинала и, улыбаясь побелевшими губами, прошептал:

— П-поздравляю, ваше преосвященство!..

Пять дней спустя Мартини подъезжал к Форли. Джемма прислала ему по почте пачку печатных объявлений — условный сигнал, что присутствие его необходимо ввиду чрезвычайных событий. Он вспомнил разговор на террасе и сразу угадал истину. Всю дорогу он не переставал твердить себе, что с Оводом, вероятно, не случилось ничего особенного. Но чем основательнее рассуждал он в этом направлении, тем сильнее овладевала им уверенность в том, что несчастье случилось именно с Оводом.

— Я угадал, что случилось. Риварес взят, не так ли? — сказал он, входя к Джемме.

— Он арестован в прошлый четверг в Бризигелле. Он отчаянно защищался и ранил начальника отряда и шпиона. Вооруженное сопротивление. Дело плохо!

— Ему-то все равно. Он был так серьезно скомпрометирован, что лишний выстрел не многим изменит дело.

— Что они, по-вашему, с ним сделают?

Бледное лицо Джеммы стало еще бледнее.

— Я думаю, нам незачем ждать, пока мы это узнаем.

— Вы думаете, нам удастся освободить его?

— Мы должны это сделать.

Он отвернулся и начал насвистывать, заложив руки за спину. Джемма не мешала ему думать. Она сама вся ушла в свои думы.

— Вы его видели? — спросил Мартини, перестав на минуту шагать взад и вперед.

— Нет, мы должны были встретиться с ним здесь на следующее утро.

— Да, да. Я помню. Где он сидит?

— В крепости, под усиленной охраной и, как говорят, в кандалах.

Он пожал плечами.

— О, это не важно, хороший напильник справится с какими угодно кандалами, если только он не ранен...

— Кажется, ранен, но насколько серьезно, мы не знаем. Да вот послушайте лучше Микеле: он был при аресте.

— Каким же образом он уцелел тогда? Неужели он убежал и оставил Ривареса одного в решительную минуту?

— Это не его вина. Он сражался не хуже других и исполнял в точности все распоряжения. Да и никто ни в чем не отступал от них, за исключением самого Ривареса. Он как будто вдруг забыл их или допустил какую-то ошибку в последнюю минуту. Все это как-то странно, и никто не может понять его поведения. Подождите, я сейчас позову Микеле.

Она вышла из комнаты и вскоре вернулась с Микеле и с каким-то широкоплечим крестьянином-горцем.

— Это Марко, один из наших контрабандистов,— сказала она.— Вы слышали о нем. Он только что приехал и сможет, вероятно, дополнить рассказ Микеле. Микеле, это Чезаре Мартини, о котором я вам говорила. Расскажите ему сами все, что произошло на ваших глазах.

Микеле рассказал вкратце о схватке между заговорщиками и эскадром солдат.

— Я до сих пор не могу понять, как все это случилось,— сказал он под конец.— Никто из нас не уехал бы, если бы мы предвидели, что его возьмут; но он дал нам точные распоряжения, что и как делать, и нам в голову не приходило, что, бросив шапку на землю, он останется на месте схватки и позволит солдатам окружить себя. Он был уже рядом со своим конем, я видел, как он перерезывал недоуздок, и я собственноручно подал ему заряженный пистолет, прежде чем вскочить на свою лошадь. Может быть, он из-за своей хромоты оступился, садясь на коня,— вот единственное, что я могу предположить. Но ведь и в этом случае он мог бы выстрелить.

— Нет, не то,— вмешался Марконе.— Он и не садился на лошадь. Я видел, что произошло. Моя кобыла испугалась выстрелов и стала кидаться в сторону: мне поэтому пришлось уехать последним. Отъезжая, я оглянулся посмотреть, все ли обстоит благополучно. Он отлично мог бы уйти, если бы не кардинал.

— А! — вполголоса воскликнула Джемма, а Мартини повторил в изумлении:

— Кардинал?

— Да, он бросился вперед и стал прямо под дуло пистолета, черт бы его побрал! Риварес, вероятно, вздрогнул от неожиданности; рука его, державшая пистолет, опустилась, а другую он поднял вот так.— Марконе приложил кулак левой руки к глазам.— Тут-то они на него, конечно, все и набросились.

— Ничего не понимаю,— сказал Микеле.— Совсем не похоже на Ривареса терять голову в опасности.

— Но он, вероятно, опустил свой пистолет из боязни убить безоружного,— заметил Мартини.

Микеле пожал плечами:

— Безоружным незачем совать нос туда, где дерутся. Война — так война. Пусть бы Риварес угостил пулей его преосвященство, а не дался им в лапы, как ручной кролик! На свете было бы тогда одним честным человеком больше и одним сатаной меньше.

Он отвернулся, закусив усы. Еще минута, и гнев его прорвался бы слезами.

— Как бы там ни было,— сказал Мартини,— а дело конечно, и обсуждать, как все это произошло,— значит терять даром время. Теперь перед нами стоит вопрос, как организовать побег. Полагаю, что все согласны рискнуть на это?

Микеле не удостоил даже ответом этот праздный вопрос, а контрабандист сказал с усмешкой:

— Я убил бы родного брата, если бы он не был согласен.

— Прекрасно. Приступим тогда к делу. Прежде всего, есть ли у вас план крепости?

Джемма отперла ящик и вынула оттуда несколько листов бумаги.

— Я составила все планы. Вот первый этаж крепости. А это — нижние и верхние этажи башен. Вот план укрепления. Тут дороги, ведущие в долину; а тут тропинки и тайные пристанища в горах и подземные проходы.

— А вы знаете, в какой он башне?

— Восточной. В круглой камере с решетчатым окном. Я отметила ее на плане.

— Откуда вы получили эти сведения?

— От солдата крепостной стражи, по прозвищу Сверчок. Он двоюродный брат Джино, одного из наших.

— Скоро вы справились.

— Нельзя терять времени. Джино немедленно отправился в Бризигеллу, а кое-какие планы были у нас уже раньше. Спирок тайных пристанищ в горах составлен самим Риваресом; видите — его почерк.

— Что за люди солдаты стражи?

— С ними нам пока не удалось познакомиться. Сверчок только недавно туда попал и не знает еще своих товарищей.

— Нужно расспросить Джино, что за человек сам Сверчок. Известны ли намерения правительства? Где будет суд? В Бризигелле или в Равенне?

— Этого мы еще не знаем. Равенна — главный город легатства*, и по закону важные дела должны разбираться в суде первой инстанции только там. Но в Папской области с законом не особенно считаются. Он меняется по прихоти того, кто в данную минуту стоит у власти.

— В Равенну его не повезут, — вмешался Микеле.

— Почему вы это думаете?

— Я в этом уверен. Полковник Феррари, военный начальник Бризигеллы, — дядя офицера, которого ранил Риварес. Это мстительное животное: он не упустит случая отомстить врагу.

— Вы думаете, что он станет добиваться, чтобы Ривареса оставили в Бризигелле?

— Я думаю, он постарается, чтобы Риварес был повешен.

Мартини взглянул на Джемму. Она была очень бледна, но лицо ее не изменилось при этих словах. Очевидно, она уже освоилась с этой мыслью.

— Нельзя, однако, обойтись без необходимых формальностей, — спокойно сказала она. — Он, вероятно, добьется военного суда, выдумав для этого какой-нибудь предлог, а потом будет говорить в свое оправдание, что был вынужден сделать это ради спокойствия города.

— Ну а кардинал? Разве он согласится на такое беззаконие?

— В военных делах он не является юридической инстанцией.

— Но он пользуется огромным влиянием. Полковник, конечно, не отважится на такой шаг без его согласия.

— Ну, согласия-то он никогда не добьется, — вмешался Марконе. — Монтанелли был всегда против всяких военных судов. Пока Риварес в Бризигелле, положение еще не очень опасно. Кардинал всегда примет сторону обвиняемого. Больше всего я боюсь, чтобы они не перевезли его в Равенну. Там уж он наверное погиб.

— Нельзя допустить, чтобы его туда довели, — сказал Микеле. — Мы можем устроить побег с дороги. Ну а уйти из здешней крепости будет потруднее.

— Я думаю, — сказала Джемма, — что бесполезно ждать, пока его станут перевозить. Мы должны попытаться освободить

его в Бризигелле, и терять времени нельзя. Чезаре, давайте-ка мы с вами займемся планом крепости и придумаем, как организовать побег. У меня уже есть идея, только я не могу еще разрешить одного затруднения.

— Идем, Марконе,— сказал Микеле, вставая,— оставим их придумывать план побега; мне нужно отправиться в Фолиппьяно сегодня, и я хотел бы взять вас с собой. Винченцо не прислал нам патронов, а они должны были быть здесь еще третьего дня.

Когда они оба ушли, Мартини подошел к Джемме и молча протянул ей руку. Она на минуту положила в нее свою.

— Вы всегда были добрым другом, Чезаре,— сказала она наконец,— и всегда помогали мне в тяжелые минуты. А теперь давайте говорить о деле.

Глава III

— А я еще раз самым серьезным образом уверяю, ваше пресвященство, что ваш отказ угрожает спокойствию города.

Начальник города старался сохранить почтительный тон, каким он обязан был говорить с высоким сановником церкви, но в голосе его слышалось раздражение. Его мучила болезнь печени, жена разоряла его ужасными счетами, и вот уже три недели, как терпение его подвергалось жестоким испытаниям. Настроение у жителей города было мрачное; недовольство зрело с каждым днем и принимало все более и более угрожающие размеры. Вокруг, по всей области, возникали бесконечные заговоры, и вся она была наполнена тайными складами оружия. Гарнизон был жалкий, а лояльность его более чем сомнительная. И ко всему тому приходилось иметь дело с кардиналом, которого в частном разговоре с адъютантом начальник назвал «святейшим воплощением ослиного упрямства». Все это довело его уже почти до отчаяния, а тут еще откуда ни возьмись появился Овод — это воплощение зла.

Начал он с того, что изъял из обращения любимого племянника полковника и его самого лучшего шпиона. Потом «лукавый испанский дьявол» совратил с пути истинного всех сторожей, запутал всех офицеров, ведущих допрос, и превратил тюрьму в увеселительное место. Вот уже три недели, как он сидел в крепости, и власти в Бризигелле не знали, что с ним делать. Они снимали с него допрос за допросом, пускали в ход, чтобы добиться его признания, угрозы, увещания и

всякого рода средства, какие только могли изобрести, и все-таки не подвинулись ни на шаг вперед со дня ареста. Теперь начальство в Бризигелле начало уже думать, что было бы лучше сразу отправить его в Равенну. Было, однако, уже поздно исправить сделанную ошибку. Военный начальник, отправляя легату доклад об аресте, просил у него, как особой милости, разрешения лично заведовать следствием; получив на свою просьбу милостивое согласие, он не мог взять ее назад без унижительного признания, что оказался не по плечу своему противнику.

Тогда, как это и предвидели Джемма и Микеле, ему пришла мысль выйти из затруднения, добившись военного суда. Это было единственное удовлетворительное решение вопроса, и упорный отказ кардинала Монтанелли скрепить его своим одобрением был последней каплей, переполнившей чашу неприятностей полковника.

— Я думаю,— сказал он,— что, если бы вы, ваше преосвященство, знали, сколько пришлось мне и моим помощникам вынести от этого человека, вы иначе отнеслись бы к делу. Я вполне понимаю, что из добросовестности вы возражаете против неправильных юридических приемов, но ведь это исключительный случай, требующий исключительных мер.

— Для меня,— возразил Монтанелли,— нет случаев, которые можно было бы разрешить несправедливостью. Судить обыкновенного гражданина тайным военным судом — это несправедливо и незаконно.

— Разберем данный случай, ваше преосвященство! Заключение явно виновен в нескольких тяжких преступлениях. Он принимал участие в возмутительном покушении в Савиньо, и военно-полевой суд, назначенный монсеньором Спинолой, несомненно, приговорил бы его к смерти или каторжным работам, если бы ему не удалось скрыться в Тоскану. С тех пор он не переставал организовывать заговоры. Известно, что он очень влиятельный член одного из самых зловердных тайных обществ страны. Имеются большие основания подозревать, что он санкционировал, если не сам организовывал, убийство по меньшей мере трех агентов тайной полиции. Теперь его, можно сказать, поймали на контрабандной перевозке оружия в Папскую область. Он оказал вооруженное сопротивление властям и тяжело ранил двух должностных лиц при исполнении их обязанностей. А теперь — он живая угроза спокойствию и безопасности города. Всего этого, несомненно, достаточно, чтобы оправдать военный суд.

— Что бы этот человек ни сделал, — ответил Монтанелли, — он имеет право быть судимым по закону.

— На ведение дела обычным законным порядком потребуются много времени, ваше преосвященство, а нам дорога теперь каждая минута. Притом же я в постоянном страхе, что он убежит.

— Если побег его возможен, то это уже ваше дело усилить надзор.

— Я делаю все, что от меня зависит, ваше преосвященство, но мне приходится полагаться на тюремный персонал, а заключенный точно околдовал всю стражу. В течение трех недель я четыре раза сменял всех приставленных к нему людей, я не переставал налагать взыскания на солдат, а толку все никакого: я не могу добиться, чтобы они перестали передавать его письма на волю и приносить ему ответы. Глупцы! Они влюблены в него, точно в женщину.

— Это любопытно. Должно быть, он необыкновенный человек.

— Необыкновенно искусный в дьявольских выдумках. Простите, ваше преосвященство, но, право же, этот человек выведет из терпения и святого. Вы не поверите, но мне самому приходится вести допрос, потому что офицер, на котором лежит эта обязанность, не мог выдержать больше.

— То есть как?..

— Это трудно объяснить, ваше преосвященство, но вы бы поняли, если бы услышали хоть раз, как Риварес держит себя на допросе. Можно подумать, что ведущий допрос офицер — преступник, а он — судья.

— Но что же он может сделать особенно страшного? Он может, конечно, отказаться отвечать на ваши вопросы, но у него нет другого оружия, кроме молчания.

— У него есть еще острый как бритва язык. Все мы грешные люди, ваше преосвященство, и большинство из нас наделало в свое время промахов. Никому не хотелось бы, чтобы о них знал весь свет. Такова уж человеческая натура. А тут вдруг выкапываются все ошибки, сделанные двадцать лет тому назад, и бросаются вам в лицо.

— Разве Риварес коснулся какого-нибудь личного секрета офицера, который вел допрос?

— Да. Видите ли, в бытность свою кавалерийским офицером бедный малый вошел в долги и взял займы небольшую сумму из полковой кассы...

— То есть, на самом деле, украл доверенные ему общественные деньги?

— О, это было, разумеется, очень дурно с его стороны, ваше преосвященство, но его друзья сейчас же внесли за него всю сумму, и дело, таким образом, замаяли. Он был из хорошей семьи и с тех пор был всегда безупречен. Не могу понять, откуда мог Риварес узнать про эту старую скандальную историю; но на первом же допросе он начал с того, что вывел ее на свет Божий, да еще в присутствии нижних чинов! И сделал при этом такое невинное лицо, как будто читал молитву! Само собой разумеется, что теперь об этом говорят во всем легатстве. Если бы вы, ваше преосвященство, побывали хоть на одном допросе, вы, конечно, поняли бы... Риварес ничего об этом не должен знать. Вы могли бы услышать все из...

Монтанелли повернулся к полковнику и посмотрел на него с выражением, какое редко бывало на его лице.

— Я служитель церкви,— сказал он,— а не полицейский шпион. Подслушивание у дверей не входит в круг моих профессиональных обязанностей.

— Я... я не хотел сказать ничего оскорбительного...

— Я думаю, что дальнейшее обсуждение этого вопроса не приведет ни к какому результату. Если вы пришлете заключенного ко мне, я поговорю с ним.

— Позволю себе почтительно посоветовать вашему преосвященству не пытаться разговаривать с ним. Он совершенно неисправим. Было бы и безопаснее и разумнее поступить на этот раз буквой закона и избавиться от него, пока он не натворил новых бед. С большой робостью решаюсь я настаивать на этом пункте после того, что вы, ваше преосвященство, сказали; но ведь в конце концов я ответствен за спокойствие города перед монсеньором легатом...

— А я,— прервал Монтанелли,— ответствен перед Богом и его святейшеством в том, чтобы в моем епископстве не было никаких противозаконных поступков. Раз вы настаиваете на своем, полковник, я позволю себе опереться на свою привилегию кардинала. Я не допущу тайного военного суда в мирное время в этом городе. Я приму заключенного здесь, и при этом без свидетелей, завтра в десять часов утра.

— Как вашему преосвященству будет угодно,— ответил полковник с мрачной почтительностью.

И ушел, ворча про себя: «Что касается упорства, то в этом они стоят друг друга».

Он никому ничего не говорил о предстоящей встрече Овода с кардиналом вплоть до той минуты, когда нужно было снять с заключенного кандалы и везти его во дворец. «Достаточно уж и

того,— сказал он своему племяннику,— что этот высокопреподобный сын Валаамовой ослицы по-своему распоряжается законом. Недоставало только, чтобы солдаты вступили в заговор с Риваресом и его друзьями и устроили побег с дороги».

Овод под усиленным конвоем вошел в комнату, где Монтанелли писал за столом, покрытым бумагами. И вдруг ему вспомнился жаркий летний день, когда он сидел, перелистывая рукописные проповеди, в кабинете, очень похожем на этот. Ставни были закрыты, как и тут, чтобы не пропускать жары, а на улице продавец фруктов кричал: «Fragola! Fragola!»

Гневным движением отбросил он назад волосы, падавшие ему на глаза, и изобразил на лице улыбку.

Монтанелли поднял голову.

— Вы можете подождать в прихожей,— сказал он конвойным.

— Да не прогневается ваше преосвященство,— начал сержант вполголоса, чувствуя себя, очевидно, очень неловко,— но полковник считает заключенного очень опасным и думает, что было бы лучше...

Глаза Монтанелли вспыхнули.

— Вы можете подождать в прихожей,— повторил он спокойным голосом.

Сержант и его солдаты покинули комнату с испуганными лицами, отдавая честь и бормоча извинения.

— Садитесь, пожалуйста,— сказал кардинал, когда дверь затворилась.

Овод сел, сохраняя молчание.

— Синьор Риварес,— начал Монтанелли после короткой паузы,— хочу предложить вам несколько вопросов и буду вам очень благодарен, если вы мне ответите на них.

— Мое главное занятие теперь в-выслушивать предлагаемые мне вопросы.

— И не отвечать на них? Так я, по крайней мере, слышал. Но те вопросы предлагались вам чиновниками, ведущими следствие. Они обязаны были бы использовать ваши ответы как улики против вас...

— А в-вопросы вашего преосвященства?

Желание оскорбить чувствовалось скорее в тоне, чем в словах.

Кардинал сразу понял. Но лицо его не потеряло своего серьезного и в то же время приветливого выражения.

— Мои,— сказал он,— останутся между нами, ответите ли вы на них или нет. Если они коснутся ваших политических тайн, вы, конечно, не ответите. В противном случае я надеюсь,

что вы это сделаете как личное одолжение мне, хотя мы совершенно и не знаем друг друга.

— Я в-весь к услугам вашего преосвященства.

Легкий поклон, сопровождавший эти слова, и выражение лица, с которым они были сказаны, отбили бы охоту просить одолжения даже и у очень храброго человека.

— Скажите мне прежде всего, что вы собирались делать с огнестрельным оружием, ввоз которого вам ставится в вину?

— У-убивать им крыс.

— Ужасный ответ. Разве братья-люди превращаются для вас в крыс, если не могут разделять ваших убеждений?

— Н-некоторые из них.

Монтанелли откинулся на спинку стула и в течение нескольких секунд молча глядел на своего собеседника.

— Что это у вас на руке? — спросил он вдруг.

— Старые с-следы от зубов все тех же крыс.

— Извините, я про другую руку говорю. Там свежая рана.

Тонкая, гибкая рука была вся изранена, и кожа на ней ободрана. Овод поднял ее. На вспухшем запястье темнело большое пятно от ушиба.

— С-сухая безделица, как видите. Когда меня арестовали благодаря вашему преосвященству, — он снова отвесил легкий поклон, — один из солдат наступил на эту руку ногой.

Монтанелли взял его руку в свои и принялся пристально рассматривать ее.

— Но почему она в таком ужасном состоянии теперь, когда прошло уже три недели? — спросил он. — Она вся воспалена.

— Возможно, что тяжесть кандалов была не слишком удачным лечением.

Кардинал нахмурился:

— Они надели кандалы на свежую рану?

— Р-разумеется, ваше преосвященство. Свежие раны для этого как раз годятся. От старых мало проку: они будут только ныть. Нельзя добиться, чтобы они болели как следует.

Монтанелли снова взглянул на Овода пристальным вопрошающим взглядом, потом встал и выдвинул ящик, полный хирургических принадлежностей.

— Дайте мне руку, — сказал он.

Овод протянул руку с неподвижным, каменным лицом. Монтанелли обмыл пораненное место и осторожно перевязал его. Очевидно, работа эта была для него привычной.

— Я переговорю с тюремным начальством насчет кандалов, — сказал он. — А теперь я хочу задать вам еще вопрос: что вы предполагаете делать дальше?

— Мой о-ответ очень прост, ваше преосвященство: убежать, если удастся. В противном случае умереть.

— Почему же умереть?

— Потому что, если начальнику не удастся добиться, чтобы меня расстреляли, меня приговорят к каторжным работам, а это для меня сведется к той же смерти: у меня не хватит здоровья вынести каторгу.

Опершись рукой о стол, Монтанелли молча размышлял. Овод не мешал ему. Он откинулся на спинку стула, полузакрыв глаза и отдался чудесному ощущению свободы от кандалов.

— Предположим,— снова начал Монтанелли,— вам удалось бы убежать. Что бы вы сделали тогда со своей жизнью?

— Я уже сказал вашему преосвященству: я стал бы убивать крыс.

— Стали бы убивать крыс. Следовательно, если бы я дал вам возможность убежать теперь отсюда,— предположим, что это в моей власти,— вы воспользовались бы вашей свободой, чтобы поддерживать насилие и кровопролитие, а не для того, чтобы предупредить их?

Овод поднял глаза на распятие, висевшее на стене.

— «Не мир, но меч»...* как видите, я в хорошем обществе. Хотя, что до меня, я предпочитаю пистолет.

— Синьор Риварес,— сказал кардинал с непоколебимым спокойствием,— я не оскорблял вас, не позволял себе говорить небрежным тоном о ваших убеждениях, ваших друзьях. Не вправе ли я надеяться на такую же деликатность и с вашей стороны? Или вы, может быть, желаете заставить меня подумать, что атеист не может быть джентльменом?

— А, я с-совершенно позабыл, что ваше преосвященство считает джентльменство одной из высших христианских добродетелей. Я припоминаю вашу проповедь во Флоренции, произнесенную по поводу моего спора с вашим анонимным защитником.

— Я как раз собирался поговорить с вами по этому поводу. Не будете ли добры объяснить мне причину того особенного озлобления, которое вы питаете ко мне? Если вы просто избрали меня мишенью для стрел вашего остроумия, то это другой вопрос. Ваши приемы политической борьбы — ваше собственное дело, да мы в данный момент и не ведем политического спора. Но мне тогда показалось, что вы питаете ко мне какую-то личную неприязнь, а если это так, то я был бы очень рад узнать, не сделал ли я вам когда-нибудь зла или не дал ли вообще повода к вражде.

Не причинил ли кардинал ему зла!

Овод поднял перевязанную руку к горлу.

— Пусть ваше преосвященство припомнит Шекспира, — сказал он с коротким смехом. — В одной из его пьес есть человек, который не может выносить одного безобидного полезного домашнего животного — кота. Я питаю такую же неприязнь к священникам. Вид ряссы вызывает у меня з-зубную боль.

— О, если дело только в этом... — Монтанелли показал жестом, что тема исчерпана. — Но все же, — прибавил он, — можно нападать, но не надо искажать факты. Отвечая на мою проповедь, вы заявили, что я знаю, кто скрывается под анонимом моего защитника. Это была ошибка. Я не обвиняю вас в сознательной лжи, но ваше заявление неверно. Я и по сей день не знаю имени этого писателя.

Овод с минуту глядел на кардинала очень серьезно, потом вдруг откинулся назад и разразился хохотом.

— О, s-sancta simplicitas!¹ Ах вы, милые, невинные жители Аркадии! Так вы не угадали, кто это был? Так и не увидели следов раздвоенного копыта?

Монтанелли поднялся.

— Иначе говоря, синьор Риварес, вы сами написали обе части диспута?

— Это было очень нехорошо, я знаю, — ответил Овод, глядя на кардинала своими большими невинными голубыми глазами. — А вы все это проглотили целиком, как устрицу. Я очень дурно поступил, но ведь это было так забавно.

Монтанелли закусил губы и снова сел. Он понял с самого начала, что Овод старается вывести его из себя, и решил сохранить самообладание во что бы то ни стало. Теперь он начал находить оправдание раздражению полковника. Человеку, который ежедневно в течение двух часов допрашивал Овода, можно простить, если он иной раз и выругается.

— Прекратим этот разговор, — сказал он спокойным тоном. — Я должен объяснить вам главную цель моего свидания с вами. Она заключается в следующем: благодаря моему положению здесь как кардинала, местные власти должны будут считаться с моим мнением при разрешении вопроса, как поступить с вами, если, конечно, я захочу воспользоваться своей привилегией. Я сделаю это только ради того, чтобы помешать совершиться насилию над вами, поскольку оно не будет необходимо, чтобы предотвратить возможность насилий с вашей стороны. И я послал за вами, чтобы узнать, не жалуетесь ли вы

¹ О, святая простота! (*лат.*)

на что-нибудь, — насчет кандалов я улажу, а во-вторых, я считал себя вправе посмотреть, что вы за человек, прежде чем подать свой голос.

— Я не предъявляю никаких жалоб, ваше преосвященство. *A la guerre comme a la guerre!*¹ Я не школьник и отнюдь не ожидаю, что правительство погладит меня по головке за контрабандный в-ввоз огнестрельного оружия на его территорию. Само собой разумеется, что оно мстит так сильно, как может. Что же касается того, какой я человек, то вы уже раз выслушали сделанную в несколько романтической форме исповедь моих грехов. Разве этого недостаточно? Или вы желаете, чтобы я повторил ее снова?

— Я вас не понимаю, — холодно произнес Монтанелли.

— Ваше преосвященство не забыли, конечно, старого богомольца Диего? — Овод вдруг изменил тон и затынул голосом Диего: — Я жалкий грешник..

Карандаш задрожал в руке Монтанелли.

— Это слишком! — сказал он, вставая.

Овод засмеялся и, откинув голову, принялся следить глазами за кардиналом, молча расхаживавшим по комнате.

— Синьор Риварес, — сказал Монтанелли, останавливаясь перед своим собеседником, — вы поступили со мной так, как не решился бы поступить даже со своим злейшим врагом ни один человек, рожденный женщиной. Вы проникли в тайну моего горя и сделали себе игрушку и посмешище из страдания вашего ближнего. Еще раз прошу вас сказать мне: сделал я вам когда-нибудь зло? А если нет, то зачем вы сыграли со мной такую бессердечную шутку?

Овод откинулся на спинку кресла и улыбнулся своей тонкой, холодной, загадочной улыбкой.

— Мне показалось это таким з-забавным, ваше преосвященство: вы так близко приняли к сердцу мои слова. И потом все это нап-помнило мне немного бродячий цирк..

У Монтанелли побелели губы, он отвернулся и позвонил.

— Можете увести заключенного, — сказал он вошедшим сторожам.

И когда они ушли, он присел к столу, весь дрожа от непривычного чувства негодования. Потом взялся было за книгу отчетов, присланных ему приходскими священниками его епархии, но вскоре оттолкнул их от себя и, наклонившись над столом, закрыл лицо руками. Овод как будто оставил за собой свою страшную тень.

¹ На войне как на войне! (*фр.*)

Глава IV

Вспышка гнева не помешала Монтанелли помнить о своем обещании. Он так энергично протестовал против кандалов, надетых на израненные руки заключенного, что несчастный полковник, окончательно потерявший голову, махнул на все рукой и велел совсем снять кандалы.

— Откуда мне знать,— ворчал он, обращаясь к адъютанту,— против чего еще будет протестовать его преосвященство? Если он называет жестокостью какую-нибудь пару наручников, то, пожалуй, он скоро поднимет войну против железных решеток или потребует, чтобы я кормил Ривареса устрицами и трюфелями! В дни моей молодости злодеи были злодеями. Так с ними и обращались. Никто тогда не считал, что изменник чем-либо лучше вора. Но нынче бунтовщики вошли в моду, и его преосвященству угодно, кажется, поощрять всех мерзавцев этого рода.

— Не понимаю, чего он вообще вмешивается,— заметил адъютант.— Он не папский легат и не имеет никакой власти в гражданских и военных делах. По закону...

— Стоит ли говорить о законе? Нельзя ожидать уважения к закону после того, как святой отец открыл тюрьмы и спустил с цепи всю банду либеральной сволочи! Это чистое безумие! Понятно, монсеньор Монтанелли проявляет теперь свою власть. Он еще и при его святейшестве, покойном Папе, достаточно пробрался вперед, а теперь стал самой что ни на есть первой фигурой. Сразу угодил в любимцы и теперь делает что ему вздумается. Куда уж мне тягаться с ним! Может быть, у него есть тайная инструкция из Ватикана, почем знать? Все теперь перевернулось вверх дном: нельзя даже предвидеть, что принесет с собою завтрашний день. В добрые старые времена люди знали, чего им держаться, а теперь...

...Овод в свою очередь вернулся в крепость в сильном нервном возбуждении, близком к истерике. Свидание с Монтанелли почти исчерпало запас его выносливости. Еще миг — и ее бы не хватило... Заключительная дерзость насчет бродячего цирка вырвалась в минуту полного отчаяния: необходимо было как-нибудь оборвать свидание, которое могло закончиться слезами, продлись оно еще пять минут.

...Когда несколько часов спустя его позвали на допрос, он на все предлагаемые ему вопросы отвечал лишь взрывами ис-

терического хохота. Когда же полковник, потеряв терпение, перестал сдерживаться и дал волю своему языку, Овод засмеялся таким неистовым смехом, каким он еще никогда не смеялся. Несчастный полковник рвал и метал, грозил своему непокорному узнику самыми невозможными карами и в конце концов пришел, как когда-то Джемс Бертон, к тому выводу, что не стоит напрасно тратить время и нервы: все равно ни в чем не убедить человека, так мало доступного доводам рассудка.

Овода отвели назад в его камеру; лежа на сеннике, он отдался мрачному, безнадежному настроению, всегда сменявшему у него буйные вспышки. До самого вечера лежал он так без движения, даже без мысли. После пережитого утром бурного волнения он впал в какое-то странное, апатичное состояние: его собственное страдание стало для него теперь чем-то посторонним и казалось придавившей его бесформенной и тяжелой массой, в которой давно уже угасла живая душа. Да, в сущности, не все ли равно, чем все это кончится? Единственное, что было важно для него, как и для всякого способного чувствовать существа, — это избавиться от невыносимых мук. Но прекратятся ли они благодаря изменившимся условиям жизни или благодаря тому, что умрет способность чувствовать, — это вопрос второстепенный. Быть может, ему удастся убежать, а может быть, его убьют, но, во всяком случае, он больше никогда не увидит уже падре. А все остальное — одна суета и напрасное терзание души.

Надзиратель принес ему ужин, и Овод взглянул на него тяжелым, равнодушным взглядом:

— Который час?

— Шесть часов. Я принес вам ужин, сударь.

Он с отвращением посмотрел на несвежее, дурно пахнувшее, простывшее кушанье и отвернулся. Он чувствовал себя не только разбитым душой, но и больным физически, и вид пицци поднимал в нем тошноту.

— Вы заболаете, если не будете есть, — поспешно сказал солдат. — Съешьте-ка хоть кусок хлеба, это вас подбодрит.

Он говорил со странной серьезностью в голосе, приподняв с тарелки кусок подмокшего хлеба. В Оводе вдруг проснулся конспиратор: он сразу угадал, что в хлебе было что-то спрятано.

— Оставьте, потом, пожалуй, съем, — сказал он небрежным тоном.

Дверь была открыта, и он знал, что сержанту, стоявшему на лестнице, слышно каждое слово их разговора.

Когда дверь снова заперли и он убедился, что никто не подсматривает за ним через глазок, он взял оставленный кусок хлеба и осторожно раскрошил его. Внутри он нашел связку тонких пилок, завернутую в клочок бумаги, на котором было написано несколько слов. Он тщательно расправил бумагу и поднес ее к скупо освещавшей камеру лампочке. Слова были написаны на таком маленьком пространстве и бумага была так тонка, что прочесть их было нелегко.

«Дверь отперта. Ночь безлунная. Перепилите решетки как можно скорее и приходите через подземный ход между двумя и тремя. Мы готовы, и другого случая может уже не представиться».

Он лихорадочно смял бумажку в руке. Итак, все готово, и ему надо только перепилить решетки на окне; какое счастье, что кандалы сняты! Не придется их пилить и тратить лишнее время. Сколько в решетке брусков? Два... четыре... и каждый надо перепилить в двух местах: итого восемь. О, он справится с ними, если поспешит... Как это Джемме и Мартини удалось устроить все так скоро? Достать костюмы, паспорта, квартиры? Они должны были работать, как ломовые лошади, чтобы успеть... А принят все-таки ее план. Он засмеялся про себя над своей глупостью: как будто это важно — ее ли это план или нет, был бы только хороший! Но в то же время ему было ужасно приятно: это она первая напала на мысль использовать подземный ход вместо веревочной лестницы, спуститься по которой предлагали сначала контрабандисты. Ее план был труднее и сложнее, но зато с ним не было сопряжено риска для жизни часового, стоявшего на посту по ту сторону восточной стены. Поэтому, когда ему были предложены оба плана, он не колеблясь выбрал план Джеммы.

Сообразно этому плану, Сверчок, сочувствовавший им часовой, должен был при первом благоприятном случае отпереть без ведома своих товарищей железную калитку, которая вела из тюремного двора к подземному ходу под валом, и потом повесить ключ обратно на гвоздь в караульной. Овод же, получив извещение, что калитка отперта, должен перепилить решетку в окне, разорвать рубашку на длинные полосы, сплести из них веревку и спуститься по ней на широкую восточную стену двора. Потом он должен был ползти по ней на четвереньках в те минуты, когда часовой будет глядеть в другую сторону, и ложиться плашмя и не шевелиться всякий раз, как тот повернется к нему. На юго-восточном углу стены была

небольшая башенка. Ее полуразрушенные стены удерживал от падения густо обвивавший их плющ. Много камней вываливалось и целой грудой лежало во дворе у самой стены. По этим камням и плющу Овод должен был спуститься во двор, потом осторожно отворить отпертую калитку и пройти через проход под валом в примыкающий к нему подземный туннель. Несколько веков тому назад этот туннель тайно соединял крепость с башней, стоявшей на соседнем холме. Теперь им никто не пользовался, и в некоторых местах он был завален обломками осевших скал. Одни только контрабандисты знали о существовании тщательно прикрытого отверстия в склоне горы, которое они прорыли до самого туннеля. Никто и не подозревал, что склады запрещенных товаров лежали часто по неделям под самым крепостным валом, в то время как таможенные чиновники тщетно обыскивали дома мрачных горцев, у которых глаза сверкали гневом. Овод должен был выползти через это отверстие на склон горы, а оттуда пробраться в темноте до условного места, где его должны были ожидать Мартини и один из контрабандистов. Случай отпереть калитку после вечернего обхода представлялся не каждый день. Нельзя было из окна спуститься в очень светлую ночь: риск быть замеченным часовым был слишком велик. Итак, сегодня у него были все шансы на успех, и он не должен терять этого случая.

Он сел и стал есть свой хлеб, не вызывавший в нем, по крайней мере, отвращения, как остальная тюремная пища. Надо было съесть что-нибудь, чтобы поддержать свои силы. Потом он решил прилечь немного и попытался заснуть. Было бы рискованно начать пилить раньше десяти часов, а между тем предстояла трудная работа.

Итак, падре все-таки думал устроить ему побег! Это было похоже на падре. Но он никогда не согласился бы. Что угодно, только не это! Если он убежит, то это будет дело рук его товарищей. Он не примет услуги от священника.

Как жарко! Будет, наверное, гроза. Воздух такой тяжелый, душный. Он беспокойно метался по своему сеннику, подложив под голову перевязанную правую руку вместо подушки. Потом выгасил ее. Как она горит! Какая колющая боль! И все старые раны начали болеть такой тупой, упорной болью... Что это с ними?.. О, какая нелепость. Это просто от погоды, перед грозой. Он заснет и отдохнет немного, прежде чем начнет пилить.

Восемь брусков, и все такие толстые и крепкие! Сколько ему еще осталось перепилить? Вероятно, уж немного! Ведь он уж пилит долго, бесконечно долго, и потому его рука так болит. И как болит! Насквозь, до самой кости! Но вряд ли работа могла вызвать такую боль. И та же жгучая, колющая боль в его хромой ноге... Неужели и это оттого, что он пилил? Он вскочил на ноги. Нет, он не спал. Он грезил с открытыми глазами, грезил, что пилит решетку, а она еще даже и не тронута. Вот она вырисовывается за окном, такая же крепкая, как всегда. На далеких башенных часах пробило десять. Пора приниматься за работу.

Заглянув в глазок и увидев, что никто за ним не следит, он вынул одну из пилок, спрятанных у него на груди.

Нет, с ним ничего не случилось — ничего! Все это одно воображение. Боль в боку от расстройства желудка, простуды или чего-нибудь в этом роде. Да оно и неудивительно после трех недель отвратительной тюремной жизни и тюремного воздуха. А эта колющая боль во всем теле и учащенный пульс — отчасти нервное, а отчасти — результат сидячей жизни. Да, да, так оно и есть! Всему виной сидячая жизнь. Как глупо не подумать об этом раньше!

Надо, однако, посидеть немного. Боль успокоится, и он снова примется за работу. Через минуту-другую все пройдет.

Сидеть спокойно хуже всего. Когда он сидит, боль мучит его беспощадно. Лицо его побледнело от ужаса. Нет, надо вставать и приниматься за работу. Надо стряхнуть с себя болезнь. Чувствовать или не чувствовать боль — зависит от усилия его воли: он не хочет ее чувствовать, он заставит ее утихнуть.

Он снова встал и сказал отчетливым голосом:

— Я не болен. Мне некогда быть больным. Я должен перепилить эти решетки, и мне нельзя заболеть.

Потом начал пилить.

Четверть одиннадцатого, половина, три четверти... Он пилил и пилил... и каждый раз, когда пила, визжа, прикасалась к железу, ему казалось, что кто-то пилит его тело и мозг. «Кто же будет перепилен первый? — сказал он себе, усмехнувшись. — Я или решетка?» Стиснув зубы, он продолжал пилить.

Половина двенадцатого. Он все еще пилил, хотя рука его распухла, одеревенела и с трудом держала пилу. Но нет... Он не может остановиться и отдохнуть: стоит только выпустить из рук это проклятое орудие, и уже не хватит мужества начать снова.

За дверью послышались шаги часового, и приклад его оружия ударился о притолоку. Овод перестал пилить и, не выпуская пилы из рук, оглянулся. Неужели открыли?

Какой-то маленький круглый предмет, брошенный через глазок, упал на пол камеры. Овод отложил пилу в сторону и наклонился, чтобы поднять его. Это был кусок свернутой в комок бумаги.

Так долго длился этот спуск, а черные волны захлестывали его со всех сторон... как они клокотали!

Ах да! Он ведь просто наклонился, чтобы поднять с полу комочек бумаги. У него немного закружилась голова. Но это часто бывает, когда наклонишься. Ничего особенного не случилось. Решительно ничего.

Он поднял бумажный шарик, поднес его к свету и аккуратно развернул.

«Приходите сегодня ночью во что бы то ни стало. Завтра Сверчка переводят в другое место. Это наша последняя возможность».

Он уничтожил эту записку, как и первую, поднял свою пилку и снова принялся за работу в суровом, немом отчаянии.

Час ночи. Он работал уже три часа, и шесть из восьми брусков были перепилены. Еще два, а потом можно будет вылезть.

Он стал припоминать случаи, когда им овладевали приступы ужасной болезни. В последний раз это было под Новый год. Дрожь охватила его при воспоминании о тех пяти ночах. Но тогда это наступило не так внезапно.

Он уронил пилку, поднял инстинктивным жестом обе руки кверху, и с губ его сорвались — в первый раз с тех пор, как он стал атеистом, — слова молитвы. Он молился в беспредельном отчаянии, молился, обращаясь в пространство — ни к кому в частности и ко всему на свете.

«Не сегодня! Пусть я заболею завтра! Я вынесу что угодно завтра, но только не сегодня!»

С минуту он стоял спокойно, сжав руками виски. Потом взял пилку и снова вернулся к работе.

Половина второго. Он взялся за последний брусок. Рукава его рубашки были изорваны в клочья; на губах выступила кровь, перед глазами стоял кровавый туман, пот ручьем катился с его лба, а он все пилил, пилил, пилил...

Только на рассвете удалось Монтанелли заснуть. Он был совершенно измучен страданиями бессонной ночи и некоторое время спал спокойно. Потом стал грезить.

Сначала это были неясные, сбивчивые грезы; обрывки образов, один другого фантастичнее, мчались в быстрой, хаотической смене. И от этих видений веяло страданием, борьбой и тенью безотчетного ужаса. Потом он увидел во сне бессонницу — старый, привычный, страшный сон, терзавший его в течение долгих лет. И хотя это было во сне, он сознавал, что все это снится ему не в первый раз.

Ему казалось, что он бродит по какому-то огромному пустырю, стараясь найти спокойный уголок, где можно прилечь и заснуть. Повсюду снуют люди, болтают, смеются, кричат, молят, звонят в колокола, бьют в разные металлические инструменты. Он уходит от них, удаляется на некоторое расстояние от шума, ложится то на траву, то на деревянную скамью, то на каменную плиту. Он закрывает глаза, кладет на них руки, чтобы свет не мешал ему, и говорит себе: «Теперь я усну». Но толпа снова приближается с громкими возгласами и воплями. Его зовут по имени, кричат ему: «Проснитесь, проснитесь скорее, вы нам нужны!»

А вот он попал в огромный дворец с массой пышно разубранных комнат, где всюду стоят кровати, диваны, низкие мягкие софы. Спускается ночь, и он говорит себе: «Ну, здесь наконец я найду спокойное местечко, чтобы выспаться». Он выбирает темную комнату и ложится, как вдруг в комнату входят с зажженной лампой в руках; беспощадно яркий свет режет ему глаза, и кто-то кричит над его ухом: «Вставайте, вас зовут!»

Он встает и идет дальше, шатаясь и спотыкаясь на каждом шагу, словно раненное насмерть животное. Часы бьют час, и он знает, что половина ночи уже прошла. Половина драгоценной короткой ночи! Два, три, четыре, пять — к шести весь город проснется, и тишине наступит конец.

Он идет в другую комнату и только что хочет лечь на кровать, как вдруг кто-то поднимается с подушек и кричит: «Этот моя кровать!» И с отчаянием в сердце он отступает.

Проходит час за часом, а он все бродит из комнаты в комнату, из коридора в коридор, из дома в дом. Уже забрезжило. Противный серый рассвет подкрадывается все ближе и ближе. Часы бьют пять. Ночь прошла, а он так и не нашел покоя. О ужас! Еще один день... еще один!

Он попадает в подземный коридор, низкий, сводчатый и бесконечно длинный. Весь коридор освещен яркими, как молния, лампами и люстрами, а сквозь решетчатый потолок

доносятся смех, веселая музыка, танцы. Там, наверху, над его головой, в мире живых людей, справляется, должно быть, какой-то праздник. О, если бы найти место, где можно было бы спрятаться и заснуть! Самое небольшое местечко, хотя бы могилу! Он говорит это и спотыкается о край могилы. Смертью и плесенью веет от нее. Но что за беда? Лишь бы выспаться.

«Это моя могила!» — кричит голос Глэдис.

Она поднимает голову и глядит на него широко открытыми глазами, высунув голову из-под истлевшего савана.

Он становится на колени и с мольбой протягивает к ней руки:

«Глэдис! Глэдис! Пожалей меня хоть немного! Позволь мне вползти, занять около тебя свободное место и заснуть. Я не прошу твоей любви. Я не прикоснусь к тебе, не заговорю с тобой. Позволь мне только лежать около тебя и спать! Дорогая, я так давно уже не спал! Я не вынесу больше ни одного дня. Свет прожигает мне душу, шум обращает в пыль мой мозг. Глэдис, позволь мне войти в твою могилу и спать!»

Он хочет закрыть ее саваном свои глаза. Но она отодвигается и в ужасе кричит:

«Это святотатство! Ведь ты священник!»

И он идет все дальше и дальше, и выходит на морской берег, на голые бесплодные скалы, освещенные безумно ярким светом. Вода тихо и жалобно стонет, непрерывно моля о покое.

«Ах,— говорит он,— море сжалится надо мной! Ведь оно само устало до смерти и не может спать».

Тогда из морской пучины встает Артур и громко говорит:

«Море мое!..»

— Ваше преосвященство! Ваше преосвященство!

Монтанелли разом проснулся. В дверь стучали. Он машинально поднялся и открыл ее, и пришедший разбудить его слуга увидел безумное, растерянное лицо.

— Ваше преосвященство, вы больны?

Монтанелли приложил руки ко лбу.

— Нет. Я спал, а вы испугали меня.

— Простите, ваше преосвященство. На рассвете мне показалось, что вы ходите, и я подумал...

— А теперь который час?

— Девять часов. Полковник приехал и желает вас видеть. Он говорит, что привез вам важные сообщения, и, зная, что ваше преосвященство поднимается рано...

— Он ждет меня внизу? Я сейчас сойду.

Он оделся и сошел вниз.

— Боюсь, что я нарушил этикет, явившись в такое необычное время к вашему преосвященству... — начал полковник.

— Надеюсь, ничего особенного не произошло?

— Произошло нечто очень важное: Риваресу чуть-чуть не удалось бежать.

— Если все-таки не удалось, значит, нет ничего важного. Как это было?

— Его нашли во дворе рядом с железной калиткой. Когда патруль обходил двор в три часа утра, один из солдат наткнулся на что-то, лежавшее на земле. Принесли свет и увидели, что это Риварес. Он лежал без сознания у самой калитки, поперек дороги. Сейчас же подняли тревогу. Меня разбудили. Я отправился осмотреть его камеру и увидел, что все бруски решетки выпилены и с окна свешивается веревка, сделанная из разорванного носильного белья. Он спустился по ней вниз и пробрался ползком вдоль стены. Железная калитка, ведущая в подземный ход, оказалась отпертой. Это заставляет предполагать, что стража подкуплена.

— Но каким образом он попал на дорогу к калитке? Он упал со стены и расшибся?

— Я именно так и подумал сначала, но тюремный врач не находит никаких следов падения. Солдат, бывший вчера дежурным, говорит, что вечером, когда Риваресу принесли ужин, он казался совсем больным и ничего не ел. Но этого не могло быть. Невозможная вещь, чтобы больной перепилил такую решетку и пробрался ползком по такой стене! Это немыслимо.

— Дает ли он сам какие-нибудь показания?

— Он без сознания, ваше преосвященство.

— Все еще?

— Минутами он как будто приходит немного в себя, стонет и затем снова забывается.

— Это очень странно. А доктор что думает?

— Он не знает, что и думать. Он не находит никаких признаков болезни сердца, которой только и можно было бы объяснить состояние больного. Но в чем бы ни состояла его болезнь, ясно, что она скрутила его внезапно, когда он уж почти совсем убежал. Что до меня, я полагаю, что его сразила рука милостивого Провидения.

Монтанелли нахмурился.

— Что вы собираетесь с ним делать? — спросил он.

— Этот вопрос будет решен в ближайшие дни. А пока что я получил хороший урок. Вот он — результат снятых кандалов, уж извините, ваше преосвященство.

— Надеюсь, — прервал Монтанелли, — что вы, по крайней мере, не закуете его снова, пока он болен. Человек в таком состоянии, как он теперь, вряд ли может сделать новую попытку к побегу.

«Уж я позабочусь, чтобы этого не случилось, — пробормотал полковник себе под нос, уходя. — Пусть его преосвященство хоть подавится всеми своими сентиментальными бреднями — мне все равно. Риварес теперь крепко закован, и я не сниму с него кандалов, будь он здоров или болен».

— Но как это могло случиться? Потерять сознание в последнюю минуту, когда все уже было готово, когда он был около калитки! Точно какая-то безобразная шутка!

— И по-моему, — вставил Мартини, — единственное, что можно предположить, — это что наступил припадок болезни, что он боролся с ним, пока хватило силы, а потом, когда уж спустился во двор, потерял сознание просто от изнеможения.

Марконе принялся яростно вытряхивать пепел из трубки.

— Как бы там ни было, а дело кончено, и мы ничего больше не можем сделать для него. Бедняга!

— Бедняга! — повторил Мартини вполголоса.

Он вдруг понял, что и для него самого мир с исчезновением Овода стал пустым и мрачным.

— А она что думает? — спросил контрабандист, указывая взглядом на другой конец комнаты, где одиноко сидела Джемма. Руки ее лежали неподвижно на коленях, а глаза смотрели прямо в пространство, ничего не различая перед собой.

— Я не спрашивал. Она ничего не говорит с тех пор, как все узнала. Нам лучше ее теперь не тревожить.

Она, казалось, не замечала их; но оба говорили тихим голосом, как будто в комнате находился покойник. Прошло несколько минут томительного молчания. Марконе встал и спрятал свою трубку.

— Я вернусь вечером, — сказал он.

Но Мартини остановил его жестом:

— Не уходите: мне надо еще поговорить с вами. — Он еще больше понизил голос и продолжал почти шепотом: — Так вы думаете, что действительно больше нет надежды?

— Не знаю, какая уж может быть надежда. Вторая попытка для нас невозможна. Если бы даже он и был достаточно здоров, чтобы выполнить свою часть работы, то мы не можем сделать нашей. Всех часовых меняют теперь, подозревая их

в соучастии. Сверчку уж не удастся вторично попасть в крепость — в этом вы можете быть уверены.

— А не думаете ли вы, — спросил вдруг Мартини, — что, когда он выздоровеет, мы сможем попытаться отвлечь внимание стражи и таким образом освободить его?

— Отвлечь внимание стражи? Что вы хотите сказать?

— Да мне пришла в голову мысль: если бы в день *Cogrus Domini**, когда процессия будет проходить мимо крепости, я внезапно загородил бы дорогу полковнику и выстрелил ему в лицо, все часовые бросились бы ловить меня, поднялась бы страшная суматоха, а вы и ваши товарищи могли бы в это время освободить его. Это даже еще и не план. Я только что это придумал.

— Вряд ли это удастся организовать, — сказал Марконе очень серьезно. — Надо, конечно, основательно все обдумать для того, чтобы иметь шансы на успех. Но... — он остановился и взглянул на Мартини, — но если бы и оказалось возможным устроить это, — взяли бы вы выстрелить в полковника?

— Взялся ли бы я? — повторил он. — Посмотрите на нее!

Других объяснений не понадобилось. Этими словами было все сказано. Марконе повернулся и посмотрел на Джемму.

Она не сделала ни одного движения с тех пор, как начался разговор. На лице ее не было ни сомнения, ни страха, ни даже страдания — ничего, кроме тени смерти. Глаза контрабандиста наполнились слезами, когда он взглянул на нее.

— Торопитесь, Микеле, — сказал Марконе, открывая дверь веранды. — Только вы двое еще не выбились из сил. Остается еще масса дел.

Микеле, а за ним Джино вышли на веранду.

— Я готов, — сказал Микеле. — Я хотел только спросить синьору...

Он хотел вернуться к ней, но Мартини дернул его за рукав:

— Не трогайте ее. Ей одной лучше.

— Оставьте ее в покое, — прибавил Марконе. — Проку не будет от наших утешений! Видит бог, всем нам тяжело. Но ей, бедняжке, хуже всех.

Глава V

Целую неделю Овод лежал в ужасном состоянии. Припадок был жестокий, а полковник, совсем озверевший от страха, не только заковал больного в ручные и ножные кандалы, но велел еще вдобавок привязать его к койке ремнями. Они были

затянуты так туго, что при каждом движении врезывались ему в тело. Вплоть до конца шестого дня он перенес все это со своим обычным угрюмым стоицизмом. Потом гордость его подалась, и он чуть не со слезами умолял тюремного доктора дать ему опиума. Доктор охотно согласился, но полковник, услышав о просьбе, строго воспретил «такое баловство».

— Откуда вы знаете, зачем ему понадобился опиум?— сказал он.— Очень возможно, что он все это время только притворялся и что он хочет усыпить часового или выкинуть еще какую-нибудь штуку. У него хватит хитрости на что угодно.

— Если я дам ему небольшую дозу, то это вряд ли поможет ему усыпить часового,— ответил доктор, не будучи в состоянии подавить улыбку.— Ну а притворства бояться не стоит. Он почти наверное умрет.

— Как бы там ни было, а я не позволю дать ему опиум. Если человек хочет, чтобы с ним нежничали, пусть будет попокладистой. Он вполне заслужил применение довольно суровых мер. Может быть, это послужит ему уроком и научит его обращаться осторожнее с оконными решетками.

— Закон, однако, запрещает пытки,— позволил себе заметить доктор,— а эти «довольно суровые меры» очень близки к ним.

— Закон, надеюсь, ничего не говорит об опиуме,— сказал полковник с раздражением в голосе.

— Вам, конечно, решать, полковник. Надеюсь, однако, что вы позволите снять, по крайней мере, ремни. Они совершенно излишни и только увеличивают его страдания. Теперь нечего бояться, что он убежит. Он не мог бы держаться на ногах, если бы даже вы и освободили его от оков.

— Доктора могут ошибаться, как и всякий другой смертный. Он у меня крепко привязан и так останется впредь.

— Ну, так прикажите хоть отпустить ремни посвободнее. Истинное варварство — затягивать их так туго.

— Они останутся как есть. И я вас покорнейше прошу, сударь, не говорить со мной более о варварстве. Если я что-нибудь делаю, значит, имею на то основание.

Таким образом, облегчения не было и в седьмую ночь. И солдат, стоявший на часах у дверей камеры Овода, всю ночь дрожал и крестился, слушая душераздирающие стоны узника. Выносливость его изменила ему наконец.

В шесть часов утра, прежде чем уйти со своего поста, часовой осторожно отпер дверь и вошел в камеру. Он знал, что

совершает серьезное нарушение дисциплины, но не мог все-таки уйти, не утешив страдальца дружеским словом.

Овод лежал не шевелясь, с закрытыми глазами и полуоткрытым ртом. С минуту солдат молча стоял над ним, потом наклонился и спросил:

— Не могу ли я сделать что-нибудь для вас, сударь? Торопитесь, у меня всего одна минута.

Узник открыл глаза.

— Оставьте меня,— простонал он,— оставьте меня в покое.

И прежде чем часовой успел вернуться на свое место, он уже спал.

Десять дней спустя полковник снова зашел во дворец, но ему сказали, что кардинал ушел навестить больного в Пьеве-д'Оттаво и не вернется раньше вечера.

Вечером, когда полковник садился за обед, вошел слуга и доложил:

— Его преосвященство желает поговорить с вами.

Полковник бросил на себя быстрый взгляд в зеркало, чтобы убедиться, что мундир его в порядке, потом принял исполненный достоинства вид и вышел в переднюю. Там ждал его Монтанелли. Он сидел, задумчиво глядя в окно и постукивая пальцами по ручке кресла. Между бровей его легла тревожная складка.

— Мне сказали, что вы были у меня сегодня,— сказал он, круто обрывая вежливое приветствие полковника, и принял почти повелительный вид, какого у него никогда не бывало при разговоре с крестьянами.— Вероятно, вы приходили по тому самому делу, о котором и я хотел поговорить с вами.

— Мое дело касается Ривареса, ваше преосвященство.

— Я так и предполагал. Я много думал о нем последние дни. Но прежде чем говорить об этом, я хотел бы знать, не хотите ли вы сообщить мне чего-нибудь нового.

Полковник смущенно дергал усы.

— Дело в том, что я приходил узнать, не хочет ли ваше преосвященство чего-нибудь мне сказать. Если вы все еще противитесь предложенному плану, я буду очень рад получить от вас совет, что делать, ибо, по чести, я не знаю, как мне быть.

— Разве есть новые затруднения?

— В следующий четверг, третьего июля, Corpus Domini, и вопрос так или иначе должен быть решен до того дня.

— Да, в четверг Corpus Domini, это так. Но почему вопрос должен быть решен до этого дня?

— Мне очень неприятно, ваше преосвященство, что я как будто становлюсь в оппозицию к вам, но я не могу взять на себя ответственность за спокойствие города, если до тех пор мы не избавимся от Ривареса. В этот день, как вашему преосвященству известно, сюда собирается почти все население гор. Более чем вероятно, что будет сделана попытка силою открыть ворота крепости и освободить его. Это не удастся. Я уж об этом позабочусь, хотя бы мне пришлось отогнать их от ворот пулями. Что-нибудь в таком роде непременно случится в этот день. Здесь, в Романье, народ бесшабашный, и раз уж будут пущены в ход ножи...

— Я думаю, что можно постараться не довести дело до ножей. Я всегда находил, что со здешним народом очень легко справиться при умении обходиться с ним. Разумеется, если начать противоречить романцу или угрожать, то он непременно закусит удила. Но разве у вас есть основание предполагать, что затевается новая попытка освободить Ривареса?

— Я узнал вчера и сегодня утром от своих доверенных агентов, что по области циркулирует множество тревожных слухов и что готовится, очевидно, что-то недоброе. Но невозможно узнать подробности. Если бы мы знали их, легче было бы принять все меры предосторожности. Что касается меня, то после последней истории я предпочитаю действовать как можно осмотрительнее.

— В прошлый раз вы говорили, что Риварес сильно болен и не может ни двигаться, ни говорить. Он, значит, теперь выздоравливает?

— По-видимому, ему гораздо лучше, ваше преосвященство. Он был очень серьезно болен, если, конечно, не притворялся.

— У вас есть повод подозревать это?

— Доктор вполне убежден, что он не притворяется, но болезнь его весьма таинственного характера, должен я сказать. Так или иначе, а он выздоравливает, и с ним теперь труднее сладить, чем когда-нибудь.

— Что же он такое делает?

— К счастью, он почти ничего не может сделать, — ответил полковник и улыбнулся, вспомнив про ремни. — Но его манера держаться — это что-то неопишное. Вчера утром я пошел в его камеру, чтобы предложить ему несколько вопросов. Он слишком плох еще, чтобы приходить на допрос ко мне. Да и лучше, чтобы его не видели посторонние, пока он оконча-

тельно не поправится. Это было бы даже рискованно. Сейчас же сочинят какую-нибудь историю.

— Итак, вы отправились допрашивать его?

— Да, ваше преосвященство. Я надеялся, что он теперь помнил хоть немного.

Монтанелли посмотрел на своего собеседника таким взглядом, как будто изучал новую для себя и неприятную зоологическую разновидность.

Но, к счастью, полковник поправлял в это время свою португую и, ничего не заметив, продолжал невозмутимым тоном:

— Я не прибежал ни к каким чрезвычайным мерам, но был вынужден проявить некоторую строгость, тем более что ведь у нас военная тюрьма. Я надеялся потому, что кое-какие послабления могут оказаться теперь благотворными. Я предложил ему значительно смягчить режим, если он согласится вести себя разумно. Но как вы думаете, ваше преосвященство, что он мне ответил? С минуту он глядел на меня точно волк, попавший в западню, а потом сказал совершенно мирным тоном: «Полковник, я не могу встать и задушить вас, но зубы у меня довольно хорошие. Держите-ка ваше горло подальше». Он неукротим, как дикая кошка.

— Меня все это нимало не удивляет,— спокойно ответил Монтанелли.— Я хочу теперь задать вам вопрос: вы искренно верите, что присутствие Ривареса в здешней тюрьме представляет серьезную опасность для спокойствия области?

— Самым искренним образом, ваше преосвященство.

— Вы думаете, что для предотвращения кровопролития абсолютно необходимо так или иначе избавиться от него перед Corpus Domini?

— Я могу только повторить, что если он будет еще здесь в четверг, то праздник не обойдется без свалки, и, по всей вероятности, очень серьезной.

— И, по вашему мнению, стоит только удалить его отсюда, как это предотвратит опасность?

— Тогда беспорядка или совсем не будет, или, в худшем случае, немного покричат и побросаются камнями. Если ваше преосвященство найдет способ избавиться от него, я отвечаю за порядок. В противном случае я ожидаю серьезных событий. Я убежден в том, что готовится новая попытка его освобождения и что ее можно ожидать именно в четверг. Если же в этот день узнают, что его уже нет в крепости, этот план отпадет сам собою. А если нам придется отбиваться и в

огромной толпе народу пойдут гулять ножи, то город будет, вероятно, сожжен, прежде чем наступит ночь.

— Почему вы, в таком случае, не переведете его в Равенну?

— Видит бог, ваше преосвященство, я с радостью бы сделал это! Но тогда невозможно будет помешать попытке освободить его по дороге. У меня недостаточно солдат, чтобы отбить вооруженное нападение, а у всех горцев имеются ножи или кремневые ружья, или еще что-нибудь в этом роде.

— Вы продолжаете, следовательно, настаивать на военном суде и хотите получить мое согласие?

— Простите, ваше преосвященство: единственно, о чем я вас прошу,— это помочь мне предотвратить беспорядки и кровопролитие. Охотно допускаю, что военно-полевые суды вроде того, где председательствовал полковник Фрэди, были иногда без нужды строги и только возбуждали народ, вместо того чтобы смирить его. Но в данном случае военный суд был бы разумной мерой, а в конечном счете и милосердной. Он предупредил бы беспорядки, которые сами по себе составляют уже несчастье и могут, весьма вероятно, вызвать возвращение военно-полевых судов, отмененных его святейшеством.

Полковник закончил свою короткую речь с большой торжественностью и ждал ответа кардинала. Ждать пришлось долго, и ответ поразил его своей неожиданностью:

— Полковник Феррари, верите ли вы в Бога?

— Ваше преосвященство! — пробормотал полковник прерывающимся от волнения голосом.

— Верите ли вы в Бога? — повторил Монтанелли, вставая и глядя на него пристальным, испытующим взглядом.

Полковник встал.

— Ваше преосвященство, я христианин, и мне никогда еще до сих пор не отказывали в отпущении грехов.

Монтанелли поднял с груди крест.

— Так поклянитесь же на кресте Искупителя, умершего за вас, что вы сказали мне правду.

Полковник стоял неподвижно, растерянно глядя на кардинала. Он никак не мог разобраться, кто из них двоих лишился рассудка: он или Монтанелли.

— Вы просили,— продолжал Монтанелли,— чтобы я дал свое согласие на смерть человека. Поцелуйте же крест, если совесть позволяет вам это сделать, и скажите мне еще раз, что вы не знаете иного средства предотвратить кровопролитие. И помните, что если вы скажете неправду, то погубите свою бессмертную душу.

Несколько мгновений оба молчали, потом полковник наклонился и приложил крест к губам.

— Я не знаю другого средства,— сказал он.

Монтанелли медленно повернулся, чтобы уходить.

— Завтра я дам вам определенный ответ. Но я должен сначала видеть Ривареса и говорить с ним наедине.

— Ваше преосвященство... если мне позволено будет дать вам совет... я уверен, что вы потом пожалеете. Да, кстати, он вчера прислал сказать мне, что желает видеть вас, но я оставил это без внимания, потому что...

— Оставили без внимания! — повторил Монтанелли.— Человек обращается к вам в такой крайности, а вы оставляете без внимания!

— Весьма сожалею, что ваше преосвященство так недовольны. Я не хотел беспокоить вас для того только, чтобы вы слушали его дерзости. Я уж достаточно хорошо знаю теперь Ривареса, чтобы быть уверенным, что он желает просто-напросто нанести вам оскорбление. И позвольте уж мне, кстати, сказать вам, что подходить к нему близко без стражи отнюдь не безопасно. Настолько даже небезопасно, что я счел необходимым обезвредить его применением мер, довольно, впрочем, мягких...

— Так вы действительно думаете, что небезопасно приближаться к больному невооруженному человеку, которого вы вдобавок позаботились «обезвредить применением довольно мягких мер»?

Монтанелли говорил спокойным голосом, но полковник почувствовал в его тоне скрытое презрение, и краска злости залила его лицо.

— Ваше преосвященство поступит так, как сочтет лучшим,— сказал он очень сухо.— Я хотел только избавить вас от неприятности выслушивать его ужасные богохульства.

— Что вы считаете более тяжелым для христианина — слушать богохульства или покинуть брата-человека, находящегося в последней крайности?

Полковник стоял вытянувшись и весь застыл в своей официальной сухости. Лицо его казалось совершенно деревянным. Он был глубоко оскорблен обращением с ним Монтанелли и проявлял свое недовольство подчеркнутой официальной манер.

— В котором часу желаете, ваше преосвященство, посетить заключенного? — спросил он.

— Я сейчас иду к нему.

— Как вашему преосвященству угодно. Не будете ли добры подождать здесь немного, пока я пошлю кого-нибудь сказать, чтобы его приготовили?

Полковник сразу спустился со своего официального пьедестала. Он не хотел, чтобы Монтанелли видел ремни.

— Благодарю вас; я предпочитаю видеть его как он есть, без всяких приготовлений. Я иду прямо в крепость. До свиданья, полковник. Завтра утром я дам вам свой ответ.

Глава VI

Овод услышал, что дверь его камеры отпирают, и медленно, безучастно повернул глаза. Он думал, что это опять идет полковник изводить его новым допросом. По узкой лестнице слышались шаги солдат, и карабины их звякали, ударяясь о стену.

Потом кто-то произнес почтительным голосом:

— Ступеньки-то здесь крутые, ваше преосвященство.

Овод судорожно рванулся вперед, но ремни больно впились в его тело, и он весь съежился, с трудом переводя дыхание.

В камеру вошел Монтанелли, а за ним сержант и трое часовых.

— Ваше преосвященство, будьте добры подождать минуточку, — заговорил сержант, и голос его слегка дрожал. — Сейчас вам стул принесут. Я послал за ним человека. Уж вы извините, ваше преосвященство: если бы мы вас ожидали, мы бы все приготовили.

— Ничего не надо было готовить, сержант. Будьте добры оставить меня наедине с узником. Подождите меня внизу.

— Слушаю, ваше преосвященство. А вот и стул принесли. Около него прикажете поставить?

Овод лежал с закрытыми глазами, но чувствовал на себе взгляд Монтанелли.

— Он, кажется, спит, ваше преосвященство... — снова начал сержант.

Но в эту минуту Овод открыл глаза.

— Нет, не сплю, — сказал он.

Солдаты уже повернулись уходить, но внезапно вырвавшееся у Монтанелли восклицание остановило их.

Он наклонился над узником и рассматривал его ремни.

— Кто это так распорядился? — спросил он.

Сержант сделал под козырек.

— Начальник так приказал, ваше преосвященство.

— Я ничего об этом не знал, синьор Риварес,— сказал Монтанелли, и глубокая грусть слышалась в его голосе.

Овод улыбнулся своей обычной жесткой улыбкой.

— Я уже сказал вашему преосвященству, что я вовсе не ожидал, чтобы меня п-погладили по головке.

— Когда было отдано распоряжение, сержант?

— После его попытки бежать, ваше преосвященство.

— Больше двух недель тому назад? Принесите нож и сейчас же разрежьте ремни.

— Простите, ваше преосвященство, доктор тоже хотел снять их, но полковник Феррари не позволил.

— Принесите немедленно нож.

Монтанелли не повысил голоса, но лицо его побледнело от гнева. Сержант вынул из кармана складной нож и, наклонившись над узником, принялся разрезать ремень, перехватывающий руку. Он делал это очень неуклюже и неловким движением затянул ремень еще сильнее.

Овод вздрогнул и закусил губу, несмотря на все свое самообладание. Монтанелли быстро шагнул вперед.

— Вы не умеете, дайте мне нож.

Овод расправил руки, и из груди его вырвался протяжный вздох облегчения. Еще мгновение, и Монтанелли освободил его ноги.

— Снимите с него кандалы, сержант, а потом подойдите ко мне: я хочу поговорить с вами.

Монтанелли отошел к окну и молча глядел, как сержант снимал с заключенного оковы. Кончив, тот приблизился к нему.

— Теперь,— сказал Монтанелли,— расскажите мне все, что произошло за это время.

Сержант не заставлял его повторить вопрос и с полной готовностью рассказал обо всем, что знал: о болезни Овода, о примененных к нему «дисциплинарных мерах» и о неудачной попытке доктора вмешаться.

— Но я, ваше преосвященство, так полагаю,— прибавил он,— что полковник нарочно не велел снимать с него ремней, чтобы заставить его дать показание.

— Показание?

— Да, ваше преосвященство. Я слышал третьего дня, как полковник предложил ему снять ремни, если только он,— тут

сержант бросил быстрый взгляд на Овода, — согласится отвечать.

Монтанелли гневно ударил по подоконнику. Солдаты с удивлением переглянулись: они еще никогда не видели, чтобы добрый кардинал гневался.

А Овод в эту минуту забыл об их существовании, забыл обо всем на свете, кроме физического ощущения свободы... Все его члены онемели, и он, наслаждаясь, вытягивал их, поворачивался с боку на бок.

— Теперь вы можете идти, сержант, — сказал кардинал. — Не беспокойтесь, вы не совершили никакого нарушения дисциплины: вы обязаны были рассказать мне обо всем, раз я вас спросил. Позаботьтесь, чтобы нам никто не мешал. Я приду к вам, когда кончу.

Когда дверь за солдатами закрылась, он оперся локтем о подоконник и смотрел несколько минут на заходящее солнце, предоставляя Оводу подольше насладиться свободой.

— Мне сообщили, что вы желаете поговорить со мной наедине, — сказал он наконец, отходя от окна и сядя у сеника, на котором лежал узник. — Если вы чувствуете себя достаточно хорошо, то я к вашим услугам.

Он говорил холодно, суровым, повелительным тоном, совершенно для него необычным. Пока ремни не были сняты, Овод был для него лишь страдающим, замученным человеческим существом, — но теперь ему вспомнился их последний разговор и смертельное оскорбление, которым он закончился.

Овод откинул голову на руки и поднял глаза на кардинала.

Он обладал прирожденной грацией движений и поз, и, взглянув на его фигуру, пока лицо оставалось в тени, никто не угадал бы, через какой ад прошел этот человек. Но когда он поднял голову и при свете догорающего дня можно было разглядеть его блуждающие глаза, бледное лицо и страшный неизгладимый след, оставленный на нем страданиями последних дней, — гнев Монтанелли исчез.

— Вы, кажется, были очень больны, — сказал он. — Глубоко сожалею, что я не знал всего этого раньше. Я прекратил бы эти истязания.

Овод пожал плечами.

— На войне не разбирают средств, — холодно сказал он. — Ваше преосвященство не признает ремней теоретически, с христианской точки зрения, но вряд ли справедливо требовать, чтобы полковник разделял ваши воззрения. Он, без со-

мнения, предпочел бы не знакомиться с ремнями на своей собственной шкуре, но я к-как раз так же смотрю на этот предмет. Это лишь вопрос личного удобства. В данный момент я оказался побежденным,— чего же вы хотите?.. Во всяком случае, было очень любезно с вашей стороны, ваше преосвященство, посетить меня. Но, может быть, вы и это сделали на основании христианской морали? Посещение заключенных. О да! Я и позабыл: «И кто напоит одного из малых сих...»* — и так далее. Не особенно это лестно, но один из «малых сих» вам чрезвычайно благодарен.

— Синьор Риварес,— прервал кардинал,— я пришел сюда по вашему желанию, а не по моему. Если бы вы не «оказались побежденным», как вы выражаетесь, то я никогда не заговорил бы с вами снова после нашего последнего разговора. Но у вас двойная привилегия: заключенного и больного, и я не мог отказаться прийти. Вы действительно хотите что-нибудь сказать мне теперь или вы послали за мной лишь для того, чтобы позабавиться, издеваясь над стариком?

Ответа не было. Овод отвернулся и закрыл глаза рукой.

— Извините... что приходится вас беспокоить,— сказал он наконец хриплым голосом.— Дайте мне, пожалуйста, немного воды.

На окне стояла кружка с водой; Монтанелли встал и принес ее. Наклонившись над узником и приподняв его за плечи, он вдруг почувствовал, как холодные влажные пальцы Овода сжали его руку, словно тисками.

— Дайте мне вашу руку... скорее... на одну только минуту,— прошептал больной.— О, ведь от этого ничто не изменится! Только на минуту!

Он опустился в изнеможении, прислонившись головой к плечу Монтанелли и дрожа всем телом.

— Выпейте воды,— сказал Монтанелли после короткой паузы.

Овод молча повиновался, потом снова лег на сенник с закрытыми глазами. Он сам не мог бы объяснить, что с ним произошло, когда рука Монтанелли коснулась его щеки. Он сознавал только, что это была самая страшная минута во всей его жизни. Монтанелли ближе придвинул свой стул к сеннику и снова сел. Овод лежал без движений, как труп, с вытянутым посиневшим лицом. Так прошло довольно много времени. Наконец он открыл глаза, и его блуждающий, как у призрака, взгляд остановился на Монтанелли.

— Благодарю вас,— сказал он.— И прошу прощения. Вы, кажется, задали мне вопрос?

— Вам нельзя говорить. Если вы желаете сказать мне что-нибудь, то я постараюсь прийти к вам завтра.

— Пожалуйста, не уходите, ваше преосвященство. Право, я совсем здоров. Я просто немного поволновался за последние дни. Да и то больше притворялся,— спросите-ка полковника, он вам все это расскажет.

— Я предпочитаю делать собственные выводы,— спокойно ответил Монтанелли.

— И полковник тоже. И они, право, бывают иногда остроумны. Это трудно предположить, судя по его внешности, но иногда он нападает на оригинальные идеи. В прошлую пятницу, например,— кажется, это было в пятницу — я стал немного путать дни в последнее время, ну, да все равно,— я попросил дозу опиума. Это-то я помню очень хорошо. А он пришел сюда и сказал, что я могу получить опиум, если соглашусь сказать, кто о-отпер мне калитку. Помню, он сказал: «Если вы действительно больны, вы согласитесь; если же вы откажетесь, то я сочту это за д-доказательство того, что вы притворяетесь». Мне ни р-разу еще не приходило в голову, что это ужасно смешно. Это з-забавнейшая вещь...

Он вдруг разразился громким, режущим ухо смехом. Потом разом повернулся к кардиналу и продолжал говорить все быстрее и быстрее и заикаясь так, что с трудом можно было разобрать слова:

— Разве вы не находите, что это забавно? Ну к-конечно, нет. У лиц д-духовного звания никогда не бывает чувства юмора. Все вы принимаете т-трагически. В ту, н-например, ночь, в соборе — как вы торжественны были! Да, между прочим, к-какой я, должно быть, п-патетический вид имел в костюме п-пилигрима! Я не д-думаю, чтобы вы п-пони-мали смешную сторону д-даже того дела, из-за к-которого п-пришли сюда сегодня в-вечером.

Монтанелли поднялся.

— Я пришел выслушать вас, но вы, очевидно, слишком возбуждены, чтобы говорить сегодня. Пусть лучше доктор даст вам прежде что-нибудь успокоительное, а завтра утром, когда вы выспитесь, мы поговорим.

— В-высплюсь? О, я буду с-спать достаточно хорошо, ваше преосвященство, когда вы д-дадите ваше с-с-согласие на план полковника. Унция свинца — п-превосходное снотворное.

— Я вас не понимаю,— сказал Монтанелли, поворачиваясь к нему с недоумевающим видом.

Овод снова разразился взрывом хохота:

— Ваше преосвященство, ваше преосвященство, п-правдивость — г-главнейшая из христианских добродетелей! Н-неужели вы д-думаете, что я н-не знаю, как настойчиво добивался полковник вашего с-согласия на военный суд? Уж, п-право, было бы лучше дать его, ваше преосвященство, да и все ваши собратья-прелаты* сделали бы это на вашем месте. Вы бы сделали т-так много хорошего и так мало вреда! Уверяю вас, не стоит этот вопрос всех бессонных ночей, которые вы над ним провели.

— Прошу вас, перестаньте на минуту смеяться,— прервал его Монтанелли,— и скажите, откуда вы все это знаете. Кто с вами говорил обо всем этом?

— Р-разве полковник вам н-ни разу не говорил, что я д-дьявол, а не человек? Нет? А мне он это часто говорил! Да, я в д-достаточной степени дьявол, чтобы з-знать, о чем люди д-думают. Вы, ваше преосвященство, считаете меня ч-чертовски неприятным человеком, и в данную минуту вам было бы очень ж-желательно, чтобы кто-нибудь другой в-вынужден был решать вопрос, что со мной делать, и чтобы ваша чуткая совесть не была, т-таким образом, п-потревожена. Довольно п-правильно угадано, не правда ли?

— Выслушайте меня,— сказал кардинал с очень серьезным лицом, снова садясь рядом с ним.— Это правда, каким бы вы путем все это ни узнали. Полковник Феррари опасается со стороны ваших друзей новой попытки освободить вас и хочет предупредить ее... способом, о котором вы говорили. Как видите, я говорю с вами вполне откровенно.

— Ваше п-преосвященство в-всегда с-славились своей п-правдивостью,— вставил Овод голосом, полным горечи.

— Вы, конечно, знаете,— продолжал Монтанелли,— что юридически я не имею голоса в светских делах. Я епископ, а не легат. Но я пользуюсь в этом округе довольно большим влиянием и не думаю, что полковник решится на такие крайние меры, если не получит на то хотя бы моего безмолвного согласия. Вплоть до сегодняшнего дня я был абсолютно против его плана. Теперь он усиленно пытается поколебать мое мнение, уверяя меня, что в четверг, когда сюда соберется народ поглядеть на процессию, нам грозит серьезная опасность вооруженной попытки освободить вас, что может окончиться кровопролитием. Вы слушаете меня?

Овод рассеянно глядел в окно. Он обернулся и ответил усталым голосом:

— Да, я вас слушаю.

— Может быть, вы все-таки недостаточно крепки сегодня для этого разговора? Не прийти ли мне лучше завтра поутру? Вопрос очень серьезен и требует, чтобы вы отнеслись к нему с полным вниманием.

— Я предпочел бы покончить с ним сегодня,— ответил Овод все так же устало.— Я вникаю во все, что вы говорите.

— Итак, если действительно верно,— продолжал Монтанелли,— что из-за вас могут вспыхнуть беспорядки, что поведет к кровопролитию, то я беру на себя ужасную ответственность, противодействуя полковнику. Думаю также, что в словах его есть доля истины. Хотя, с другой стороны, его личная неприязнь к вам мешает ему, вероятно, быть беспристрастным и заставляет преувеличивать опасность. Это кажется мне еще более возможным после того, как я увидел доказательства его возмутительной жестокости.

Кардинал взглянул на ремни и кандалы, лежавшие на полу, и продолжал:

— Дать свое согласие — значит подписать ваш смертный приговор. Отказать в нем — значит подвергнуть риску жизнь невинных. Я очень серьезно обдумал вопрос и всей душой старался найти какой-нибудь выход. Теперь, наконец, я принял определенное решение.

— Убить меня и спасти невинных? Это единственное решение, к которому может прийти добрый христианин. «Если правая рука соблазняет тебя...»* — и так далее. А я даже не имею чести быть правой рукой вашего преосвященства, и притом я оскорбил вас. В-вывод ясен. Но неужели вы не могли сказать мне все это без такого длинного вступления?

Овод говорил вяло и безучастно, с оттенком пренебрежения в голосе, как человек, которому уже надоел предмет спора.

— Ну что же? — сказал он после короткой паузы.— Это и было решение вашего преосвященства?

— Нет.

Овод переменил позу, заложил руки под голову и посмотрел на Монтанелли из-под полуопущенных ресниц. Кардинал сидел в глубоком раздумье. Голова его низко опустилась на грудь, а пальцы медленно постукивали по ручке стола. О, этот старый, так хорошо знакомый жест.

— То, что я решил сделать,— сказал он наконец, поднимая голову,— вероятно, никем еще не делалось раньше. Когда мне

сказали, что вы хотите меня видеть, я решил прийти сюда, рассказать вам все и предоставить вам самому решить вопрос.

— Предоставить... мне самому?

— Синьор Риварес, я пришел к вам не как кардинал, не как епископ и не как судья. Я пришел к вам как человек к человеку. Я не предлагаю вам сказать мне, известны ли вам планы вашего освобождения, о которых говорил полковник: я очень хорошо понимаю, что если вы об этом знаете, то это составляет вашу тайну, которой вы мне не откроете. Но я прошу вас образовать себя на моем месте. Я стар, и мне уже немного остается жить. Я хотел бы сойти в могилу с руками, не запятнанными ничьей кровью.

— А до сих пор они еще вполне чисты от крови, ваше пресвященство?

Монтанелли немного побледнел, но продолжал спокойным голосом:

— Всю свою жизнь я восставал против насилия и жестокости, где бы я с ними ни сталкивался. Я всегда протестовал против смертной казни во всех ее формах. В предыдущее царствование я неоднократно и настойчиво высказывался против военнопольных судов, за что и впал в немилость. Все влияние, каким я пользовался в жизни, я всегда, вплоть до сегодняшнего дня, употреблял на дело милосердия. Прошу вас, верьте, по крайней мере, что я говорю правду. Теперь предо мною трудная задача. Отказываясь согласиться на предложение полковника, я подвергаю город опасности беспорядков со всеми последствиями ради того только, чтобы спасти жизнь одного человека. Этот человек поносил мою религию, преследовал клеветой и оскорблениями меня лично (это, впрочем, совсем не важно) и свою жизнь — я в этом не сомневаюсь — обратит во зло, если ему оставят жизнь. И все-таки речь идет о жизни человека.

С минуту он помолчал, потом снова заговорил:

— Синьор Риварес, все, что я знаю о вашей деятельности, заставляет меня смотреть на вас как на дурного и вредного человека. Долго я считал вас еще и жестоким, беспринципным, ни перед чем не останавливающимся. Я и до сих пор сохранил отчасти это мнение. Но за последние две недели я увидел, что вы человек мужественный и умеющий быть верным своим друзьям. Вы сумели внушить солдатам любовь и благоговение к вам, а это не каждому удается. И я думаю, что, пожалуй, я ошибся в своем суждении о вас и что вы лучше, чем стараетесь казаться. К этому-то другому, лучшему человеку я и обра-

щаюсь и заклинаю его сказать мне по совести всю правду: что бы вы сделали, если бы были на моем месте?

— Я, во всяком случае, сам решал бы свои сомнения и брал бы на себя ответственность за них, а не стал бы лицемерно и подло-трусливо, как это делают христиане, прятаться за других, прося их разрешить за меня мою задачу.

Бурный, страстный тон этого внезапного нападения прозвучал резким контрастом с притворной безучастностью, в которую Овод был как будто погружен всего лишь минуту тому назад. Казалось, он сбросил с себя маску.

— Мы, атеисты, — страстно продолжал он, — знаем, что, если человеку выпадает на долю нести тяжелое бремя, он должен нести его как можно храбрее. Если же он упадет под тяжестью ноши, то — что же? — тем хуже для него. Но католик обращается с воплями и стонами к своим святым, а если они не могут помочь ему, он идет к своим врагам — непременно найдет спину, на которую можно свалить свое бремя. Неужели в ваших требниках, во всех ваших лицемерных богословских книгах мало указаний на такие случаи, что вы приходите ко мне и просите научить, что вам делать? Во имя неба и земли! Неужели недостаточно тяжел мой крест, чтобы вы еще и эту ответственность взвалили на мои плечи? Да ведь и убьете-то всего-навсего атеиста, человека, потрясающего основы, а это, конечно, не бог весть какое преступление.

Он остановился, перевел дух и разразился новой тирадой:

— И вы еще толкуете о жестокости! Да этот в-вислоухий осел не мог бы и за год измучить меня так, как умудрились сделать это вы за несколько минут. У него не хватило бы мозгов. Все, что он может выдумать, — это затянуть покрепче ремни, а когда уж больше затягивать некуда, то все его ресурсы исчерпаны. Такая-то жестокость всякому дураку доступна! А вы совсем особенную изобрели. «Не будете ли добры подписать свой собственный смертный приговор? Я обладаю слишком нежным сердцем, чтобы сделать это». Такую вещь может придумать только католик — кроткий, сострадательный католик, который бледнеет при виде слишком туго затянутого ремня! Когда вы вошли сюда подобно ангелу милосердия и были так возмущены «варварством» полковника, я должен был ожидать, что теперь-то только и начнется настоящая пытка! Что вы на меня так смотрите? Разумеется, дайте ваше согласие и идите домой обедать. Дело-то, право, не стоит стольких хлопот. Скажите просто вашему полковнику, чтобы он приказал расстрелять меня, или повесить, или что там окажется удобнее всего

со мной сделать... изжарить живьем, если это может доставить ему удовольствие! Только пусть кончает поскорее.

Овода трудно было узнать. Он был вне себя от бешенства, дрожал и тяжело переводил дух, а глаза его искрились зеленым блеском.

Монтанелли встал и молча глядел на него. Он ничего не понимал в этом потоке неистовых упреков, но хорошо отдавал себе отчет в том, что они исходят от человека, доведенного до последней крайности. И, поняв это, он простил ему все оскорбления.

— Успокойтесь, — произнес он. — Я вовсе не хотел вас мучить. И, право же, я не думал сваливать мое бремя на вас, чья ноша и без того уж слишком тяжела. Я никогда не поступал так ни с одним человеческим существом...

— Это ложь! — выкрикнул Овод с пылающими глазами. — А епископство?

— Епископство?

— А, об этом вы уж позабыли? Забыть так легко! «Если ты этого хочешь, Артур, то я скажу, что не могу ехать...» Мне приходилось решать вашу жизнь за вас, мне, в девятнадцать лет! Если бы это не было так безобразно, это было бы смешно!

— Остановитесь! — вырвался у Монтанелли отчаянный крик, и он поднял обе руки и сжал ими голову.

Потом они беспомощно повисли, и он медленно отошел к окну. Он сел на подоконник, схватился рукой за решетку и прижался к ней лбом. Овод, дрожа всем телом, следил за его движениями.

Прошло несколько мгновений, Монтанелли встал и подошел к Оводу. Губы его были бледны как мел.

— Простите, пожалуйста, — сказал он, отчаянно борясь с собой, чтобы сохранить свою обычную спокойную осанку, — я должен покинуть вас теперь. Я не совсем здоров.

Он весь дрожал как в лихорадке. Гнев Овода сразу погас:

— Падре, неужели вы не понимаете?

Монтанелли подался назад и застыл на месте.

— Только не это, — прошептал он. — Все, что хочешь, Господи, только не это! Если я схожу с ума...

Овод приподнялся на локте и взял дрожащие руки старика в свои.

— Падре, неужели вы не понимаете, что я тогда не утонул?

Руки, которые он держал в своих, вдруг похолодели. Наступило мертвое молчание. Потом Монтанелли опустил на колени и спрятал лицо на груди своего недавнего врага.

Когда он поднял голову, солнце уже село, и последние красные отблески его угасли на западе. Отец и сын забыли про время и место, про жизнь и смерть; они забыли даже, что были врагами.

— Артур,— прошептал Монтанелли,— это в самом деле ты? Ты вернулся ко мне? Ты воскрес из мертвых?

— Из мертвых,— повторил Овод и вздрогнул.

Он положил голову на руки Монтанелли, как больное дитя, лежащее в объятиях матери.

— Ты вернулся... ты вернулся наконец!

Овод тяжело вздохнул.

— Да,— сказал он,— и вам нужно бороться со мной или убить меня.

— Замолчи, дорогой! К чему все это теперь! Мы с тобой, словно двое детей, заблудившихся в потемках, по ошибке приняли друг друга за привидения. Теперь мы нашли друг друга, и вокруг стало светло. Мой бедный мальчик, как ты изменился... как ты страшно изменился. Ты выглядишь так, точно ты прошел через целый океан страданий, ты, который был когда-то так полон жизнерадостности! Артур, неужели это действительно ты? Я так часто видел во сне, что ты вернулся ко мне, а потом просыпался, и вокруг все было темно и пусто. Можно ли быть уверенным, что я опять не проснусь и что все это не окажется сном? Дай мне убедиться в том, что это действительно, а не сон... Расскажи мне все, что с тобой тогда было.

— Это произошло очень просто. Я спрятался на товарном судне, грузившемся в гавани, и уехал в Южную Америку.

— А там?

— Там я жил, если только это можно было назвать жизнью, до тех пор, пока... Ну да что!.. О, я многое видел в жизни, кроме духовных семинарий, с того времени, как вы обучили меня философии! Вы говорите, что видели меня во сне... Я вас тоже...

Он весь содрогнулся, и голос его пресекся.

— Это было,— начал он снова прерывающимся голосом,— когда я работал на рудниках в Эквадоре...

— Не рудокопом?

— Нет, в качестве слуги рудокопа, делал вместе с китайскими кули всякую случайно перепадавшую работу. Мы спали в бараке, стоявшем у самого входа в рудник. Я мучительно страдал тогда от той же ужасной болезни, что и тут, и носил целые дни камни под раскаленным солнцем. Раз ночью мною овладел, должно быть, бред, потому что я явственно

увидел, как вы входили в дверь. В руках у вас было распятие, похожее на то, что висит там, на стене. Вы молились и прощали совсем близко от меня, но не повернули головы. Я закричал, прося вас помочь мне, дать яду или нож — что-нибудь, что положило бы конец моим страданиям, прежде чем я лишусь рассудка. А вы... О!

Одной рукой он закрыл глаза, другую Монтанелли все еще держал в своих.

— Я видел по вашему лицу, что вы услышали, но вы даже и не взглянули в мою сторону, а продолжали молиться. И только когда вы кончили и поцеловали распятие, вы взглянули на меня и прошептали: «Мне очень жаль тебя, Артур, но я не смею... не смею». Когда я пришел в себя и снова увидел барак и кули, больных проказой, я все понял. Мне стало ясно, что вам гораздо важнее снискать благорасположение Неба, чем вырвать меня из ада, самого страшного, какой только существует. И я всегда помнил это. Забыл вот теперь только, когда вы дотронулись до меня. Я был болен и разбит, и я так любил вас когда-то. Но между нами не может быть ничего, кроме войны, войны и войны. Зачем вы держите мою руку? Разве вы не знаете, что, пока вы веруете, мы можем быть только врагами?

Монтанелли наклонил голову и поцеловал израненную руку.

— Артур, как же мне не верить? Если я сохранил свою веру все эти страшные годы, то могу ли я потерять ее теперь, когда Бог вернул мне тебя? Вспомни: ведь я был уверен, что убил тебя.

— Это вам еще предстоит сделать.

— Артур!

Это был крик, полный неподдельного ужаса, но Овод продолжал, словно не слыша:

— Будем честными во всем. Не надо половинчатости. Глубокая пропасть отделяет нас друг от друга, и безнадежно пытаться протянуть друг другу руки над ней. Если вы решили, что не можете или не хотите отказаться от своей веры, — он бросил взгляд на распятие, висевшее на стене, — то вам придется согласиться на предложение полковника.

— Согласиться! Боже мой!.. Согласиться!.. Артур, но ведь я люблю тебя!

Лицо Овода исказилось от боли:

— Кого вы любите больше?

Монтанелли с трудом встал, ужас обуял его душу и, казалось, придавил страшной тяжестью его тело. Он почувствовал

себя слабым, старым, свернувшимся, как лист, тронутый первым морозом. Теперь он проснулся, и все кругом было темно и пусто.

— Артур, сжался же надо мной хоть немного!

— А много ли у вас было жалости ко мне, когда вы своей ложью довели меня до положения раба на сахарных плантациях? Вы трепещете от ужаса, когда я вам об этом говорю... Эх вы, мягкосердечные святые! Ведь умер всего только его сын! Вы говорите, что любите меня... О да! Мне дорого обошлась ваша любовь. Неужели вы думаете, что можете изгладить все и превратить меня в прежнего Артура? Меня, который мыл посуду в грязных притонах и чистил конюшни фермеров — худших зверей, чем их скот? Меня, который был клоуном в колпаке и бубенцах в бродячем цирке, слугой и невольником матадоров* на арене, где происходит бой быков? Меня, который угождал каждому скоту, какому только была охота оседлать меня? Меня, который голодал, которого топтали ногами, на которого плевали, который протягивал руку, прося дать ему покрытые плесенью объедки, и получал отказ потому, что право на них принадлежало собакам? О, зачем я говорю вам обо всем этом! Разве могу я пересказать вам все ужасы, на которые толкнула меня ваша рука? А теперь вы говорите о своей любви ко мне! Как велика она, эта любовь? Достаточно ли сильна она, чтобы вы ради нее отказались от вашей веры? Что сделал для вас Иисус? Что он выстрадал ради вас, чтобы вы любили его больше, чем меня? За его ли пронзенные руки любите вы его? Так посмотрите же на мои! И на это поглядите, и на это, и на это...

Он разорвал рубаху и показал страшные рубцы на теле.

— Падре, ваше сердце должно по праву принадлежать мне! Падре, нет таких мук, каких я не испытал благодаря вам. Если бы вы только знали все, что я пережил! И все-таки я не хочу умирать! Я перенес все и закалил свою душу терпением, потому что хотел вернуться к жизни и снова объявить войну вашему Богу. Эта цель была мне щитом, и им защищал я свое сердце, когда мне грозили безумие и вторая смерть. И вот теперь, вернувшись к жизни, я снова вижу того, кто был пригвожден ко кресту в течение шести часов, а потом воскрес из мертвых. Что же вы теперь со мной сделаете? Что вы со мной сделаете?

Голос его оборвался. Монтанелли сидел не шевелясь, точно каменное изваяние или мертвец, которого усадили на стул. Бурный взрыв отчаяния Овода вызвал у него сначала легкую

дрожь, и мускулы его сокращались, словно под ударами бича. Но теперь он сидел совершенно спокойно.

Прошла долгая, томительная пауза. Наконец Монтанелли заговорил, и голос его звучал безжизненно, тоскливо:

— Артур, объясни мне ясней свою мысль. Ты терроризируешь меня, мысли мои путаются, и я не могу тебя понять. Чего ты требуешь от меня?

Овод повернул к нему свое бледное, точно у призрака, лицо.

— Я ничего не требую. Кто же станет насильно требовать любви? Вы свободны выбрать из нас двоих того, кто вам дороже. Если вы любите Его больше, выбирайте Его.

— Я не могу тебя понять, — устало повторил Монтанелли. — О каком выборе говоришь ты? Ведь прошлого изменить нельзя.

— Вам нужно выбрать одного из нас. Если вы любите меня, снимите с шеи этот крест и уйдемте со мной в иной мир. Мои друзья организуют новую попытку побега, и с вашей помощью им легко будет привести ее в исполнение. Когда же мы будем по ту сторону границы в полной безопасности, признайте меня публично своим сыном. Если же вы недостаточно любите меня для этого, если ваша вера вам дороже, чем я, то ступайте к полковнику и скажите ему, что вы согласны. Но в таком случае идите сейчас же, немедленно, избавьте меня от пытки видеть вас. Мне и без того нелегко.

Монтанелли поднял голову. Теперь он начал понимать. Силы изменили ему, дрожь охватила тело.

— Я, конечно, снесусь с твоими друзьями. Но идти с тобой мне невозможно — ведь я священник.

— А от священника я не приму услуги. Не надо больше компромиссов, падре! Довольно я страдал от них и их последствий. Или вы откажетесь ради меня от церкви, или откажетесь от меня.

— Как я расстанусь с тобой, Артур?! Как я расстанусь с тобой?!

— Ну, так расставайтесь с церковью. Выбирайте между нами двумя. Не предлагайте мне поделить вашу любовь между нами: половину мне, а половину церкви. Я не хочу крох с ее стола.

— Артур, Артур, неужели ты хочешь разорвать мое сердце на части?! Неужели ты хочешь довести меня до безумия?

Овод ударил рукой по стене.

— Выбирайте между нами двумя, — повторил он еще раз.

Монтанелли достал спрятанный на груди его небольшой бумажник и вынул оттуда смятую, истершуюся бумажку.

— Смотри,— сказал он.

«Я верил в вас, как в Бога, а вы лгали мне всю жизнь».

Овод засмеялся и вернул ему бумажку.

— Каким чудесно молодым бываешь в девятнадцать лет! Взять молоток и сокрушить им вещи кажется таким легким делом. Это так же легко и теперь, но только я сам попал под молот. Ну а вы еще немало найдете народу, который будете дурачить, и они этого никогда даже не поймут.

— Делай как хочешь,— сказал Монтанелли.— Бог знает, может быть, и я на твоём месте был бы так же беспощаден, но я не могу сделать того, чего ты требуешь, Артур, я сделаю только то, что смогу. Я устрою тебе побег, а когда ты будешь в безопасности, то со мной произойдет несчастный случай в горах, или я по ошибке приму что-нибудь другое вместо сонного порошка,— выбирай любое. Удовлетворит ли это тебя? Вот все, что я могу сделать. Это большой грех, но я надеюсь, что Он простит меня. Он милосерднее...

Крик страдания вырвался у Овода, и руки его опустились в отчаянии.

— О, это слишком! Это уж слишком! Что я сделал, чтобы вы обо мне так думали? Какое право имеете вы... Как будто я мстить вам собираюсь! Неужели вы не понимаете, что я только спасти вас хочу? Неужели вы никогда не поймете, как я люблю вас?

Он схватил обе руки Монтанелли и стал покрывать их горячими поцелуями вперемежку со слезами.

— Падре, пойдите со мной! Что у вас общего с этим мертвым миром ошибок и заблуждений? Ведь они — прах истекших веков! Ведь они прогнили насквозь, и от них веет смрадом разложения! Уйдемте со мной из этого мира в другой мир, полный света! Падре, мы — жизнь и молодость, мы — вечная весна, мы — будущее человечества. Падре, заря уж близко,— неужели вы не возьмете на себя своей доли труда, чтобы помочь взойти солнцу? Проснитесь, и забудем страшные ночные кошмары! Проснитесь, и начнем нашу жизнь заново! Падре, я всегда любил вас, всегда! Даже когда вы убивали меня. Неужели вы еще раз убьете?

Монтанелли в отчаянии заломил руки.

— Господи, смилуйся надо мной! — вскрикнул он.— Артур, у тебя глаза твоей матери!

Потом наступило вдруг долгое, глубокое молчание. Они глядели друг на друга в сером полумраке спускающегося вечера, и сердца их застыли от ужаса.

— Скажи мне еще что-нибудь,— прошептал Монтанелли.— Поддай хоть какую-нибудь надежду.

— Мне нечего больше говорить. Жизнь нужна мне только для того, чтобы бороться с церковью. Я не человек, а нож. Давая мне жизнь, вы освящаете нож.

Монтанелли повернулся к распятию:

— Господи! Ты слышишь?..

Голос его замер в глубокой тишине. Ответа не было. Демон насмешки проснулся вдруг в Оводе:

— Г-громче зовите!

Монтанелли вскочил, будто его ударили. С минуту он неподвижно глядел перед собой. Потом присел на край сенника, закрыл лицо руками и зарыдал. Овод задрожал всем телом, и холодный пот выступил на его лбу. Он понял, что значат эти слезы.

Он натянул на голову одеяло, чтобы не слышать. Довольно уже с него было и того, что приходилось умирать, чувствуя прилив бодрой, могучей жизни.

Но звуков нельзя было заглушить. Они раздавались в его ушах, стучали в мозг, слезы одна за другой скатывались с его пальцев.

Потом рыдания Монтанелли затихли, и он принялся вытирать глаза платком, словно дитя, переставшее плакать. Когда он встал, платок скатился с его колен и упал на пол.

— Бесполезно говорить дальше,— сказал он.— Ты понимаешь меня?

— Да, понимаю,— ответил Овод с мрачной покорностью.— Это не ваша вина.

Монтанелли повернулся к нему. И наступившее вдруг молчание было страшнее молчания могилы, которую должны были вскоре выкопать для одного из них.

Молча глядели они друг другу в глаза, как два насильно разлученных любовника глядят один на другого через преграду, которую они не могут переступить.

Овод первый не выдержал и опустил глаза. Он отшатнулся, спрятал лицо, и Монтанелли понял, что этот жест говорит ему: «уходи». Он повернулся и вышел из камеры.

Но прошла еще минута, и Овод вдруг вскочил.

— О, я не могу этого вынести! Падре, вернись! Вернись!

Дверь была заперта. Долгим медленным взглядом обвел он стены своей камеры и понял, что все кончено.

Внизу, на дворе, всю ночь шелестела трава — трава, которой вскоре суждено было увянуть, оторванной ударом заступа от родных корней. И всю ночь напролет одиноко рыдал узник в своей темной камере...

Глава VII

Во вторник утром происходил военный суд.

Он продолжался очень недолго и прошел как нельзя более просто. Это была лишь пустая формальность, длившаяся всего двадцать минут. Да и незачем было тратить много времени. Защита не была допущена. В качестве свидетелей выступали только раненый шпион, офицер да несколько солдат. Приговор был предрешен: Монтанелли послал согласие, которого добивались. Судьям — полковнику Феррари, местному драгунскому майору и двум офицерам швейцарской гвардии* — оставалось только довершить. Прочли обвинительный акт. Свидетели дали показания. Скрепили подписями приговор и прочли его осужденному с соответствующей торжественностью. Он молча выслушал его, а когда его спросили, согласно принятой форме, хочет ли он что-нибудь сказать, он только нетерпеливо махнул рукой. У него на груди был спрятан платок, оброненный Монтанелли. Он осыпал этот платок поцелуями и проплакал над ним всю ночь, как над живым существом. Лицо его теперь было бледно и безжизненно, и вокруг глаз виднелись еще следы слез. Слова «к расстрелу», видимо, мало подействовали на него. Когда он их услышал, зрачки его глаз расширились — и только.

— Отведите в камеру,— приказал полковник, когда все формальности были закончены.

Сержант, который, видимо, едва выдерживал эту сцену, тронул за плечо неподвижную фигуру осужденного. Овод посмотрел на него почти с испугом.

— А, да! — промолвил он. — Я и забыл.

Полковник вдруг вернул сержанта, который уже выходил с арестантом из комнаты:

— Подождите, сержант! Мне нужно ему что-то сказать.

Овод не двинулся. Казалось, голос полковника не доходил до него.

— Не имеете ли какого-нибудь поручения для передачи вашим друзьям или родственникам? Я полагаю, у вас есть родственники?

Ответа не последовало.

— Так вот, подумайте и скажите мне или священнику. Я отнесусь к этому со вниманием. Впрочем, лучше передайте ваше поручение священнику. Он сейчас придет и останется с вами всю ночь. Если у вас есть еще какое-нибудь желание...

Овод поднял глаза:

— Скажите священнику, что я хочу быть один. Друзей у меня нет, и нет никаких поручений.

— Но вам нужна исповедь.

— Я атеист. Я хочу только, чтобы меня оставили в покое.

Он произнес это грустно, спокойно. В его голосе не слышалось ни вызова, ни раздражения. Сказал и не спеша повернулся. В дверях он вдруг остановился.

— Я забыл, полковник. Я хочу вас попросить об одном одолжении. Прикажите, чтобы завтра не связывали меня и не завязывали мне глаза. Я буду стоять совершенно спокойно.

В среду поутру на восходе солнца его вывели во двор. Его хромота бросалась в глаза сильнее обыкновенного. С трудом и мучительным ощущением боли он переставлял ноги, тяжело опираясь на руку сержанта.

Но выражение усталой покорности уже слетело с его лица. Призрак ужаса, давивший его в ночной тиши, мрачные видения, думы о загробном мире исчезли вместе с ночью, породившей их. Как только засияло солнце и он встретился лицом к лицу со своими врагами, в нем снова пробудился дух борьбы, и он уже ничего не боялся.

Против стены были выстроены в линию шесть карабинов, назначенных для выполнения приговора. Это была та самая поросшая плесенью, потрескавшаяся, полуобвалившаяся стена, по которой он спускался в ночь своего неудачного побега. Солдаты, стоявшие в ряд с ружьями в руках, едва удерживались от слез. Им казалось невообразимо ужасной уже одна мысль, что они должны убить Овода. Овод с его колкими, находчивыми ответами, непрерывным смехом и светлым, разительным мужеством как солнечный луч ворвался в их серую, однообразную жизнь, и то, что он должен теперь умереть от их рук, было для них все равно, как если бы померкло яркое дневное светило.

Под большим фиговым деревом во дворе его поджидала могила. Ее вырыли ночью подневольные руки, и слезы лились на лопату! Проходя мимо, он с улыбкой заглянул в темную яму, посмотрел на лежавшую подле поблекшую траву и глубоко вздохнул, втягивая в себя запах свежезрытой земли.

Возле дерева сержант остановился. Овод огляделся кругом со светлой улыбкой:

— Стать здесь, сержант?

Сержант молча кивнул головой. Точно комок стоял у него в горле: он не мог бы вымолвить ни слова, если б даже от этого зависела его жизнь. Во дворе присутствовали сам полковник, его племянник — капитан, начальник карабинеров, которому предстояло командовать, доктор и священник.

Они вышли вперед с серьезными лицами, смущенные блиставшим смелостью взглядом смеющихся глаз Овода.

— Здравствуйте, господа! А, и его преподобие уже на ногах в такой ранний час! Как поживаете, капитан? Сегодня наша встреча для вас приятнее? Не правда ли? Я вижу, ваша рука еще в повязке. Все потому, что я тогда дал маху. Вот эти молодцы лучше сделают свое дело. Не так ли, братцы?

Он окинул взглядом хмурые лица солдат.

— На этот раз повязки, во всяком случае, не понадобятся. Не смотрите на меня так грустно! Сдвиньте пятки и покажите, как метко вы умеете стрелять. Скоро вам будет столько работы, что я не знаю, как вы справитесь с ней. Нужно поупражняться заранее.

— Сын мой,— прервал священник, продвигаясь вперед. Другие отошли, оставив их наедине.— Через несколько минут вы предстанете перед вашим Творцом. Неужели вы пропустите мгновение, которое остается вам для раскаяния? Подумайте, умоляю вас, какой ужас умереть без отпущения, с сердцем, обремененным грехами! Когда вы будете стоять перед лицом вашего Судии, слишком поздно будет думать о раскаянии. Неужели вы приблизитесь к престолу Его с шуткой на устах?

— С шуткой, ваше преподобие? Мне кажется, вы и вам подобные нуждаетесь в этом христианском нравоучении. Когда придет наш черед, мы пустим в ход пушки, а не полдюжины ржавых карабинов, и тогда вы увидите, как мы шутим.

— Вы пустите в ход пушки! О несчастный! Неужели вы не понимаете, на краю какой пропасти вы стоите?

Овод оглянулся через плечо на зияющую могилу:

— Итак, ваше преподобие, вы думаете, что, когда меня опустят туда, вы навсегда разделаетесь со мной. Может быть, вы даже заложите камнем могилу, чтобы быть совсем спокойным? Не бойтесь, ваше преподобие! Буду лежать смиренно, как мышь, там, где вы положите меня... и все же мы пустим в ход пушки.

— О милосердный Господь! — вскрикнул священник.— Прости этому несчастному!

— Аминь,— произнес командующий офицер глубоким басом, а полковник и племянник его набожно перекрестились.

Так как было ясно, что увещания не приведут ни к какому результату, то священник отказался от дальнейших попыток и отошел в сторону, покачивая головой и шепча молитвы. Без всяких задержек были сделаны простые приготовления. И Овод стал прямо, как полагалось, обернувшись только на миг в сторону красных и желтых лучей восходящего солнца. Он повторил свою просьбу не завязывать ему глаз, и вызывающее выражение его лица заставило полковника согласиться против воли. Они оба забыли о том, как это отягчает долг солдат.

Овод стоял и с улыбкой смотрел им в глаза. Карабины тряслись в их руках.

— Я готов,— сказал он.

Командующий сделал шаг вперед. Он дрожал от волнения. Ему никогда еще не приходилось командовать при исполнении приговора.

— Готовься! Ружья на прицел! Пли!

Овод слегка пошатнулся, но не упал. Одна пуля, выпущенная нетвердой рукой, чуть поцарапала ему щеку. Несколько капель крови упало на белый галстук. Другая пуля попала в ногу над коленом. Когда рассеялся дым, солдаты увидели, что он, по-прежнему улыбаясь, стоит перед ними и вытирает изуродованной рукой кровь со щеки.

— Не меткий залп, братцы! — сказал он. Его ясный, отчетливый голос резнул по сердцу окаменевших от ужаса несчастных солдат. — Попробуйте еще!

Ропот пробежал по всей линии. Каждый целился в сторону с тайной надеждой, что смертельная пуля будет пущена рукой его соседа, а не его.

И вот теперь осужденный стоит и с улыбкой смотрит на них. Предстояло заново проделать это ужасное дело: они только превратили казнь в бойню. Их охватил ужас. Опустив карабины, они тупо слушали неистовые ругательства офицера и в мрачном отчаянии таращили глаза на человека, которого они убили, но который все-таки остался жив.

Полковник потрясал кулаком перед их лицами, свирепо приказывая им построиться, взять ружья на прицел и скорее покончить с этим делом.

Он, как и сами они, окончательно растерялся и не смел взглянуть на странное привидение, которое все стояло и стояло и никак не хотело упасть. Когда Овод обратился к нему, он

почти испугался. Его всего передернуло при первом же звуке этого насмешливого голоса.

— Ну и какой же неумелый отряд вывели вы сегодня, полковник! Посмотрим, не сумею ли я лучше управиться с ними. Ну, молодцы! Эй, вы, там, на левом фланге! Держите выше ружья! Бог с вами, братец! Ведь не сковорода же, а ружье у вас в руках! Все прицелились? Ну, теперь: готовься!..

— Пли! — прервал его полковник, бросаясь вперед.

Это было выше человеческих сил: невозможно было допустить, чтобы человек сам произнес последнее слово команды.

Последовал другой, нерешительный беспорядочный залп, и стройная линия солдат превратилась в кучу дрожащих людей, дико смотревших перед собой. Один даже совсем не стрелял. Он отбросил ружье и, припав к земле, стонал: «Я не могу, не могу!»

Облако дыма поднялось при свете ярких утренних лучей и медленно расплзлось на клочки. Они увидели, что Овод упал: увидели и то, что он еще жив. Солдаты и офицеры стояли точно в столбняке, глядя, как Овод в предсмертных корчах бился на земле.

Потом доктор и полковник с криком ринулись к нему, потому что он приподнялся на одно колено и опять смотрел в лицо солдат и опять смеялся:

— Опять промах! Пробуйте... еще раз, братцы! Смотрите... Если вы не можете...

Вдруг он пошатнулся и повалился боком на траву.

— Умер? — спросил полковник тихим голосом.

Доктор, стоя на коленях и держа руку на залитой кровью сорочке, мягко ответил:

— Да, я думаю... Слава богу!

— Слава богу! — повторил за ним полковник. — Наконец-то. Его племянник дернул его за руку:

— Дядя, кардинал! Он стоит у ворот и хочет войти.

— Что? Он не войдет... Я не хочу! Чего смотрит караул? Ваше преосвященство...

Ворота распахнулись и снова закрылись, и Монтанелли стоял уже на дворе, смотря перед собой неподвижными, полными ужаса глазами.

— Ваше преосвященство! Я должен просить вас... Это неподходящее зрелище для вас! Казнь только что кончена. Тело еще не...

— Я пришел взглянуть на него, — сказал Монтанелли.

Даже в этот момент полковника поразил его голос и походка: он был как лунатик.

— О боже! — воскликнул вдруг один солдат.

Полковник поспешно обернулся:

— Так и есть!

Залитое кровью тело опять начало со стоном корчиться на траве.

Доктор нагнулся и положил голову умирающего к себе на колени.

— Скорее! — кричал он в отчаянии. — Скорее, варвары! Прикончите, ради бога! Это невыносимо!

Кровь заструилась по его рукам. Он дрожал с ног до головы, поддерживая корчившееся в судорогах тело. И когда, совсем обезумев от ужаса, он стал осматриваться кругом, ища помощи, священник нагнулся над его плечом и приложил крест к губам умирающего человека.

— Во имя Отца и Сына...

Овод приподнялся, опираясь на колено доктора, и широко открытыми глазами посмотрел на распятие.

Медленно, среди мертвенной тишины, он поднял простреленную правую руку и оттолкнул распятие. На его лице зияла кровавая рана.

— Падре, вы... удовлетворены?

Его голова упала на руки доктора.

— Ваше преосвященство!

Так как кардинал продолжал стоять не шевелясь, полковник Феррари повторил громче:

— Ваше преосвященство!

Монтанелли поднял глаза:

— Он умер?

— Да, ваше преосвященство. Не уйти ли вам отсюда? Это ужасное зрелище.

— Он умер, — повторил Монтанелли и посмотрел на лицо Овода. — Он умер.

— Чего же он ждет от человека, в котором сидит полдюжины пуль? — прошептал презрительно начальник отряда.

А доктор тоже шепотом ответил ему:

— Его, должно быть, взволновал вид крови.

Полковник положил руку на руку Монтанелли:

— Ваше преосвященство... Лучше вам не смотреть на него. Разрешите капеллану* проводить вас домой.

— Да... Я пойду.

Он медленно отвернулся от окровавленного тела и пошел прочь. За ним последовали священник и сержант. В воротах он остановился и оглянулся назад.

— Он умер...

Несколькими часами позже Марконе подошел к домику, приютившемуся на склоне холма, чтобы передать Мартини, что ему уже не нужно жертвовать жизнью.

Были закончены все приготовления ко второй попытке освободить Овода, так как план освобождения был много проще первого. Решено было так: на следующее утро, когда процессия с телом Господним будет проходить мимо крепостного вала, Мартини выступит вперед из толпы, вынет из-за пазухи револьвер и выстрелит полковнику в лицо. В момент общей суматохи двадцать вооруженных людей неожиданно бросятся к тюремным воротам, ворвутся в башню и, отняв силой ключи, войдут в камеру пленника и уведут его, убивая и сваливая с ног тех, кто будет им мешать. Они будут удаляться от ворот, защищаясь и прикрывая отступление второго отряда, вооруженных контрабандистов-горцев, которые вывезут пленника в надежное место в горах и скроют его там.

В небольшой группе заговорщиков только Джемма ничего не знала об этом плане. Скрыть его от нее было желанием Мартини. «Сердце ее не выдержит всего этого», — говорил он.

Когда контрабандист входил в калитку сада, Мартини открыл стеклянную дверь и вышел на веранду встретить его.

— Есть новости, Марконе?

Контрабандист вместо ответа сдвинул на лоб свою широкополую соломенную шляпу.

Они сели на веранде. Ни тем ни другим не было произнесено ни слова. Но Мартини все понял, уловив под краем шляпы выражение лица Марконе.

— Когда это случилось? — спросил он после длительной паузы.

Его голос звучал в его собственных ушах так же безнадежно, как и все остальные.

— Сегодня на рассвете. Сержант передавал мне. Он был там и все видел.

Мартини потупился и смахнул случайно приставшую нитку с рукава своего пиджака.

Он должен был завтра умереть. А теперь желанная цель исчезла, как сказочная страна золотых лучей заходящего солнца, лучей, которые меркнут, когда спускается тьма.

Он снова очутился в будничном мире, мире Грассини и Галли, шифрования и составления памфлетов, партийной грызни среди товарищей, подлых интриг австрийских шпионов — короче, в старом революционном мельничном колесе, которое давно уже нагоняло на него тоску. А где-то в глубине его сознания зияла бездонная пустота, которую теперь уже ничто не могло заполнить, потому что не было Овода.

Кто-то спрашивал о чем-то. Он поднял голову, удивляясь, как можно еще было из-за чего-нибудь волноваться.

— Что вы сказали?

— Я сказал, что вы, вероятно, возьмете на себя сообщить ей эту новость.

Ужас отразился на лице Мартини.

— Как я могу сказать ей? — вскрикнул он. — Вы лучше уж прямо попросите меня пойти и убить ее. О, как я скажу ей, как я скажу?

Он закрыл руками глаза. Но, и не видя, он почувствовал, как вздрогнул контрабандист, и поднял голову. Джемма стояла в дверях.

— Слышали, Чезаре? — сказала она. — Все кончено. Они его расстреляли.

Глава VIII

— *Introit*o ad abtare Dei!¹

Монтанелли стоял перед главным престолом, окруженный священниками и причтом, и громким, ясным голосом читал «Introit». Собор был залит светом и весь сверкал радужными красками. Все, от праздничных одежд молящихся и до колонн, покрытых яркими тканями и увитых венками цветов, было полно жизни и блеска. Над открытой настежь дверью спускались тяжелые пунцовые занавесы, и жаркие лучи июньского солнца пронизывали их насквозь, как пронизывают они в поле лепестки красных маков. Обыкновенно полутемные боковые приделы освещались теперь свечами и факелами стоявших там представителей монашеских орденов. Там же высились кресты и хоругви отдельных приходов. У боковых притворов стояли знамена процессии, и их шелковые складки ниспадали до земли, а позолоченные кисти и древки ярко горели под темными

¹ Припадем к престолу Божьему (*лат.*) — вступительные слова молитвы. «Introit» — ее название (по первому слову).

сводами. Лившийся сквозь цветные стекла окон свет окрашивал во все цвета радуги белые стихари певчих и ложился на пол алтаря пунцовыми, оранжевыми и зелеными пятнами. Позади престола блестела и искрилась на солнце завеса из серебряной парчи. И на фоне этой завесы, среди украшений и огней, выступала неподвижная фигура кардинала в длинном белом облачении, словно статуя, в которую вдохнули жизнь.

Обычай требовал, чтобы в дни процессий он только открывал обедню, но не служил. Кончив *Indulgentiam*¹, он отошел от престола и медленно направился к епископскому трону. Священники и члены причта, мимо которых он проходил, отвешивали ему низкие поклоны.

— Боюсь, что его преосвященство не совсем здоров, — шепотом сказал один каноник другому, — у него такой странный вид.

Служба продолжалась обычным порядком. Монтанелли сидел выпрямившись, не двигая ни одним мускулом. Солнце играло на его сверкающей камнями митре и вышитой золотом одежде. Тяжелые складки белой праздничной мантии упали на алый ковер. Свет сотен свечей искрился в сапфирах на груди его. Но глубокие неподвижные глаза оставались тусклыми, и солнечный луч не вызвал в них ответного блеска. Когда раздались слова «*Benedicite, pater eminentissime*»², он наклонился, чтобы благословить кадила.

При выносе Святых Даров он встал со своего трона и опустился на колени перед престолом, потом поднялся и пошел назад на свое место. Все его движения были как-то странно однообразны. Драгунский майор в парадном мундире, сидевший за полковником, прошептал раненому капитану:

— Сдает старик кардинал, сдает — это дело ясное. Смотрите: он совершенно машинально исполняет все и как будто не сознает, что делает.

— Тем лучше, — ответил тоже шепотом капитан. — Он вечно был у нас бельмом на глазу со времени этой проклятой амнистии.

— Насчет военного суда он, однако, уступил.

— Да, в конце концов уступил. Но немало ему понадобилось времени, чтобы решиться. Господи боже мой, как душно! Всех нас хватит солнечный удар, пока окончится процессия. Жаль, что мы не кардиналы, а то бы над нами всю дорогу несли балдахин. Тсс! Дядюшка мой на нас глядит.

¹ Молитва об отпущении грехов.

² *Благословите, высокопреосвященнейший отче (лат.).*

Когда обедня отошла и Святые Дары были поставлены под стекло в ковчег, который должны нести в процессии, духовенство отправилось в ризницу переодеться.

В церкви там и сям шептались. Монтанелли продолжал сидеть на троне, устремив вперед неподвижный взгляд. Целый океан людских волн, казалось, бушевал вокруг его трона, замирая у его ног. Ему принесли кадило, и автоматическим жестом, не глядя ни вправо, ни влево, он положил ладан в курильницу.

Духовенство вернулось из ризницы и ждало кардинала в алтаре, но он, казалось, застыл в своей позе. Священник, отправлявший обязанности диакона, наклонился к нему, чтобы снять с него митру, и сказал не без колебания:

— Ваше преосвященство!

Кардинал оглянулся:

— Что вы сказали?

— Вполне ли вы уверены, что у вас хватит сил идти в процессии? Солнце жжет немилосердно.

— Какое мне дело до солнца?

Монтанелли говорил спокойным, размеренным голосом, и священник подумал, не рассердил ли он его.

— Простите, ваше преосвященство. Мне показалось, что вы нездоровы.

Монтанелли встал, не отвечая. На верхней ступеньке трона он остановился и спросил все тем же странно размеренным голосом:

— Что это такое?

Края его длинного белого облачения спустились со ступенек и лежали на полу алтаря.

Вытянув палец, он указал на огненное пятно на белом атласе.

— Это солнечный луч светит сквозь цветное стекло, ваше преосвященство.

— Солнечный луч? Разве он красный?

Он сошел со ступенек и опустился на колени перед престолом, медленно размахивая кадилом. Потом протянул его священнику. Солнце легло цветными пятнами на его обнаженную голову, ударило в широко открытые, обращенные вверх глаза и осветило багряным блеском его белую мантию, складки которой священники расправляли вокруг него.

Он взял у диакона священный золотой ковчег и стоял, держа его в руках, пока звучала торжественная мелодия.

Подошли служители и подняли над головой его шелковый балдахин; священники, отправлявшие обязанности диа-

конов, стали по правую и по левую сторону его и откинули назад длинные складки его мантии; свеченосцы наклонились, чтобы приподнять с пола край его рясы. Монашеские братства, ставшие во главе процессии, уже вышли на середину церкви и двинулись вперед двумя стройными рядами.

Неподвижно стоял Монтанелли у престола под белым балдахином, держа твердой рукой Святые Дары и глядя на проходящую процессию. Люди шли по двое в ряд, с горящими свечами и факелами, крестами, хоругвями, знаменами и флагами. Они медленно спустились со ступенек алтаря, прошли между разубранных цветами колонн под приподнятой пунцовою занавесью на дверях и вышли на залитую лучами солнца улицу. Звуки пения шедших впереди постепенно замирали, переходя в неясный гул, и за ними раздавались, поглощая их, все новые и новые голоса. Бесконечной лентой разворачивалась процессия, и долго не затихали под сводами собора человеческие шаги.

Прошли члены церковных приходов в своих белых саванах, с закрытыми лицами. Потом показали братья милосердия, все в черном. Их глаза сверкали из-под масок. За ними потянулись длинными рядами монахи. Прошли нищенствующие братья в своих черных капюшонах, с босыми загорелыми ногами; потом все в белом суровые доминиканцы. Дальше шли военные и гражданские власти: драгуны, карабинеры и чины местной полиции. Начальник города шел в полной парадной форме, окруженный сослуживцами-офицерами. Шествие замыкали диакон с большим крестом и два свеченосца с горящими свечами.

Дверные занавеси широко раздвинулись, чтобы пропустить их. Со своего места под балдахином Монтанелли увидел на мгновение ярко освещенную солнцем и покрытую ковром улицу, увешанные флагами стены домов и одетых в белое детей, бросающих на мостовую розы. Ах, эти розы! Какие они красивые!

Медленно, в стройном порядке подвигалась процессия. Монтанелли открыл крестный ход.

Он сошел со ступеньки алтаря, вышел на середину церкви, прошел под хорами, откуда неслись торжественные звуки органа, потом под занавесью у входа — такой нестерпимо красной! Вот он и на улице, где так ослепительно светло. Кроваво-красные розы лежат, увядая, на красном ковре, растоптанные ногами бесчисленных прохожих. Минутная остановка у двери, где представители светской власти сменяют носильщиков балдахины, потом процессия снова двигается вперед, и он идет с нею,

сжимая в руках ковчег со Святыми Дарами. Вокруг него голоса певчих то широко разливаются, то замирают, и в такт им ритмически качаются кадила и рокочук волны людского моря.

Все кровь да кровь! Ковер расстилается перед ним кроваво-красным потоком, розы лежат на камнях точно пятна разбрызганной крови... Милосердный Господь! Неужели подвластные Тебе земля и небо стали вокруг красными от крови? Но что Тебе до этого, всемогущий Боже!

Он взглянул на причастие через хрустальную стенку ковчега. Что это стекает с облатки между золотыми лучами ковчега и медленно каплет на его белое облачение? Что он видел подобное этому, капавшее... капавшее с приподнятой руки? Трава на тюремном дворе была помята и красна... совершенно красна... так много было крови. Она стекала со щеки, капала из простреленной правой руки и хлынула горячим красным потоком из раны в боку. Даже прядь волос была смочена кровью... да, волосы лежали на лбу мокрые и спутанные... это от предсмертного пота... он выступил от ужасных страданий. Голоса певчих поднялись выше, раздались торжествующие звуки:

Genitori, genitoque,
Laus et jubilatio
Salus, honor, virtus, quoque.
Sit et benedictio!¹

О, это невозможно вынести! Боже, Ты сидишь на троне на Небесах и зришь вниз на мучения и смерть. Неужели мало этого? Неужели нужны еще хвалы и славословия? Тело Христово, преломленное для спасения людей! Кровь Христова, пролитая для искупления их грехов... Разве и этого мало?

Да, громче зови его! Он, чего доброго, спит!

Ты в самом деле спишь, дорогой мой возлюбленный, и никогда уж больше не проснешься? Разве могила так ревниво охраняет свою добычу и черная яма под деревом никогда не откроется, чтобы выпустить тебя хоть ненадолго, ненаглядный мой мальчик?

Процессия вернулась в собор.

Звуки пения уже умолкли, когда Монтанелли вошел в храм. Он проходил между молчаливыми рядами монахов и священников, уже занявших свои места и стоявших на коленях с высоко поднятыми горящими свечами в руках.

¹ Хвала и превозношение Отцу и Сыну; да будет благоденствие, честь, добродетель и благословение! (*лат.*)

Собрав все свое терпение, с трудом доканчивал он церемониал торжественной службы и машинально, по привычке исполнял обряды, уже потерявшие для него смысл. После благословения он снова опустился на колени перед престолом и закрыл лицо руками. Голос священника читал список отпущения грехов. Голос замолк.

Кардинал поднялся и протянул руку, призывая к молчанию. Некоторые из молящихся, уже прокладывавшие себе дорогу к двери, вернулись обратно.

По собору пронесся быстрый легкий шум шагов, шуршание одежды и шепот: «Его преосвященство желает говорить».

Священники его свиты переглянулись в изумлении и ближе подвинулись к нему, а один из них спросил торопливым шепотом:

— Ваше преосвященство намерены говорить с народом?

Монтанелли молча отстранил его рукой. Священники отступили, перешептываясь. Говорить в этот день противоречило обычаям и даже правилам, но права кардинала позволяли ему поступить по своему усмотрению. Он, вероятно, собирается объявить народу что-нибудь исключительно важное: новую реформу, исходящую из Рима, или нарочное послание святого отца.

Со ступенек престола Монтанелли взглянул вниз на море повернувшихся к нему человеческих лиц. С жадным любопытством глядели они на него, а он стоял неподвижно, застыв на месте, в своем белом одеянии похожий на призрак.

— Тише! — сдержанным голосом сказали распорядители процессии, и рокот голосов молящихся замер, как замирает порыв ветра в шумящих верхушках деревьев.

Все лица повернулись к белой фигуре, стоявшей на ступеньках престола, и в наступившей мертвой тишине раздался отчетливый, мерный голос кардинала:

— В Евангелии от святого Иоанна сказано: «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына своего едиnorodного, дабы через него всякий верующий не погиб, но имел бы жизнь вечную».

Вы собрались на праздник тела и крови Искупителя, погибшего для вашего спасения, агнца Божия, взявшего на себя грехи мира, Сына Господня, умершего за ваши прегрешения. Торжественным шествием пришли вы на праздник, чтобы вкусить от жертвы, принесенной вам, и принести за то благодарение Богу. И знаю я, что нынче утром, когда мы шли на пир, чтобы вкусить от тела Искупителя, сердца ваши были ис-

полнены радости, и вы вспоминали о страстях, перенесенных Богом Сыном, умершим, чтобы вы были спасены.

Но кто из вас, скажите мне, подумал и о страданиях Бога Отца, который дал распять на кресте своего сына?

Кто из вас вспомнил о муках отца, глядевшего на Голгофу с высоты своего небесного трона?

Я глядел на вас сегодня, добрые люди, когда вы шли торжественной процессией, и я видел, как ликовали вы в сердцах своих, что отпустятся вам ваши грехи, и как радовались своему спасению. Я же прошу вас: подумайте, какой ценой было куплено это спасение. Велика цена эта. Она превосходит цену рубинов, ибо она цена крови.

Легкий трепет пробежал по рядам слушателей. Священники, стоявшие в алтаре, вытянули головы и стали шептаться между собой.

Но проповедник продолжал говорить, и они замолчали.

— Поэтому говорю вам сегодня: я глядел на вас, на ваши слабости и ваши печали и на малых детей, играющих у ног ваших. И душа моя исполнилась сострадания к ним, ибо они должны умереть. Потом заглянул я в глаза дорогого сына моего и увидел в них искупление кровью.

И я пошел своей дорогой и оставил его нести свой крест.

Вот оно, отпущение грехов. Он умер за вас, и тьма поглотила его; он умер, и нет воскресения: он умер, и нет у меня сына. О мой мальчик, мой мальчик!

Из груди его вырвался долгий жалобный крик; и стоголосым эхом подхватили его испуганные голоса народа. Все духовенство встало со своих мест, диаконы подошли к проповеднику и хотели взять его за руки. Но он вырвался и посмотрел им в глаза взглядом разъяренного дикого зверя.

— Что это? Разве не довольно еще крови? Подождите своей очереди, шакалы! Все вы насытитесь!

Они попятились и сбились в кучу, громко и тяжело дыша. Лица их побелели как мел. Монтанелли снова повернулся к народу, и людское море заволновалось, как нива, над которой пролетел ураган.

— Вы убили его! Вы убили его! И я допустил это, потому что не хотел вашей смерти. А теперь, когда вы приходите ко мне с лживыми славословиями и нечестивыми молитвами, я раскаиваюсь, что сделал это. Лучше было бы, чтобы вы сгнили в ваших пороках и заслужили вечное проклятие, а он остался бы жить. Стоят ли ваши зачумленные души, чтобы за спасение их было заплачено такую цену?

Но поздно, поздно! Громко кричу я, он не слышит меня. Громко стучу в дверь его могилы, но он не проснется. Один стою я в пустыне и перевожу взор с залитой кровью земли, где зарыт свет моих очей, к страшным, пустым небесам. И отчаяние овладевает мной. Я отрекся от него, гады ползучие, отрехся от него ради вас!

Так вот же вам ваше спасение! Берите его! Я бросаю его вам, как бросают кость своре рычащих собак! Цена вашего пира уплачена за вас. Так ступайте, ешьте до отвала, людоеды, кровопийцы, стервятники, питающиеся мертвечиной! Смотрите: вон течет со ступенек престола горячая, дымящаяся кровь! Она течет из сердца моего сына, и она пролита за вас! Лакайте же ее, валяясь в грязи, и вымажьте ею ваши лица! Хватайте тело, деритесь за него и пожирайте его... и оставьте меня в покое! Вот оно, тело, отданное за вас. Смотрите, как оно изранено и сочится кровью, и все еще трепещет в нем замученная жизнь, все еще бьется оно в тяжелой предсмертной агонии! Возьмите же его и ешьте!

Он схватил чашу со Святыми Дарами, поднял высоко над головой и бросил с размаху на пол. Когда металл зазвенел, ударившись о камень, все духовенство толпой ринулось вперед, и двадцать рук зараз схватили безумца.

И только тогда напряженное молчание народа разрешилось неистовыми, истерическими воплями.

Волнующимся и ревушим потоком, опрокидывая стулья и скамьи, стучась в запертые двери, давя друг друга, срывая занавески и гирлянды, толпа хлынула на улицу.



ЭПИЛОГ

— Джемма, вас хочет видеть какой-то человек внизу.

Мартини произнес эти слова сдержанным тоном, который они оба бессознательно усвоили в течение этих последних десяти дней.

Этот тон да еще спокойная ровность речи и движений были единственными проявлениями их печали.

Джемма, в переднике и с засученными рукавами, стояла за столом, раскладывая на нем маленькие пакетики с патронами. Она простояла за работой с раннего утра, и теперь, в ослепительный полдень, на ее лице была написана страшная усталость.

— Какой человек, Чезаре? Что ему нужно?

— Я не знаю, дорогая. Он мне не сказал. Он просил только передать, что ему нужно переговорить с вами наедине.

— Хорошо. — Она скинула передник и спустила рукава. — Нечего делать, надо пойти к нему. Похоже на то, что это шпион.

— На всякий случай я буду в соседней комнате, чтобы вы могли позвать меня. Как только вы отвяжетесь от него, прилягте и отдохните немного. Вы целый день провели на ногах.

— О нет! Я лучше буду продолжать работу.

Она медленно спускалась по лестнице. Мартини шел следом за ней.

За эти несколько дней она состарилась на целых десять лет. Едва заметная седая прядка волос превратилась в широкий пучок. Теперь она большей частью держала глаза опущенными в землю. Но когда случайно поднимала, их ужасное выражение заставляло содрогаться Мартини.

В маленькой гостиной она застала неуклюжего человека, стоявшего навтыжку посреди комнаты. Весь его вид — его фигура и полуиспуганное выражение глаз, которыми он взглянул на нее, когда она вошла, — подсказали ей, что это, должно быть, рядовой швейцарской гвардии. На нем была крестьян-

ская блуза, очевидно с чужого плеча. Он озирался кругом, как будто боялся, что его вот-вот накроют.

— Вы говорите по-немецки? — спросил он на дурном цюрихском наречии.

— Немного. Мне передали, что вы хотите видеть меня.

— Вы синьора Болла? Я принес вам письмо.

— Письмо? — Она задрожала и оперлась рукой о стол.

— Я рядовой гарнизона вон оттуда.— Он указал рукой в окно на холм, где виднелась крепость.— Письмо это от казненного на прошлой неделе. Он написал его в последнюю ночь перед казнью. Я обещал ему передать вам в руки.

Она нагнула голову: он написал в конце концов!..

— Потому-то я так долго и не приносил,— продолжал солдат.— Казненный просил, чтобы я никому не давал его, кроме вас. Я не смог раньше выбраться — за мной следили. Я достал вот это платье, чтобы прийти.

Он пошарил за пазухой своей блузы. Стояла жаркая погода, и листок бумаги, который он вытащил, был не только грязен и порван, но и весь промок от пота. Несколько времени он простоял, неловко переступая с ноги на ногу. Потом почесал в затылке.

— Вы никому не расскажете? — проговорил он робко, окидывая ее недоверчивым взглядом.— Мне может стоить жизни этот приход сюда.

— Конечно, я никому не расскажу. Подождите минутку.

Она остановила его, когда он уже повернулся, чтобы уйти, и стала рыться у себя в кошельке. Оскорбленный, он попятился назад.

— Мне не нужно ваших денег,— сказал он грубовато.— Я сделал это для него: он просил меня. Для него я сделал бы и больше. Он был так добр ко мне, спаси его, Господи.

Легкая дрожь в его голосе заставила ее поднять голову. Медленным движением руки он вытирал глаза грязным рукавом.

— Мы должны были его расстрелять,— продолжал он тихим голосом.— Мои товарищи и я... Солдату приходится слушаться приказаний начальника. Мы дали промах... А он смеялся над нами. Называл нас неумелым отрядом. Нужно было снова стрелять... Он был так добр ко мне.

В комнате воцарилось молчание. Он выпрямился, неловко отдал честь и вышел.

Несколько минут она стояла неподвижно, держа в руке листок. Потом села читать у открытого окна.

Письмо было написано очень убористо, карандашом, и местами его с трудом можно было разобрать. Но первые два слова были совершенно разборчивы. Они были написаны по-английски.

«Дорогая Джим» — стояло там.

Строки вдруг расплылись и подернулись туманом. И она его потеряла опять! Она его потеряла! При виде этого детского прозвища перед ней снова встала безнадежность ее потери, и она опустила руки в бессильном отчаянии, как будто вся тяжесть земли, лежавшей на нем, навалилась ей на сердце.

Затем она опять поднесла листок и стала читать:

«Завтра утром на рассвете меня расстреляют, и, так как я хочу выполнить мое обещание сказать вам все, я должен сделать это теперь. Впрочем, нет нужды в длинных объяснениях между нами. Мы всегда понимали друг друга без лишних слов, даже когда были детьми.

Итак, вы видите, моя дорогая, не к чему вам было терзать свое сердце из-за того, что когда-то вы ударили меня. Это был тяжелый удар для меня. Но потом мне пришлось вынести немало и других таких же, и, однако, я пережил их. Кое за что даже отплатил. И здесь, в тюрьме, я, как рыбка в нашей детской книжке — забыл ее название, — «жив и бью хвостом». Бью хвостом в последний раз... А завтра утром — *finita la comedia*¹. Воздадим благодарность богам за то, что они для нас сделали. Это не много, но все же кое-что. Мы должны быть признательны и за это.

А что касается завтрашнего утра, мне хочется, чтобы вы оба — и вы и Мартини — знали, что я совершенно счастлив и удовлетворен и что мне больше нечего просить у судьбы. Передайте это Мартини, как мое прощальное слово. Он славный малый, хороший товарищ... Он поймет. Я знаю, дорогая, что, попирая насущные интересы народа и возвращаясь к тайным пыткам и казням, они играют нам на руку, а себе готовят незавидную участь. Я знаю, что, если вы, живые, будете крепко стоять друг за друга и сделаете решительный натиск, вам предстоит увидеть великие события. А я завтра выйду во двор с таким же радостным сердцем, с каким ребенок бежит на праздник домой. Свою долю работы я совершил, а смертный приговор говорит за то, что я сделал ее добросовестно.

¹ Представление окончено (*ит.*).

Они убивают меня потому, что боятся меня. А чего же больше может желать человек?

Впрочем, я-то желаю еще кое-чего. Человек, который идет на смерть, имеет право на прихоть. Моя прихоть состоит в том, чтобы объяснить вам, почему я был таким грубым с вами и не мог забыть старых обид.

Вы, впрочем, и сами понимаете почему, и я говорю об этом — мне приятно написать эти слова. Я любил вас, Джемма, когда вы были еще нескладной маленькой девочкой и ходили в ситцевом платьице, с косичкой, напоминавшей крысиный хвостик. Я и теперь люблю вас. Помните тот день, когда я поцеловал вашу руку и вы так жалобно просили меня «никогда больше этого не делать»? Я знаю, это была скверная выходка, но вы должны простить. А теперь я целую бумагу, на которой написал ваше имя. Выходит, что я дважды поцеловал вас, и оба раза без вашего согласия. Вот и все. Прощайте, моя дорогая!»

Подписи не было, но в конце письма стояло стихотворение, которое они учили вместе, когда были детьми:

Я счастливый мотылек,
Буду жить я иль умру...

Полчаса спустя в комнату вошел Мартини. Полжизни он скрывал свои чувства к ней, а теперь, увидев ее горе, не выдержал и, выронив объявление, которое было у него в руке, обнял ее.

— Джемма! Что такое? Ради бога! Не рыдайте так! Вы ведь никогда не плакали! Джемма! Джемма, дорогая, любимая моя!

— Ничего, Чезаре. Я расскажу вам после... я... теперь... я не могу говорить.

Она торопливо сунула в карман залитое слезами письмо и, поднявшись, высунулась в окно, чтобы скрыть свое лицо. Мартини закусил губы. Первый раз за все эти годы он, точно школьник, выдал себя, а она даже не заметила.

— Что это? Гудит соборный колокол,— сказала она после короткого молчания, оглянувшись на него. Самообладание вернулось к ней.— Должно быть, кто-то умер.

— Об этом-то я и пришел вам сказать,— ответил Мартини обычным голосом.

Он поднял с пола объявление и передал ей. Оно было напечатано на скорую руку крупным шрифтом и обведено траурной каймой.

«Наш горячо любимый епископ, его преосвященство кардинал монсеньор Лоренцо Монтанелли внезапно скончался в Равенне от разрыва сердца».

Она быстро подняла голову от листка, и Мартини, пожмая плечами, ответил на ее невысказанную мысль:

— Что же вы думаете, мадонна? Разрыв сердца такое же благовидное объяснение, как и всякое другое.



КОММЕНТАРИИ

С. 5. *Пиза* — город в Тоскане, один из крупнейших центров итальянской культуры.

Каноник — священник католической церкви, занимающий штатную должность при соборе.

Падре (ит.) — отец; у итальянцев — обычное обращение к священнику.

«*Об исцелении прокаженного*». — В Евангелии есть рассказ об исцелении прокаженного Христом.

С. 6. «*здание старинного доминиканского монастыря*...» — Принадлежащий монашескому ордену доминиканцев, основанному в XIII в. испанским проповедником Домиником для борьбы против еретиков и вольнодумцев.

Корнуолл — провинция в Англии.

С. 7. *Ливорно* — крупный портовый город на Лигурийском море, неподалеку от Пизы.

С. 8. *Памни — он протестант*. — Отношения между католиками и протестантами, которые долгое время вели между собой кровавые войны, даже в XIX в. были крайне враждебными.

С. 13. *Остров Руссо* — остров на Роне, где установлен бюст французского мыслителя и писателя Жан-Жака Руссо (1712—1778), уроженца Женевы.

С. 14. *Шале* — швейцарский сельский домик.

С. 17. *Методисты* — религиозная секта, возникшая в XVIII в. в Англии.

С. 19. «*Молодая Италия*» — революционная организация, существовавшая в Швейцарии в 30-х гг. XIX в. и руководимая Мадзини. Она стремилась к политическому объединению Италии на республиканской основе.

С. 20. «*De Monarchia*» («О монархии») — сочинение великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265—1321), выдвигавшее идею создания сильного, объединенного итальянского государства, возглавляемого не Папой, а светской властью.

Ватикан — папский дворец в Риме; в переносном смысле — папская власть, правящие круги римско-католической церкви.

С. 21. *Santa Catarina* — церковь Святой Екатерины в Пизе.

С. 22. *Калабрия* — горная область в Неаполитанском королевстве.

Флоренция — в то время столица Тосканы.

С. 23. *...ждали парохода с транспортом книг.* — В Ливорно из Марселя шли в то время тайные грузы общества «Молодая Италия» — газета «Молодая Италия», которую Мадзини выпускал в Марселе, политические брошюры и книги.

С. 24. *Двое из них пишут в газетах.* — Подразумевается газета «Молодая Италия».

С. 26. *Филистер* — обыватель, человек с кругозором мещанина, лицемер.

С. 33. *...Христос изгнал менял из храма...* — В Евангелии есть рассказ о том, как Христос изгнал всех торгующих из Иерусалимского храма, опрокинул скамьи менял и продавцов голубей.

С. 35. *Синьорино* — молодой синьор.

С. 37. *«Ave, Maria, Regina, Coeli»* — «Радуйся, Мария, Царица Небесная...» (*лат.*) — слова молитвы, обращенной к Богородице.

С. 39. *Палаццо* — дворец, особняк.

С. 47. *Белладонна* — лекарственное растение.

С. 57. *Паоли* — серебряная монета.

С. 58. *Медичи* — старинный род правителей Флоренции.

Памятник Четырех мавров — памятник тосканскому герцогу Фернандо I Медичи в Ливорно. У пьедестала этого памятника прикованы бронзовые фигуры четырех мавров.

С. 63. *Мадзини* (1805—1872) — итальянский революционер, был изгнан из Италии. Организовал в Марселе тайное общество «Молодая Италия» для утверждения демократической республики в своей стране. Заочно был приговорен за это к смертной казни. С 1842 г. жил в Лондоне. В качестве публициста неутомимо работал для итальянской революции.

Папа Пий IX... даровал столь науцумевшую амнистию политическим преступникам в Папской области. — Папа Пий IX, сменив в 1846 г. на папском престоле Григория XVI, пытался рядом либеральных мер отвести опасность революции и завоевать симпатию интеллигенции. Среди этих мер была амнистия политическим заключенным и эмигрантам. В дальнейшем, напуганный революционными событиями 1848 г., Папа Пий IX продолжал обычную реакционную политику своих предшественников.

С. 64. *Памфлет* — распространенный вид политической литературы, содержащей сатиру, а еще чаще — острую критику какого-либо политического деятеля.

Великий герцог — Леопольд II, герцог Тосканский.

Ренци — вождь восстания, организованного в Римини (Папская область) в 1846 г.; был выдан тосканским правительством Папе.

С. 65. *Иезуиты* («Общество Иисуса») — католический религиозный орден, основанный в 1539 г. Игнатием Лойолой для распространения католицизма.

Грегорианцы — сторонники политики Григория XVI, противники либеральных реформ, предпринятых Папой Пием IX.

Санфедисты — члены «Общества последователей святой веры», основанного в 1799 г. итальянскими мракобесами для борьбы с освободительным движением. Ненавидя народ, санфедисты не раз поддерживали австрийцев.

Ламбручини — кардинал, государственный секретарь Папской области при Папе Григории XVI; оказывал помощь австрийцам и сам опирался на них в борьбе против итальянского народа.

С. 68. *Тарантелла* — народный итальянский танец, исполняемый в очень быстром темпе.

Джустини Джузеппе (1809—1850) — один из крупных итальянских поэтов, талантливый сатирик.

Миланский диалект — один из диалектов итальянского языка, довольно сильно отличающийся от литературной речи.

Вот уже три года, как он оставил Апеннины. — Летом 1843 г. была раскрыта подготовка к восстанию в Болонье и Равенне (Папская область). Руководители восстания — братья Муратори — ушли с небольшой группой друзей в Апеннины, где пытались организовать партизанскую войну, но потерпели поражение. Некоторые участники восстания, схваченные правительственными войсками, были казнены в Болонье.

С. 70. *Он сражался за Аргентинскую республику...* — 30—40-е гг. XIX столетия в Южной Америке были периодом национально-освободительных войн. В этих войнах участвовало много политических эмигрантов, бежавших из Европы.

Орсини Феличе (1819—1859) — борец за освобождение Италии, казнен в Париже после неудачного покушения на французского императора Наполеона III.

С. 71. *Кардинал Спинола* — один из папских наместников, особенно жестоко расправлявшийся с участниками восстаний и заговоров 30—40-х гг. XIX в.

Антиклерикал — противник церкви.

С. 72. *Девоншир* — графство на юго-западе Англии.

С. 73. *Фьезоле* — город недалеко от Флоренции.

С. 74. *...его лучшие друзья были изменнически преданы в Калабриши...* — Очевидно, намек на судьбу братьев Бандиера — флотских офи-

церов, в 1844 г. сделавших попытку высадиться с военных судов с небольшим революционным отрядом и поднять восстание в Калабрии. Братья Бандиера были преданы, схвачены и расстреляны на месте.

С. 75. *Мадонна* — сударыня, госпожа.

С. 76. *Царица Савская* — по библейским преданиям, сказочно прекрасная и мудрая владычица одного из государств древнего Востока.

С. 77. *Меттерних* (1773—1859) — князь, австрийский премьер-министр времен Наполеона I, виднейший представитель европейской реакции в 1815—1848 гг. В Италии его особенно ненавидели за жестокую политику террора и преследований, проводившуюся по его указаниям.

С. 84. *Сибарит* — изнеженный человек, привыкший к роскоши и безделью.

С. 85. *...он глумился над последними реформами в Риме.* — Речь идет о реформах Пия IX.

С. 88. *Монсиньор* — титул представителей высшего католического духовенства, в частности кардиналов.

Сиена и Пистойя — города в Тоскане.

С. 89. *Романья* — провинция в Папской области.

Кардинал Феретти — один из сподвижников Папы Пия IX.

С. 97. *Шелли* Перси Биши (1792—1822) — английский поэт.

С. 98. *Савонарола* Джироламо (1452—1498) — знаменитый флорентийский проповедник, обличавший безнравственность духовенства и властей. Преследовался властями. В 1498 г. обвинен в ереси и казнен.

С. 100. *Пасквиль* — сатирическое произведение, в котором умышленно извращаются факты.

С. 101. *Аркадия* — страна в Древней Греции, воспетая античными поэтами как край мирной пастушеской жизни. В позднейшей литературе — счастливая, сказочная страна, далекая от тревог и забот повседневности.

С. 102. *Леонардо да Винчи* (1452—1519) — великий итальянский художник.

С. 111. *Сальдо* — мелкая медная монета.

Полента — народное кушанье вроде каши.

С. 142. *Фетиши* — предмет, окруженный религиозным поклонением. Ему обычно приписывается чудодейственная сила.

С. 146. *Скуди* — крупная итальянская серебряная монета, в старину равная $1\frac{1}{2}$ рублям.

С. 168. *Сцилла и Харибда* — в греческой мифологии чудовища, сулящие неминуемую гибель мореходу. Выражение «между Сциллой и Харибдой» можно сравнить с русским «между двух огней».

С. 175. *Дон Карлос* (1545—1568) — старший сын испанского короля Филиппа II. Оппозиционно настроенный, он был заключен отцом

в тюрьму, где и умер. Образ его запечатлен немецким поэтом Шиллером в трагедии «Дон Карлос».

Маркиз Поза — одно из главных действующих лиц в той же трагедии, пламенный борец за свободу и защитник угнетенной Фландрии. Друг дона Карлоса, маркиз Поза ради его спасения пожертвовал жизнью.

С. 177. *Минерва* — в древности римская богиня мудрости, покровительница наук, искусств и ремесел.

С. 187. *Легатство* — епархия, куда Папа направлял своего полномочного представителя — легата.

С. 194. «*Не мир, но меч*»... — Овод насмешливо напоминает слова Христа к ученикам: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч».

С. 207. *День Corpus Domini* — праздник Тела Господня, один из самых пышных праздников католической церкви.

С. 217. «*И кто напоит одного из малых сих*...» — слова Христа из Евангелия.

С. 219. *Прелат* — в католической церкви название высших духовных сановников.

С. 220. «*Если правая рука соблазняет тебя*...» — слова Христа из Евангелия.

С. 226. *Матадор* — в бое быков главный боец, наносящий быку смертельный удар.

С. 230. *Швейцарская гвардия* — наемные войска папского правительства, которые комплектовались из швейцарцев.

С. 235. *Капеллан* — военный священник.



СОДЕРЖАНИЕ

Перевод М. Шимаревой

Часть первая	5
Часть вторая	63
Часть третья	168
Эпилог	245
Комментарии <i>Н. Лукьяновой</i>	250

Шедевры мировой литературы



**Этель Лилиан
ВОЙНИЧ**

ОВОД

Редактор *Б. Акимов*
Компьютерная верстка *А. Кувшинникова*
Корректор *Ю. Черникова*

ООО ТД «Издательство Мир книги»
111024, Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 6
Отдел реализации:
Телефон: (495) 974-29-76, 974-29-75. Факс: (495) 742-85-79
E-mail: commerce@mirknigi.ru

ООО «РИЦ Литература»
115407, Москва, Судостроительная ул., д. 40

Подписано в печать 20.2.2011 г.
Формат 84x108¹/₃₂. Гарнитура «Гарамон».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,44
Тираж 4500 экз. Заказ № .